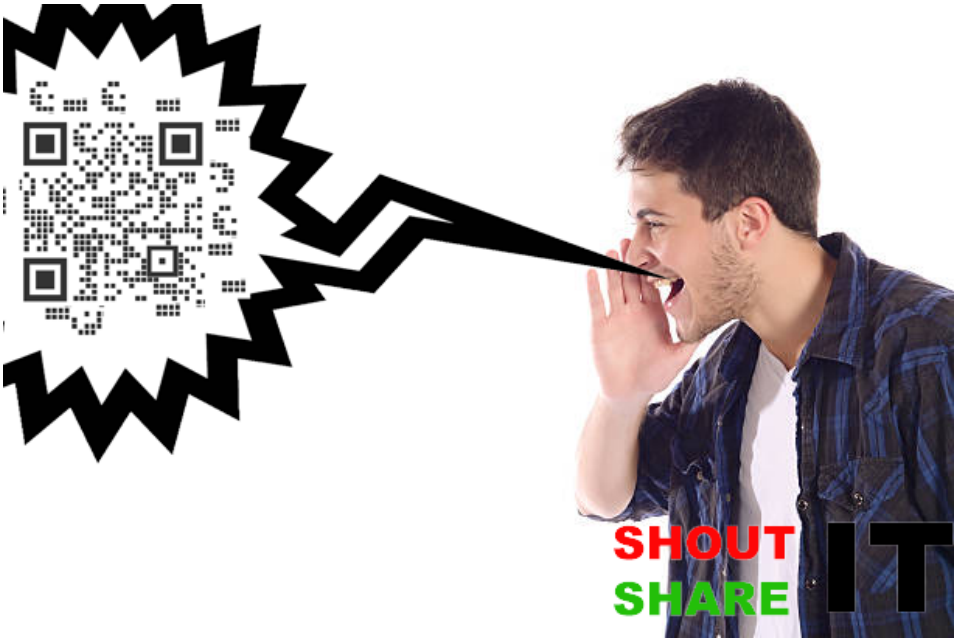
Бенедикт Сарнов
Красные бокалы
Булат Окуджава и другие


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Бенедикт Сарнов – литературный критик, публицист, автор множества литературных биографий («Случай Мандельштама», «Случай Зощенко», «Маяковский. Самоубийство», «Феномен Солженицына»), и мемуаров («Скуки не было»), а также четырех томов исторических очерков «Сталин и писатели».

Сюжет новой книги Бенедикта Сарнова разворачивается на фоне исторических событий – с начала и середины 60-х (разгон Хрущевым выставки в Манеже, процесс Синявского и Даниэля) и до наших дней (1993 год, штурм Белого дома). Герои книги – Булат Окуджава, Наум Коржавин, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Андрей Синявский, Владимир Максимов – люди, сыгравшие важную роль в жизни автора.

- Бенедикт Сарнов
  - Часть первая

Бенедикт Сарнов
Красные бокалы. Булат Окуджава и другие…

Я говорю про всю среду,
с которой я имел в виду
сойти со сцены, и сойду.

Борис
Пастернак

Часть первая

Римская империя времени упадка сохраняла видимость полного порядка.

Булат Окуджава

Неожиданно позвонил Булат

Вообще-то слово «неожиданно» в этой фразе можно было бы и опустить. Телефонный звонок Булата всегда бывал для меня неожиданностью.

Я часто вспоминаю постоянное поучение одного моего приятеля.

«Запомните! – не уставал он повторять. – Все, что *им* про вас известно, *они* знают только из ваших телефонных разговоров!» И назидательно при этом добавлял, что *телефон существует не для того, чтобы разговаривать, а чтобы сговариваться.* То есть договариваться о времени и месте встречи…

Из всех моих друзей и знакомых следовал этому правилу только один – Булат. Остальные, и в первую очередь я сам, болтали по телефону часами.

Булат ни разу не позвонил мне, чтобы просто поболтать. Если уж звонил (что бывало, надо сказать, крайне редко), то всегда по какому-нибудь конкретному поводу. Или с каким-нибудь конкретным предложением.

Однажды позвонил и сразу, без предисловий:

– Приезжай.

– А что случилось?

– Да ничего. Просто бери Славку и приезжай. Посидим.

И так настаивал, что я не смог отказаться, приехал. Правда, один, без Славы. И мы действительно славно посидели.

Этот случай мне особенно запомнился потому, что во время тогдашнего нашего «сидения» ему позвонил из Парижа Виктор Некрасов и они коротко поболтали – просто так, ни о чем, что нарушало Булатовы правила и обычаи. Но ведь это был Вика! И из Парижа! Для такого случая можно было сделать исключение.

Впрочем, по тону их разговора я понял, что такие звонки от Вики из Парижа для Булата не были событием исключительным. Говорили они так, словно Вика звонил от Лунгиных, у которых, приезжая в Москву, всегда жил. Или из Киева. А было это – точно не помню – в брежневские или андроповские, но, во всяком случае, догорбачевские времена.

Поговорив с Викой о том о сем, Булат сказал ему:

– А у меня Бен.

И передал мне трубку. И я тоже перебросился с Викой несколькими фразами.

Но я заболтался, пора вернуться к началу моего повествования.

Итак, позвонил мне Булат. И говорит:

– У меня тут написался один стишок. Я хочу посвятить его тебе. Можно я тебе его прочту?

Я сказал, что да, конечно.

Он прочел:

С последней каланчи, в Сокольниках стоящей,
никто не смотрит вдаль на горизонт горящий.
Никто не смотрит вдаль, все опускают взор.
На пенсии давно усатый брандмайор.
Я плачу не о том, что прошлое исчезло:
ведь плакать о былом смешно и бесполезно.
Я плачу не о том, что кануло во мгле,
как будто нет услад и нынче на земле.
Я плачу об ином – оно покуда с нами,
оно у нас в душе, оно перед глазами,
еще горяч и свеж его прекрасный след —
его не скроет ночь и не проявит свет.
О чем бы там перо, красуясь, ни скрипело —
душа полна утрат, она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова —
душа полна утрат, хоть, кажется, жива.
Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,
сидели мы рядком, и красные бокалы
у каждого из нас в изогнутой руке,
как будто бы пожар – в

прекрасном далеке.

И на пиру на том, на празднестве тягучем

я, видно, был один, как рекрут, не обучен,

как будто бы не сам метался в том огне,

как будто тот огонь был безопасен мне.

Дочитав «стишок» до конца, он сказал:

– Так ты не против, чтобы я посвятил его тебе?

Дело было в конце 80-х. Знакомы с Булатом к тому времени мы были лет, наверно, уже сорок. И кому только ни посвящал он за эти годы свои стихи! А мне – ни разу. И вот…

– О чем ты говоришь! – сказал я. – Конечно, я не против. Наоборот, очень рад… Но с чего это вдруг?.. И почему именно мне? И именно это стихотворение?

– Ну-у, я не знаю, – протянул Булат. – Это ведь дело таинственное…

Дело это, наверно, и впрямь таинственное.

Но задавая Булату эти свои вопросы, я слегка лукавил. На самом деле я сразу понял, почему вдруг, и почему именно мне, и почему именно это стихотворение.

Я знал, что он только что вернулся из Мюнхена

Такие загранкомандировки были для него делом обычным и служили предметом постоянных раздраженных комментариев на наших кухнях. И это раздражение выплеснулось даже на страницы эмигрантской печати. Один бывший наш компатриот, вчера еще благополучный советский журналист, по поводу приезда Булата в Нью-Йорк и нескольких его выступлений, прошедших с огромным успехом, разразился злобной статьей, в которой предлагал всем, кто готов рукоплескать московскому гостю, не забывать, что « *он не только поет, но и танцует*» .

Имелось в виду, что «танцует» он под музыку, заказанную Софьей Власьевной, которая отправляет его во все эти заграничные командировки со специальной пропагандистской целью: чтобы он вешал лапшу на уши потерявшим бдительность иностранцам и бывшим нашим соотечественникам, изображая «товарища Волка» невинной «Красной Шапочкой».

Отчасти так оно и было. И сам Булат это, конечно, понимал.

Однажды он спросил меня:

– Ты знаешь Наталью Рубинштейн?

Я сказал:

– Да, знаю. А что?

– Я недавно в журнале «Время и мы» прочел ее статью. Кстати, очень хорошую. И она там пишет про меня: «Окуджава был нашим кумиром, а теперь он ездит на Запад за шмутками».

Помолчал и спокойно, как мне показалось, без обиды закончил:

– В сущности, она права.

Было это, я думаю, в середине (или в конце?) 70-х. А когда лет пятнадцать спустя (в это время я был уже «выездной»), оказавшись в британском городе Ноттингеме и встретившись там с Наташей, я ей об этом рассказал, она искренне изумилась: «Никогда и нигде ничего подобного я не писала!»

Так ли, сяк ли, но загранкомандировки, как я уже сказал, стали для Булата делом обычным еще в годы так называемого застоя. Как надлежит вести себя в таких поездках советскому человеку, а тем более члену партии, он знал хорошо. И поневоле вынужден был с этими правилами хоть как-то считаться.

А в той своей поездке в Мюнхен, вернувшись из которой написал посвященное мне стихотворение, вдруг резко – и даже скандально – их нарушил.

В гостинице, где для него был забронирован номер, он даже не появился. Исчез. И за всю неделю, что длилась эта его командировка, ни разу не соизволил доложить ответственным за эту поездку лицам о своем местопребывании. Можно себе представить, в какой панике пребывали они всю эту неделю: время было уже горбачевское, но еще вполне советское, и правила поведения советского человека за границей оставались такими же жесткими, какими были при прежних генсеках – Брежневе, Андропове и Черненко. Даже на часок отлучиться от своих, чтобы в одиночку погулять по городу, было строжайше запрещено: только вдвоем.

И вдруг человек исчезает на целую неделю! Не иначе, решил просить политического убежища, стать, как это тогда называлось, невозвращенцем.

В общем, паника была нешуточная.

А Булат всю эту неделю спокойно жил у Войновичей, что для властей предержащих было обстоятельством, не только не смягчающим, но и отягчающим его вину.

Даже в самой либеральной тогдашней нашей газете «Московские новости», главным редактором которой был один из передовых «прорабов перестройки» Егор Яковлев, имя Войновича упоминалось только во множественном числе и с маленькой буквы. Как-нибудь вот так: «Все эти максимовы и войновичи, злобно клевещущие…».

И вот Булат, оказавшись в Мюнхене, не просто общается с этим «злобным клеветником», а прямо с самолета отправляется к нему и живет там целую неделю!

Это был у Булата, конечно, такой душевный порыв. Но в то же время и некий демонстративный жест, некая декларация независимости, прямо обращенная к властям: плевал, мол, я на ваши правила! Буду вести себя так, как мне хочется и как считаю нужным.

Но для его внутреннего состояния этот его жест означал еще и нечто другое, неизмеримо более важное.

Это был окончательный разрыв с последними остатками той внутренней несвободы, той душевной скованности, от которой он долго не мог избавиться.

Чтобы объяснить, что я имею в виду, начать придется издалека.

О скандальных встречах Хрущёва

с «представителями творческой интеллигенции», как это тогда называлось, вспоминали и рассказывали многие. И те, кто на встречах был, и те, кто по малой своей известности в числе приглашенных никак не мог оказаться.

В числе последних был и я, а рассказывал (не только устно, но и, спустя годы, – печатно) со слов Василия Аксёнова и Андрея Вознесенского, которым на одной из тех встреч особенно крепко досталось.

В многочисленных этих рассказах неизменно упоминалось о том, как Хрущёв на выставке в Манеже (1 декабря 1962 г.) бешено орал на художников: «Пидарасы!», как с особым раздражением накинулся на «Обнаженную» Фалька, называя ее «обнаженной Валькой». Как на одной из тех встреч учил Шостаковича, какую музыку тому следует писать, ориентируя его на песни Соловьева-Седова и украинскую народную песню «Рушничок». О том, как он крикнул Мариэтте Шагинян, что голова у нее набита тухлой колбасой. Как вторую встречу открыл требованием, чтобы зал заседания покинули присутствующие тут «агенты мирового империализма». (Его уверенность в том, что таковые в этом зале наверняка присутствуют, была основана на опыте предыдущей встречи, красочные рассказы о которой проникли на страницы многих зарубежных изданий.) О том, как он орал стоявшему на трибуне бледному, растерянному Андрюше Вознесенскому: «Вот тебе паспорт, уезжай! Убирайся к своим заокеанским хозяевам!» И как весь президиум в полном составе, главные люди государства, налившись багровым румянцем, стали улюлюкать и материть Вознесенского и Аксёнова, продолжая травлю, начатую паханом.

Да, о тех двух, как это тогда называлось, «исторических» встречах вспоминали и рассказывали многие. Требование Хрущёва, чтобы «агенты мирового империализма» немедленно покинули зал заседания, не помогло: обо всем, что происходило на второй встрече, тоже сразу стало широко известно.

Первая встреча прошла через две недели после погрома в Манеже 17 декабря 1962 г. Вторая – три месяца спустя, в марте 1963 г.

Но была еще одна, третья встреча, не такая громкая, о которой не то что таких красочных рассказов, но даже просто упоминаний в литературе я никогда не встречал.

Состоялась она между теми двумя, 24 декабря 1962 г., и называлась скромно: «Заседание Идеологической комиссии ЦК

КПСС с участием молодых писателей, художников, композиторов, творческих работников кино и театров Москвы».

Вот там, на этой скромной, незаметной встрече, оказались и мы с Булатом.

Главным там был не сам пахан, а его доверенное лицо – Леонид Федорович Ильичёв, тогдашний секретарь ЦК по идеологии, претендовавший при Хрущёве на ту роль, которую при Сталине играл Жданов. (Окончательно утвердиться в этой роли ему не удалось: пал вместе с Хрущёвым, после отставки которого был отправлен на мало что значащую должность заместителя министра иностранных дел.)

В отличие от разнуздавшегося, распоясавшегося, сорвавшего все тормоза и давшего полную волю попёршему из него хамству Хрущёва, Леонид Фёдорович держался мягко, обходительно. Но смысл его речей и всего мероприятия был тот же, что был явлен на той, главной, что ей предшествовала. Все было точь-в-точь, как в сочиненной по горячим следам тех событий песне Галича:

Мутный за тайгу
Ползет закат.
Строем на снегу
Пятьсот зэка.
Ветер мокрый хлестал мочалами,
То накатывал, то откатывал.
И стоял вертухай с овчаркою
И такую им речь откалывал:
«Ворон, растудыть, не выклюет
Глаз, растудыть, ворону.
Но ежели кто закосит —
То мордой в снег.
И прошу, растудыть, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, растудыть, рассматриваться
Как, растудыть, побег!..» <…>
Не косят, не корчатся
В снегах зэка,
Разговор про творчество
Идет в ЦК,
Репортеры сверкали линзами,
Кремом бритвенным пахла харя,
Говорил вертухай прилизанный,
Непохожий на вертухая:

«Ворон, извиняюсь, не выклюет
Глаз, извиняюсь, ворону,
Но все ли сердцем усвоили,
Чему учит нас Имярек?!
И прошу, извиняюсь, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, извиняюсь, рассматриваться
Как, извиняюсь, побег!»

Услыхав эту Сашину песню, я сразу вспомнил прилизанного, «непохожего на вертухая» Леонида Фёдоровича Ильичёва.

Ну а наша с ним встреча (лучше сказать – судилище) проходила по давно заведенному, хорошо отработанному ритуалу.

Сперва доклад (или короткая вступительная речь) «вертухая». Потом – покаянные речи тех, к кому его назидания (хамские, угрожающие или мягкие, увещевающие – это неважно) были обращены. Ну и напоследок – еще одна, заключительная речь всё того же «вертухая».

Тут, впрочем, надо отметить, что речи не всех выступающих должны были быть покаянными. Это касалось только тех, чьи имена попали в «черный список». Остальным достаточно было лишь клятвенно уверять, что они всем сердцем усвоили, «чему учит Имярек».

Отказаться от соблюдения этого ритуала не мог никто. Даже Шостакович, который – по рангу, – казалось бы, мог этого избежать, счел нужным в «Правде» лично благодарить «дорогого Никиту Сергеевича» за науку.

Но что говорить о Шостаковиче, усвоившем этот ритуал еще со времен сталинского «Сумбура вместо музыки», если даже такой крепкий орешек, как Солженицын, – и тот не смог уклониться от соблюдения этого ритуала.

...

Товарищу ХРУЩЁВУ Н.С.
СПРАВКА
После встречи руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией в Кремле и после Вашей речи, Никита Сергеевич, мне позвонил по телефону

писатель А.И. Солженицын и сказал следующее:

Я глубоко взволнован речью Никиты Сергеевича Хрущёва и приношу ему глубокую благодарность за исключительно доброе отношение к нам, писателям, и ко мне лично, за высокую оценку моего скромного труда…

Мне будет очень больно, если я в чем-либо поступлю не так, как этого требуют от нас, литераторов, партия и очень дорогой для меня Никита Сергеевич Хрущёв…

Писатель А.И. Солженицын просил меня, если представится возможность, передать его самый сердечный привет и наилучшие пожелания Вам, Никита Сергеевич. Он еще раз хочет заверить Вас, что хорошо понял Вашу отеческую заботу о развитии нашей советской литературы и искусства и постарается быть достойным высокого звания советского писателя.

В. Лебедев

(Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М., 1994)

На первом листе запись «Тов. Хрущёв ознакомился. В архив».

Прочитав в свое время этот документ, я подумал, что помощник Хрущёва В.С. Лебедев, искренне желавший Александру Исаевичу добра, быть может, сам, своей волей придал обращению Солженицына к «дорогому Никите Сергеевичу» эту ритуальную форму. Но даже если всё было так, этот, не скрою, поразивший меня документ говорит (не говорит – кричит!) о том, каким непререкаемым, незыблемым был тот ритуал, как неуклонно (шаг в сторону – побег!) надлежало его блюсти. Молодые поэты, писатели и художники, выступавшие на той встрече, мои сверстники, исполняли его беспрекословно. Смотреть на это и слушать всё это было невыносимо.

Слегка нарушила казенный тон и стиль этого унылого

судилища Белла Ахмадулина. Когда она вспорхнула на трибуну, у партийных жлобов, сидящих за длинным столом ошуюю и одесную Ильичёва, отвисли челюсти. И было от чего! Она возникла перед ними как прекрасное видение, явившееся сюда из какого-то иного мира, где обитают истинные поэты и совсем другие женщины.

Но – Боже! Что она при этом несла!

Всем своим чарующим женским обликом она говорила: я не отсюда, я не ваша, у меня с вами нет и не может быть ничего общего! А словами: я ваша, верьте мне, ваша! Ваша не только сердцем и душой, но всем своим женским существом – дыханием, кожей, гортанью (любимое ее слово). И от этой несовместимости внешнего ее облика – жестов, движений, голоса – и гнусных слов, которые, как любил говорить один мой приятель, «противно взять в рот», от этого резкого контраста казенные слова, срывавшиеся тогда с ее прекрасных уст, казались еще омерзительнее.

Написав сейчас всё это, я подумал: не переборщил ли? Так ли уж гнусны были эти произносимые ею слова? И решил себя проверить, заглянуть в стенограмму той «исторической» встречи (как и многие другие еще недавно секретные партийные документы, она теперь опубликована).

Вот что я там прочел.

…

ИЛЬИЧЁВ. *Слово имеет тов. Ахмадулина.*

АХМАДУЛИНА. *Я думаю, что весь этот разговор и всё, что предшествовало этому разговору, всё это должно располагать нас к высокой и серьезной откровенности, иначе вся эта встреча не имела бы смысла.*

В тех словах, с которыми обратилась к нам, молодым и не очень молодым художникам, партия и правительство, мы все уловили момент какого-то беспокойства по поводу нашего состояния и состояния нашего искусства. Я думаю, что это доброе и оправданное беспокойство.

<…>

Я думаю, мы правильно и широко поняли те слова, которые к нам относились. Мы поняли это не мелко, не с обидой, не с раздражением, а с тем умом, который постепенно осеняет наши головы… Мы все здесь, я поняла это по нашему собранию, мы все думаем одинаково. Мне хотелось в атмосфере искренности и доверия, которые я испытываю к залу и президиуму, мне хотелось сказать еще несколько слов. <…>

У меня нет ничего, кроме языка, на котором я пишу, у меня нет ничего, кроме моего народа… Мы полны доверия к вам, мы полны желания работать вместе с вами. <…>

Мы готовы сделать для своего искусства, для своего народа всё, что мы можем. В этом порукой наша молодость, наш талант, если он у нас есть. У нас действительно, как сказал Аксёнов, за пазухой нет камней. <…> Там нет ничего, кроме нашего сердца, которое открыто для добра, которое открыто для работы и для служения своему народу! (Бурные продолжительные аплодисменты.)

(Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964: Документы. М., 2000)

Нет, стенограмма не опровергла тогдашнего моего впечатления. В некотором отношении она его даже укрепила. Краски выспреннего ахмадулинского слога («с тем умом, который осеняет наши головы»), которыми слегка расцвечена эта в общем-то вполне сервильная и казенная речь, только усугубляют общее впечатление ее угодливости и фальши.

Заглянув (думал, что ненадолго) в эту стенограмму, я уже не мог от нее оторваться.

Захотелось вспомнить речь Евтушенко. Помнил только общее от нее впечатление, тон покаяния и признания ошибок, а в чем он

в тот раз каялся, какие свои ошибки признавал, – это в памяти моей не сохранилось.

Стенограмма мне это напомнила.

...

Я человек самоуверенный, в общем. Меня трудно в чем-либо переубедить, и люди, которые меня заставляли, редакторы знают, что заставить меня что-либо переделать, это стоит большого труда, пока я сам внутренне не убежден, я никогда не переделаю, кто бы меня ни уговаривал. Но после этого совещания, после большой речи Никиты Сергеевича Хрущева, где, в частности, был разговор о моем стихотворении «Бабий Яр», я вернулся к себе домой и заново перечитал это стихотворение, заново продумал все высказывания Никиты Сергеевича, и именно потому, что они были глубоко дружеские. Я, пересмотрев это стихотворение, увидел, что некоторые мои строфы этого стихотворения субъективно правильны, но требуют какого-то разъяснения, какого-то дополнения в других строфах. Я просто счел своим моральным долгом не спать всю ночь и работать над этим стихотворением. Это было сделано не потому, что мне сказали, дали указание, никто меня не заставлял прикасаться к этому стихотворению. Это было моим глубоким убеждением.

Я вспомнил одну историю, которой я был свидетелем в 1941 году, когда я, потеряв отца и мать, блуждал по Украине во время начала

оккупации в 1941 году. Я вспомнил одну историю, одну русскую крестьянку, которая скрывала еврейскую девочку у себя в избе, как допрашивали эсэсовцы. Я всё видел собственными глазами. Я вписал в это стихотворение этот кусок, вписал искренне. Я после того, как вдумался в эти слова, прозвучавшие на совещании, понял, что не хватало этому стихотворению. Все мои друзья, которые читали это стихотворение, все говорят, что стихотворение стало сильнее не только политически, оно стало сильнее и поэтически…

Здесь я хотел бы сказать, что наша молодежь ощущает большое доверие партии, доверие нашего народа. И сам факт сегодняшнего собрания – это тоже показательно. Партия оказала нам доверие, она хочет услышать наши раздумья, наши внутренние сомнения.

(Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964: Документы. М., 2000)

Совсем не помню, как я воспринял эту басню тогда. А сейчас, когда прочел ее в стенограмме, она вызвала у меня в памяти историю, которую рассказал мне мой сосед Александр Григорьевич Зархи.

Когда члены Политбюро смотрели, как это тогда было принято, только что сделанный им с Иосифом Хейфицем фильм «Член правительства», произошла очень неприятная для создателей фильма – мало сказать неприятная, жуткая! – заминка.

Просмотр закончился, но никакого обсуждения не было. Никто из высокого начальства не вымолвил ни единого слова.

Режиссеры поехали домой и стали ждать.

День прошел. Второй. Третий… Ужас, охвативший соавторов, да и всю съемочную группу, не поддается описанию. Наконец на четвертый или пятый день раздался звонок.

Звонил Поскребышев.

Разговор был очень хороший, благожелательный. Он сказал, что картина понравилась. Никто из членов Политбюро не высказал никаких замечаний. Но лично у него, у Поскребышева, возникло одно легкое недоумение. Во всей картине – ни слова о Сталине…

Александр Григорьевич понял намек с полуслова и тут же заверил звонившего, что досадная эта промашка немедленно будет исправлена.

Легко сказать – исправлена. Не вставишь ведь великое имя абы как, ни к селу ни к городу. Да и надо все-таки не попортить при этом тонкую художественную ткань произведения.

Несколько ночей Александр Григорьевич провел без сна. И наконец его осенило.

По ходу дела героиня фильма пишет письмо «на самый верх». Вот тут бы и дать понять зрителю, кому – лично! – адресовано письмо, из-за которого судьба героини чудесным образом переменилась. Но – как? Дело происходит глубокой ночью. Собеседника, с которым героиня могла бы поговорить на эту тему, у нее быть не может. Можно было, конечно, показать крупным планом листок бумаги, а на нем корявыми крупными буквами было бы старательно выведено: «Дорогой…». Ну и так далее. Но это было бы, как говорят в таких случаях герои Зощенко, «маловысокохудожественно». А Александру Григорьевичу, понятное дело, хотелось, чтобы было художественно.

И он нашел выход из этого сложного положения.

Героиня, сочиняющая свое письмо при свете керосиновой коптилки, встает, подходит к кроватке своей дочери, осторожно будит ее и шепотом спрашивает:

– Доченька! «Виссарионыч» – одно «сы»? Или два «сы»?

Девочка, не разлепляя сонных глаз, отвечает:

– Два «сы».

Соавтору Александра Григорьевича режиссеру Хейфицу эта придумка очень понравилась. Нравилась она и самому Александру Григорьевичу. Возникло, однако, сомнение: понравится ли она Сталину? Не покажется ли она ему чересчур тонкой? Не захочет ли он, чтобы имя его прозвучало в фильме без всяких этих художественных тонкостей и намеков, а, как сказал поэт, «весомо, грубо, зримо»…

К счастью, эти опасения оказались беспочвенными.

У вождя, как выяснилось, был тонкий художественный вкус: изящная выдумка режиссера Александра Зархи полностью его удовлетворила.

Не столь утонченный художественный вкус Никиты

Сергеевича Хрущёва требовал более густой липы и более развесистой клюквы. И Евгений Александрович тотчас же, с присущей ему «легкостью в мыслях необыкновенной», ее слепил, даже не озаботившись соблюсти «прожиточный минимум» правдоподобия: «Всё это я видел собственными глазами». Вряд ли стоит доказывать, что «собственными глазами» видеть, как «русская крестьянка прятала в своей избе еврейскую девочку», а тем более как ее допрашивали эсэсовцы, он не мог ни при какой погоде.

Очевидно, мы тут имеем дело с недюжинным художественным воображением поэта.

Продолжая листать стенограмму,

я задержался на выступлении Васи Аксёнова. Интересно было поглядеть (в памяти моей это не сохранилось), сумел ли он – и если сумел, то как – уклониться от соблюдения общеобязательных клятв и изъявления благодарности дорогому Никите Сергеевичу.

Нет, не уклонился, хотя изо всех сил пытался (это видно), как было завещано классиком, «сохранить осанку благородства»:

...

Наше единство в нашей марксистской философии, в нашем историческом оптимизме, в нашей верности идеям XX и XXII съездов. Напрасны попытки некоторых недобросовестных критиков представить нас как нигилистов и стиляг… Иногда некоторые критики, и добросовестные критики, говорят о том, что советская молодежь, советские литераторы молодые не помнят своего родства, что мы отвергаем то, что завоевано нашими отцами, что мы не уважаем своих отцов, что вообще советская молодежь, дескать, противопоставляет себя своим отцам, особенно любит такие выводы на Западе буржуазная реакционная пресса.

Мне хочется по этому поводу сказать, что всё это неверно, всё это глубоко неправильно. Мы уважаем своих отцов и любим своих отцов. Мой отец воевал с первых дней гражданской войны, прошел сталинские лагеря, остался коммунистом. Разве я могу ему не верить? Разве могу я его не уважать? Это для меня не только

отец – это моя совесть. Я благодарен партии и Никите Сергеевичу Хрущёву за то, что я могу с ним разговаривать, за то, что я могу с ним советоваться. Мы хотим говорить с отцами, и спорить с ними, и соглашаться в разных вопросах, но мы хотим также сказать о том, чтобы отцы не думали, что у нас в карманах камни, а знали, что у нас чистые руки.

(Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964: Документы. М., 2000)

Речь Булата от всех этих выступлений

отличалась разительно. Это была речь *свободного человека* .

Эта, казалось бы, невозможная, немыслимая в предлагаемых обстоятельствах, но органически присущая ему свобода выразилась – еще до того, как он появился на трибуне, – в таком маленьком эпизоде.

Уже во вступительном слове, в перечне тех, кто изначально был зачислен в «черный список» и кому, стало быть, надлежало каяться, едва ли не первым был назван Булат.

– В серьезном конфликте со всем строем нашей жизни, – бубнил докладчик, – находятся песни Булата Окуджавы о Ваньке Морозове и золотой молодежи…

И тут раздался спокойный голос Булата:

– Песни о золотой молодежи у меня нет. У меня есть песня о рабочей молодежи.

Возникло некоторое замешательство. Ильичёв вопросительно вскинул брови, и тут же откуда ни возьмись возникли насмерть перепуганные референты и консультанты, очевидно, готовившие шефу этот доклад, и стали совать ему под нос какие-то папочки и бумажки. Но шеф, естественно, разбираться в этом не стал, а как ни в чем не бывало продолжил бубнить дальше, не отклоняясь от лежащего перед его глазами текста.

В стенограмме этот эпизод отразился так.

…

ИЛЬИЧЁВ. *На мой взгляд, в серьезном конфликте со всем строем нашей жизни находятся некоторые песни Булата Окуджавы и стихи, на которые они написаны. Я хочу напомнить стихи о Ваньке Морозове и о золотой молодежи. Весь их строй, вся интонация…*

ОКУДЖАВА. *«Золотая молодежь» – это не мои стихи.*

ИЛЬИЧЁВ. *Тогда о Ваньке Морозове.*

(Идеологические комиссии ЦК

КПСС. 1958–1964: Документы. М., 2000)

Разница между тем, как это запомнилось мне, и тем, как отражено в стенограмме, казалось бы, так ничтожна, что микроскопическое это разночтение можно и не заметить. И уж, во всяком случае, не стоило бы на нем останавливаться. Но на самом деле разница эта не только существенна, она принципиальна.

По стенограмме получается, что Булату по недоразумению приписали авторство чьей-то песни, которую сочинил не он, а кто-то другой. На самом же деле Булат вовсе не отрицал, что такая песня у него есть. Не свое авторство он отрицает, а возражает против того, как извращенно эту его песню истолковали, какой – противоположный ее содержанию – хотят вложить в нее смысл.

И тут надо сказать, что о том, каково содержание и каков на самом деле смысл этой песни, Ильичёв, если бы этот свой доклад сочинял сам, а не доверил это дело порученцам, мог бы и поспорить.

Перечитаем же текст этой старой Булатовой песни про рабочую (а может быть, все-таки золотую?) молодежь:

А мы швейцару: «Отворите двери,
У нас компания веселая, большая,
приготовьте нам отдельный кабинет!»
А Люба смотрит: что за красота!
А я гляжу: на ней такая брошка!
Хоть напрокат она взята,
пускай потешится немножко.
А Любе вслед глядит один брюнет.
А нам плевать, и мы вразвалочку,
покинув раздевалочку,
идем себе в отдельный кабинет.
На нас глядят бездельники и шлюхи.
Пусть наши женщины не в жемчуге,
послушайте, пора уже,
кончайте ваши «ах» на сто

минут.

Здесь тряпками попахивает так…

Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы.

Я не любитель всяких драк,
но мне сказать ему придется,
что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денежки,
представь себе, паскудина брюнет,
они себя не продают.

В какой-то мере эта песня и про золотую молодежь тоже. Эти «бездельники и шлюхи», которые «смотрят друг на друга сквозь червонцы», шокированные вторжением в «их» ресторанный уют компании рабочих девушек и парней, – кто они, как не золотая молодежь? Какие-нибудь фарцовщики или – скорее всего – сынки «слуг народа»… Да, но ведь они – отрицательные герои песни. Автор им не то что не сочувствует, он их презирает, а истинные его герои – вот эти самые рабочие девушки и парни, глазами которых мы смотрим на этот дешевый ресторанный уют. Так что по всему выходит, что Булат прав. Ну конечно же, эта его песня не про золотую, а именно про рабочую молодежь. И, окрестив ее песней про золотую молодежь, порученцы Ильичёва подставили своего шефа, поставили в глупое положение.

Но у них (и у самого Ильичёва, и у его порученцев) могли бы на этот случай найтись и свои резоны.

В том же докладе Ильичёва, в том самом его вступительном слове мы только что услышали:

…

Молодое искусство не полностью отвечает еще тем высоким преобразованиям, которые происходят в народной жизни. <…>

Вы, вероятно, читали «Комсомольскую правду», на страницах которой ваши товарищи, молодые люди, находящиеся на передовых рубежах коммунистического строительства,

и на Земле, и в космосе, и на заводах, и на фабриках, и на колхозных полях.
<…>
(Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964: Документы. М., 2000)

Вот как должна выглядеть, как должна быть показана рабочая молодежь в картинах молодых советских художников, в стихах и прозе молодых советских писателей и поэтов.

Настоящая рабочая молодежь должна ковать что-нибудь железное на великих стройках коммунизма, а не шляться по ресторанам, кричать швейцару: «Отворите двери!» и требовать, чтобы им предоставили отдельный кабинет.

Вот в каком контексте прозвучала реплика Булата: «У меня нет песни про золотую молодежь, у меня есть песня про рабочую молодежь!»

Этой репликой, по внешнему своему смыслу просто уточняющей, исправляющей небольшую фактическую ошибку (кое-кому могло даже показаться, что он возмущен тем, что его несправедливо, по ошибке, по недоразумению занесли в «черный список»), на самом деле он утверждал, защищал, отстаивал свое право изображать реальность такой, какой он ее видит, а не такой, какой предписано ее изображать.

Это была его *декларация прав художника* . И именно так она тогда и прозвучала. Это почувствовалось не так даже в тайном, подспудном ее смысле, как в той свободе, в том независимом тоне, в каком она была произнесена.

И этим же духом свободы и независимости была пронизана и та речь, которую он произнес, оказавшись уже на трибуне.

Лишь одна его реплика, одна фраза

в той его речи выпадала из свободного ее тона – первая, с которой он начал:

– Когда в 1956 году молодым коммунистом я приехал из Калуги в Москву…

Тут в президиуме опять произошло некоторое замешательство.

Ильичёв опять – на этот раз удивленно – вскинул брови. И опять забегали порученцы – референты и консультанты.

Смысл этой суматохи был очевиден: по какому-то их недосмотру то обстоятельство, что Булат – член партии, оказалось для Ильичёва неожиданным сюрпризом. Он-то думал (так это ему, видно, представили), что этот поэтишка – тбилисский пижон, богема, а он, оказывается, «молодой коммунист из Калуги». А Булат именно на это и рассчитывал. С его стороны это был *сигнал* , который он послал высокому начальству. И сигнал не только дошел, но и сработал, что нашло свое отражение в заключительном слове докладчика. В этом своем заключительном слове Ильичёв уже не говорил о Булате в третьем лице, а обращался прямо к нему. И журил его ласково, мягко, увещевающе, а главное – *как своего:*

…

> *Я сегодня слушал Вас. Вы член партии. Мыслите как-то широко, хорошо. Но зачем в музыке, зачем в приемах, к которым Вы прибегаете, элементы не оздоровляющие, не вдохновляющие, а расслабляющие. Может быть, это вкусовое. Я знаю, некоторым молодым людям это нравится и некоторые идут в плен всему этому. Но это не воспитывает хороших, светлых чувств.*
>
> *(Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964: Документы. М., 2000)*

Смысл и значение реплики, с которой Булат начал свою речь, Ильичёв понял правильно. Точно по анекдоту («Понял,

вычеркиваю»). Хотя совсем из «черного списка» он Булата всё-таки не вычеркнул:

...

Выступления показали, что молодые творческие работники в общем правильно понимают и разделяют партийную критику недостатков и извращений в художественном творчестве, воспринимают ее как выражение заботы партии о дальнейшем развитии нашего искусства.

Благоприятное впечатление произвели выступления художника И. Глазунова, поэтов Е. Исаева и В. Котова, литературных критиков Д. Старикова и Ю. Суровцева, писателя В. Чивилихина, композиторов Р. Щедрина и К. Хачатуряна, остро критиковавших ошибочные тенденции в искусстве. В отличие от речи на встрече в Доме приемов 17 декабря, на этот раз было гораздо правильнее и осмысленнее выступление Е. Евтушенко.

О своем одобрении мероприятий партии в области литературы и искусства говорили также писатель В. Аксёнов, поэтесса Р. Казакова, поэт Р. Рождественский.

Как показало совещание, многие писатели и художники, работы которых были подвергнуты критике, серьезно задумались над своими заблуждениями. Скульптор Э. Неизвестный (автор абстракционистских скульптур, демонстрировавшихся в Манеже и Доме приемов), а также художники Э. Белютин (вдохновитель группки художников-абстракционистов, чьи

опусы были показаны в Манеже и, частично, в Доме приемов) и Б. Жутовский (автор абстрактных картин «Автопортрет» и «Толька») выступили с самокритическими заявлениями, заверив, что они делом ответят на строгую, но справедливую партийную критику их ошибок.

В некоторых выступлениях (поэтесса Б. Ахмадулина, поэт Б. Окуджава) чувствовалось стремление представить обстановку в творческих организациях так, будто нет никаких идеологических извращений, а просто идет борьба бездарных людей против талантливых.

Докладная записка Л.Ф. Ильичёва Н.С. Хрущёву. (Идеологические комиссии ЦК КПСС. 1958–1964: документы. М., 2000)

С партийной критикой своих стихов и песен Булат так и не согласился. Мало того! Он ни слова не сказал и о том, что разделяет мнение главного пахана о «пидарасах» и абстракционистах. Но, посылая Ильичёву свой *сигнал* , он сказал, в сущности, то же, о чем говорили с той же трибуны Аксёнов и Ахмадулина. Не в такой прямой и сервильной форме, как они, но по смыслу то же. И, в то время уже достаточно хорошо зная Булата, я понимал, как непросто далась ему эта его реплика, как противно было ему «взять в рот» эти слова.

не составляло никакой моральной проблемы. Лишний раз повиниться перед начальством и пообещать исправиться ему ничего не стоило, это было для него делом обычным и привычным.

В середине 60-х он опубликовал на Западе «Автобиографию», и это стало поводом для очередного политического скандала. Насколько я помню, никакой крамолы в этой «Автобиографии» не было. С упоением наш поэт рассказывал там о многочисленных своих победах – в жизни и в искусстве. Но главным образом почему-то – в физкультуре и спорте. Был там, например, замечательный рассказ о том, как в юности, играя в футбол, он, стоя на воротах, забил гол прямо от своих ворот в ворота противника, послав мяч через все поле. Запомнилась еще такая душераздирающая история. Гостя´ у Федерико Феллини и Джульетты Мазины, отправился он на рассвете купаться. Заплыл – по обыкновению – далеко в море. А когда стал возвращаться, вдруг началась у него судорога – свело ногу. И он стал тонуть. Никакого страха, однако, он при этом не испытывал. Было только чувство некоторой неловкости от того, что, утонув, он причинит тем самым некоторые неприятности своим друзьям – Федерико и Джульетте. Именно эта мысль побудила его отчаянно бороться за свою жизнь. И он вспомнил, что в плавках, в специальном карманчике, у него, как у всякого опытного пловца, была припрятана иголка – специально на такой вот случай. Достав иголку, он воткнул ее себе в ногу, судорога прошла, и он благополучно выплыл на берег. Федерико и Джульетта так и не узнали, какой опасности подвергалась их репутация гостеприимных хозяев.

Именно из таких вот историй, напоминающих не столько даже россказни Хлестакова, сколько рассказы барона Мюнхгаузена, и состояла эта «Автобиография».

Скандал тем не менее разразился большой. Крамола – с точки зрения начальства – состояла не в содержании произведения, а в самом факте его опубликования. И поэту пришлось каяться, признавать ошибки, разоружаться, как тогда говорили, перед партией.

«Разоружение» происходило в большом зале Центрального дома литераторов. Зал был полон. Были среди зрителей и сочувствующие поэту, были и злорадствующие. А поэт, стоя на трибуне, держал речь.

О том, как это выглядело, с не очень добродушным юмором

(хотя вообще-то он к Евтушенко относился хорошо) сказал тогда Борис Слуцкий.

– Наблюдая это зрелище, – рассказывал он, – я подумал, что, если бы снять всё это на кинопленку и показать потом на экране *немой фильм* , зрителям этого фильма представилась бы картина, не имеющая ничего общего с тем, что происходило в натуре. Они увидели бы на трибуне агитатора, горлана, главаря. С вдохновенным лицом, потрясая сжатым кулаком, он выкрикивал что-то гневное и патетическое. Это был пламенный трибун, готовый идти за свои убеждения на костер, как какой-нибудь Джордано Бруно. Но если бы под эту неозвученную пленку подложили *фонограмму* и немой фильм стал *звуковым,* изумленные зрители услышали бы: «Мое позорное легкомыслие!»

Думаю, что не испытывал никакого морального дискомфорта и Солженицын, когда просил Лебедева передать «дорогому Никите Сергеевичу» свою личную благодарность за его «отеческую заботу». По всем канонам лагерной морали только так – и не иначе – полагалось опытному, матерому лагернику вести себя с «начальничком», какого бы ранга этот «начальничек» ни был: «темнить», «косить», «раскидывать чернуху», «уходить в глухую несознанку», «втирать шары», «лепить горбатого», «играть незнанку», «толкать парашу».

Призывая нас «жить не по лжи», Александр Исаевич сам – для себя – исповедовал именно вот эту, лагерную мораль. И ничуть этого не стеснялся. Однажды прямо сказал о себе так:

…

> *Мои навыки – каторжанские, лагерные. Без рисовки скажу, что русской литературе я принадлежу и обязан не больше, чем русской каторге, я воспитался там, и это навсегда.*
>
> *(Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом. М., 1996)*

С трудом или без труда далась покаянная речь Белле Ахмадулиной, с той же определенностью сказать не могу. Не знаю. Но думаю, что она далась ей без особого труда. Каждая женщина – немного актриса. А о женщине с такими внешними (и не только внешними) данными, как у Беллы, с ее женским очарованием и врожденным артистизмом, и говорить нечего.

Силу своего женского очарования Белла сознавала и умело ею пользовалась. Потому-то я и думаю, что ей не так уж трудно было выграться в эту игру.

У Булата не было ни тех навыков, что у Евтушенко, ни тех, что у Солженицына, ни тех, что у Беллы. И ему выговорить те несколько слов, которые он все-таки заставил себя произнести, было не просто трудно – мучительно. И тут дело было даже не в том, что я обозначил словами «моральный дискомфорт». Для выражения этого его душевного состояния, как я его чувствовал и понимал, надо было найти какое-то другое слово.

Но искать это слово мне не пришлось: Булат сам подсказал мне его.

В 1963 году наши соседи

Алексей Яковлевич Каплер и Юля Друнина уговорили нас вместе поехать в турпоездку в Бельгию. А я в свою очередь уговорил присоединиться к нам еще одного нашего соседа, старого моего литинститутского товарища Макса Бременера с его женой Эрой.

Мы уже заранее предвкушали, как вшестером будем гулять по улицам Брюсселя. Но в последний момент – за день до вылета – нам сообщили, что Каплеры и Бременеры едут, а мы – нет.

Через две недели, вернувшись, соседи с упоением рассказывали нам, какая прелестная это была поездка. Только одно их там огорчало – что нас не было вместе с ними. Особенно остро они это почувствовали, когда в отеле на дверях соседнего номера прочли мою фамилию: номер был забронирован для нас.

Проглотив эту пилюлю, я, конечно, расстроился. Но – не слишком.

Знающие люди объяснили мне, что по каким-то правилам, официально нигде не объявленным, но всем известным, сперва надо съездить в какую-нибудь социалистическую страну и уж потом, пройдя это испытание, подавать на выезд в капиталистическую. А я нахально захотел сразу в Бельгию!

Тут, правда, была некоторая странность. У Макса и его жены Эры эта поездка в Бельгию тоже была первым их выездом за границу «большой зоны». Но их почему-то пустили, а нас нет.

Но я не стал ломать голову над этой загадкой. Что поделаешь, раз уж есть такое правило, надо ему подчиниться. И на следующий год мы с женой решили для начала съездить в Югославию.

И тоже наткнулись на отказ.

Знающие люди и на этот раз объяснили мне, что виноват тут опять был я. Оказывается, Югославия «по оформлению» выездных документов была приравнена к капиталистическим странам, поскольку Тито выбрал свой, особый, не наш, а, как тогда говорили, ревизионистский путь к социализму. Так что, уж коли я решил стать «выездным», начинать мне надо было с какой-нибудь другой страны. Лучше всего – с Болгарии.

А тут как раз друзья, собравшиеся целой компанией съездить на бархатный сезон в Болгарию, стали уговаривать меня и жену поехать вместе с ними. И мы согласились.

И что же?

Снова отказ.

На этот раз, правда, причина отказа была более или менее

ясна. Я тогда подписывал все протестные письма (в защиту Синявского и Даниэля, в поддержку Солженицына, в защиту Гинзбурга и Галанскова), и меня надо было наказать.

Первое письмо (в защиту Синявского и Даниэля) начальство пропустило мимо ушей, никак на него не прореагировало. Но протестная волна нарастала, письма становились всё смелее и решительнее, а реакция начальства – всё круче, всё суровее. И в какой-то момент к подписантам было решено применить санкции.

Сам Брежнев прошамкал что-то с самой высокой государственной трибуны, и тут сразу пронесся слух, что всех подписантов будут высылать из Москвы.

Кстати, именно на эту невнятную угрозу генсека откликнулся Булат знаменитой своей песней:

Пока безумный наш султан
сулит нам дальнюю дорогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-Богу.

В печатном варианте (напечатать ее Булату удалось лишь годы спустя) она называлась «Старинная студенческая песня», а строка «сулит нам дальнюю дорогу» в окончательной редакции выглядела уже так: «сулит дорогу нам к острогу».

Не знаю, что побудило Булата так изменить эту строку: то ли намерение архаичным словом «острог» получше замаскировать ее под «старину», то ли соблазн внутренней рифмы. Но в первоначальном варианте – я это помню хорошо – никакого острога не было. Да никаким острогом генсек нам тогда и не грозил. А вот на дальнюю дорогу намекал.

Но дело – слава тебе Господи! – обошлось и без дальней дороги. Для большинства из нас репрессии последовали совсем пустяковые. Я, например, отделался выговором, о существовании которого даже и узнал-то случайно…

И вот друзья уговорили меня подать заявление на эту туристскую поездку в Болгарию. И я подал. И снова нарвался на отказ.

Особых оснований обижаться у меня вроде не было. Тем более что к таким отказам я к тому времени вроде уже притерпелся. Но тут мне стало известно, что выкинули меня из списка подавших заявление сразу, на самой первой стадии прохождения выездных документов по инстанциям. Как оказалось, меня и жену даже и не включили в список.

Этого снести было нельзя.

Во всех прежних случаях мне отказывали какие-то

таинственные, неведомые мне инстанции, и это было, как мне тогда представлялось, в порядке вещей. А тут мне – на самом раннем, самом первом этапе – отказал мой родной Союз писателей. Что такое? Почему такая дискриминация?

Возмутившись, я заглянул в кабинет секретаря по оргвопросам – не столько в надежде поправить дело, сколько для того, чтобы выразить ему свое негодование. Вместо хорошо мне знакомого Виктора Николаевича Ильина, бывшего генерал-лейтенанта КГБ (бывшего ли? Чекисты ведь бывшими не бывают!), там сидел замещавший его на тот момент другой секретарь – довольно известный в ту пору прозаик.

С ним я был знаком только шапочно, но, в отличие от отставного генерала ГБ, он со мною держался не по-чиновничьи, а как свой брат литератор. Внимательно выслушал мою сбивчивую гневную речь. Пожал плечами:

– Ума не приложу… – начал он. И, словно бы вдруг догадавшись (некоторый чрезмерный наигрыш тут сразу его выдал), предположил: – Постойте! Может быть, вы что-нибудь подписывали?

Я признался, что да, конечно, подписывал.

– Ну вот, – радуясь, что ему удалось так быстро разгадать загадку, сказал он. – Вот тут и зарыта собака. Вам надо, – дружелюбно посоветовал он, – написать в секретариат маленькое письмецо. Ну, сами понимаете: что по прошествии времени вы поняли, осознали… Ну, что я буду вам подсказывать, форму найдете сами. Разумеется, письмо это никуда не пойдет, так и останется лежать тут, в наших бумагах. На этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Это не более чем простая формальность.

– Ладно, – сказал я. – Спасибо. Поеду не в Болгарию, а в Коктебель.

– Тоже неплохо, – улыбнулся он.

Итак, к общему удовольствию, всё разъяснилось.

Но и тут тоже была одна маленькая странность.

Те же письма, которые подписывал я, вместе со мной подписывали и мои друзья Боря Балтер и Лева Левицкий (это они уговорили нас поехать вместе с ними в Болгарию). И вот их пустили. А меня – нет.

Получалось, что где-то там, в тех неведомых мне высоких сферах, где заседала, как я слышал, какая-то неизвестно из кого состоящая «выездная комиссия», я был на каком-то особом счету, в каком-то особом «черном списке».

Так повторялось из года в год.

Но в начале 80-х, уж не знаю почему, приоткрылась и для

меня какая-то щелочка, и мы с женой побывали в ГДР, Венгрии и Чехословакии. И тут, слегка обнаглев, я решил попытать счастья: для очередной турпоездки выбрал круиз по Дунаю.

Это был пробный шар. Твердо зная, что ни в какую капстрану меня все равно не выпустят, я подумал, что с круизом дело – чем черт не шутит! – авось и выгорит. Ведь там на нашем пути будут почти сплошь соцстраны, меж которыми, глядишь, как-нибудь затеряется одна-единственная капиталистическая – Австрия.

Но этот мой номер не прошел. И тут я уж окончательно усвоил, что *настоящая заграница* – не для меня.

В поездке по ГДР я познакомился и даже слегка подружился с очаровательным человеком – поэтом и переводчиком Элизбаром Ананиашвили. В одном разговоре он признался мне, что главная государственная граница для него тоже всегда была на замке. И хитроумный план насчет круиза по Дунаю мы с ним разработали совместно. И оба потерпели фиаско.

Элизбар был существенно старше меня, и положение его в Союзе писателей было – не то что у меня – вполне прочным (он был то ли председателем секции переводчиков, то ли возглавлял там у них какой-то совет по художественному переводу). И поэтому при очередной встрече я поинтересовался у него:

– Я-то ладно. Но вы… Неужели так вот и слопаете это? Не станете качать права?

Он сказал, что нет, не станет. И с улыбкой процитировал прелестную грузинскую поговорку:

– Мышка рылась, рылась и дорылась до кошки.

Мудрость поговорки я оценил, но сам всё-таки решил попробовать.

И вот сижу я в «предбаннике» перед кабинетом оргсекретаря Ильина, а в папке у меня в немалых творческих муках рожденное и неизвестно кому адресованное письмо, в котором я – опять-таки неизвестно кого – гневно вопрошаю: «За что меня и по какому праву?»

Сижу, жду, когда Виктор Николаевич освободится от очередного посетителя и сможет наконец уделить мне минутку-другую своего драгоценного времени.

И вдруг входит Булат.

– А ты что тут делаешь? – удивился он.

Слегка смутившись, я коротко объяснил ему суть дела и сказал, что вот, решил больше не глотать безропотно одну за другой эти горькие пилюли, а попробовать всё-таки «качать права».

Выслушав это мое короткое объяснение, Булат сморщился, как от боли, и сказал:

– Как это всё унизительно!

Я сразу понял, что сказанное относится не так ко мне, как к нему самому, к его собственному положению. Оно, как я знал, в то время было даже унизительнее моего.

Заглянув в предбанник, ведущий к кабинету Ильина, и увидав там меня, он недаром спросил: «А ты что тут делаешь?» Мог ведь спросить просто: «Что ты тут делаешь?» Без этого «а». Но спросил вот так.

Смысл этого «а» был примерно такой: «Я-то известно почему тут ошиваюсь. А тебя какая нелегкая сюда занесла?»

Сам он в то время к Ильину и другим совписовским секретарям ходил чуть ли не ежедневно, как на работу. Естественно, не потому, что ему так уж хотелось лицезреть их физиономии.

И не сам – не по доброй воле он туда ходил. Его вызывали. То на секретариат, то на партком.

В обоих этих инстанциях разворачивалось, раскручивалось его персональное дело.

Началось это давно, еще два года тому назад – летом 1970 года.

Вызвал его тогда к себе для беседы (пока еще только для беседы) тот самый Виктор Николаевич Ильин и поинтересовался, каким образом его повесть «Фотограф Жора», не напечатанная в СССР, оказалась за рубежом. Булат ответил на этот вопрос (генерал, надо думать, это от него потребовал) таким письменным объяснением.

...

В секретариат правления
Московской писательской организации.
Тов. Ильину В.Н.

На Ваш вопрос о возможных путях проникновения моей повести «Фотограф Жора» на Запад позвольте сообщить следующее.

Меня самого давно беспокоит этот вопрос, и единственное реальное, что я могу предположить, – это долгое пребывание рукописей в редакциях журналов, где они широко читаются

не только штатными сотрудниками, но и многочисленными «друзьями» редакций, уносящими рукописи за пределы учреждений.

Моя повесть долгое время находилась в редакциях журналов «Юность», «Новый мир», «Октябрь», «Звезда». Публикация ее не состоялась по различным вкусовым и техническим причинам, а отнюдь не по соображениям идеологического характера.

Впоследствии я даже был рад этому обстоятельству, т. к. повесть моя (как я понял позже) малоинтересна и не представляет моих возможностей.

Затем я узнал, что она появилась в журнале «Грани», о чем устно сообщил в партийную организацию.

Надеюсь, Вы не сомневаетесь в том, что я не имею никакого отношения к передаче рукописи повести за рубеж.

Б. Окуджава 17 июля 1970 года

Объяснение это Ильина, видимо, удовлетворило, и Булат даже перешел в контратаку. Воспользовавшись этим поводом, стал качать права.

А может быть, уже в процессе устного обсуждения этого инцидента с Ильиным он выдвинул свои, встречные претензии к Союзу писателей.

Десять дней спустя (26 июля) он отправил в партком Московской писательской организации другое письмо.

...

Уважаемые товарищи!

Я никогда не беспокоил вас просьбами личного характера, но обстоятельства складываются, к сожалению, так, что я вынужден

изменить своему правилу.

Говорят, что творческая судьба зависит в основном от способностей, усердия и доли удачи. На протяжении 15 лет литературной работы я сумел проявить кое-какие литературные способности и не считаю нужным об этом распространяться; я был достаточно усерден и времени зря не терял; небольшие удачи мне сопутствовали. Но, видимо, есть еще некая сила помимо нас самих, от которой зависят наша работа, успех и материальное благосостояние.

Вот несколько моментов, странно определяющих мое положение.

1. В течение более десяти лет я отношусь к лицам, вход которым на телевидение и радио запрещен. Почему?

2. В восьми зарубежных странах вышли долгоиграющие пластинки с моими злополучными песнями-стихами, а на родине – ни одной, если не считать трех песен в «Кругозоре», да и то стыдливо переписанных с парижской пластинки!.. Все песни, появившиеся за рубежом, взяты из моих книг, все они давно прошли Лит, звучали в кинофильмах, в спектаклях. Я уверен, что из более чем ста песен можно было бы отобрать двадцать-тридцать лучших для издания у нас на диске ну хотя бы, чтоб не было разговоров о моей подпольной поэтической работе!

3. Я написал роман о декабристах. Он опубликован в журнале «Дружба народов». Я написал в «Литературную газету» маленькую заметку в ответ на статью критика, который был

слишком раздражен, слишком плохо знал историю, мне ответили, что газета не считает нужным вести разговор о моем романе. Почему меня лишили права голоса, я не могу понять.

Один из ведущих режиссеров нашего театра попытался инсценировать роман для телевидения. Ему посоветовали об Окуджаве и не заикаться.

Прошел год. За рубежом роман вышел уже в семи странах, в самых порядочных издательствах, а из плана приложения к «Дружбе народов» почему-то вылетел: кто-то велел, кто-то распорядился. Старая история. И это в то время, когда многие и не лучшие прозаические произведения издаются стотысячными тиражами и переиздаются с легкостью.

4. Я, конечно, времени не терял и за этот год написал новый исторический роман. Но стоило мне предложить отрывок из него в «Литературную газету», как тотчас получил ответ: мы отрывков из исторических романов не публикуем. Почему? Что произошло?

5. Подал заявку в «Гослит» на издание книжки избранных стихов – ни звука в ответ.

6. В издательстве «Музыка» выкинули статью о моих песнях.

Литературные и издательские сложности испытывает в разной степени каждый литератор, такова жизнь. Но мне время от времени напоминают, что буржуазная пропаганда использует мое имя в своих грязных целях, на что я принужден отвечать риторическим вопросом: почему же моя родина не

использует мое имя в своих целях? На этом изысканном уровне обычно и прерываются отношения моей организации со мною.

Я человек стойкий и закаленный, но самое ужасное заключается в том, что скоро мне нечем будет кормить мою многочисленную семью. Перспективы туманны.

Я понимаю, что я человек «неудобный», а порою и трудный, но несмотря на это прошу вас разобраться во всем и:

1. Если все это – лишь печальное недоразумение – принять меры и помочь мне.

2. Если же целесообразно для нашей литературы в данный момент меня наказать, лишив куска хлеба, – сообщить мне об этом, чтобы я не суетился, не хлопотал, а знал свое место.

Нельзя же, в конце концов, интересоваться моей судьбой лишь тогда, когда обо мне вспоминают зарубежные писаки!

Какие меры принял в ответ на это письмо Союз и принял ли их вообще, сказать не могу, не знаю. Но свою роль в той истории оно, наверно, тоже сыграло. Во всяком случае, после этих двух писем от Булата они отстали.

А спустя два года – по сходному поводу – заварилась другая каша.

На этот раз мюнхенское издательство «Посев» выпустило целую книгу Булата. И от него потребовали, чтобы он публично осудил эту антисоветскую провокацию злейших врагов нашего государства. Булат же сделать это категорически отказывался.

Поначалу казалось, что дело это не стоит выеденного яйца, что оно даже еще более пустяковое, чем предыдущее, поскольку все произведения Булата, вошедшие в этот «вражеский» сборник, – и стихи, и проза – уже публиковались в разных советских изданиях, откуда зарубежные издатели их и взяли. Постоянно задававшийся в таких случаях проштрафившемуся автору вопрос: «А как попала ваша рукопись в руки наших врагов?

Кто ее им передал? Уж не вы ли сами?» – тут даже и не задавался. Так что были все основания предполагать, что дело это, неведомо по чьей инициативе и для чего затеянное, сразу развалится и от Булата, как и в тот раз, отстанут.

Но от него не отставали. Напротив, что ни день, дело принимало всё более крутой оборот и начальственные угрозы становились всё более жесткими.

Зная всё это, я спросил у него:

– Ну а твои-то дела как?

Он ненадолго присел рядом со мной и коротко рассказал, что на последнем заседании парткома, куда его вызывали, – «на ковер», как это у них называлось, – ему прямо было заявлено, что, если он не сделает то, что от него требуют, из партии его исключат.

Отчасти потому, что по природе был оптимистом, но главным образом потому, что хотел развеять его мрачное настроение, я сказал:

– Да ну, это они блефуют. Поверь мне, всё кончится, как у Галича: «Получил строгача, ну и ладушки».

Он сказал:

– А мне всё равно. Никакого письма я им не напишу. Хотят исключать – пусть исключают!

Я – опять-таки для того, чтобы отвлечь его от грустных мыслей, – пересказал ему забавный рассказ моего приятеля – известного тогда литературного критика Саши Лебедева. Его тоже недавно вызвали на ковер. И не куда-нибудь, а в ЦК. И предложили – точно не помню – то ли покаяться публично в каких-то собственных его грехах, то ли написать статью об искривлении партийной линии, допущенной кем-то из его коллег.

Саша вежливо спросил у сделавших ему это предложение аппаратчиков, не помнят ли они, что сказал Буратино Мальвине, когда та потребовала от него, чтобы он чистил зубы.

Аппаратчики, слегка озадаченные этим неожиданным вопросом, ответили, что нет, не помнят.

– Тогда, – любезно пояснил Саша, – я вам напомню. Он сказал ей: «Сдохнете, не дождетесь!»

Выслушав эту историю, Булат посмеялся (на что я и рассчитывал), но тут же, посерьезнев, сказал, что будет держаться той же линии. И еще раз повторил:

– Захотят исключать – пусть исключают. Но никакого письма я *им* всё равно не напишу.

Жизнь, однако, показала, что он недооценил силу давления обрушившейся на него всем весом своей государственной

громады могучей ядерной державы.

Было тогда такое самиздатское издание —

«Хроника текущих событий». «Издавалось» оно машинописным способом на листочках тоненькой папиросной бумаги. Каков был тираж этого «издания», сказать не могу, но думаю, что большой. Начальству эта «Хроника» была как острый нож в горло. Выпускавших ее время от времени вычисляли, находили, делали у них обыски, арестовывали, и после каждого такого погрома казалось, что на этот раз уже всё, с «Хроникой» покончено, больше выходить она не будет. Но через некоторое время каким-то чудом она возрождалась, как феникс из пепла.

И вот в очередном выпуске этой «Хроники» появилось такое сообщение:

...

ВНЕСУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

В начале апреля на партбюро секции поэзии БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ было предложено в письме в «Литературную газету» осудить факт публикации издательством «Посев» сборника его произведений (опубликованных, за исключением, кажется, одного рассказа, и в нашей стране). ОКУДЖАВА соглашался на это при условии, что ему дадут возможность одновременно осудить некоторые препятствия, стоящие на пути издания художественных произведений в нашей стране. В конце концов договорились на том, что требуемое «осуждение» ОКУДЖАВА сделает устно, на одном из писательских собраний.

Однако 1 июня на заседании парткома ССП СССР речь снова шла только о письме в газету. ОКУДЖАВА отказался написать

требуемое письмо. Партком единогласно исключил его из партии «за антипартийное поведение, выразившееся в отказе осудить факт публикации некоторых его произведений в западной прессе».
(Хроники текущих событий. 1972. № 26)

Дело, стало быть, заварилось в апреле, исключили его в июне, а в самом конце ноября на девятой странице «Литературной газеты» появилось такое его письмо:

...

В течение ряда лет некоторые печатные органы за рубежом делают попытки использовать мое имя в своих далеко не бескорыстных целях.

В связи с этим считаю необходимым сделать следующее заявление.

Критика моих отдельных произведений, касающаяся их содержания или литературных качеств, никогда не давала реального повода считать меня политически скомпрометированным, и поэтому любые печатные поползновения истолковать мое творчество во враждебном для нас духе и приспособить мое имя к интересам, не имеющим ничего общего с литературными, считаю абсолютно несостоятельными и оставляю таковые целиком на совести их авторов.

Б. Окуджава18. XI.72.
(Литературная газета. 1972. 29 ноября)

Сегодняшнему читателю трудно – я думаю, даже невозможно – представить, как разительно отличалось это письмо от того, что требовало от Булата, вымогало у него высокое партийное

начальство. Чтобы помочь вам увидеть эту разницу, приведу – для сравнения – письмо другого писателя, появившееся в том же году на страницах той же «Литературной газеты»:

...

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы».

Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами «Посев» или «Новый журнал», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность.

Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь.

Я – честный советский писатель. Инвалидность моя не дает мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности.

Я – честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении XX Съезда Коммунистической партии в моей жизни и жизни страны.

Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих

зловонных журнальчиков, – по рассказу-два в номере – имеет целью создать у читателя впечатление, что я – их постоянный сотрудник.

Эта омерзительная змеиная практика господ из «Посева» и «Нового журнала» требует бича, клейма.

Я отдаю себе полный отчет в том, какие грязные цели преследуют подобными издательскими маневрами господа из «Посева» и их так же хорошо известные хозяева. Многолетняя антисоветская практика журнала «Посев» и его издателей имеет совершенно ясное объяснение.

Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию, на любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя.

И в прежние годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается изданием, глубоко враждебным нашему строю, нашему народу.

Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений.

Всё сказанное относится к любым белогвардейским изданиям за границей. Зачем же им понадобился я в свои шестьдесят пять лет?

Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, «внутреннего эмигранта» господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся!

С уважением,
Варлам Шаламов.Москва15 февраля 1972 г.(Литературная газета. 1972 г. 23 февраля)

Страшное это было письмо.

Прочитав его тогда, я – не только я, все мы, кто знал, кто такой Шаламов, – не могли поверить своим глазам. Но упрекать, а тем более осуждать его мы не смели. Кто посмел бы кинуть камень в человека, за плечами которого было двадцать лет каторги, Колыма, – в старого каторжанина, который, прочитав «Один день Ивана Денисовича», об авторе этой пронзившей нас повести высказался так:

– Интересно, где это он нашел такой лагерь? Ведь это же санаторий!

Мы, конечно, не сомневались, что письмо это было вырвано у него под пыткой (в наше вегетарианское время, конечно, уже не физической, но для него не менее страшной).

Но сам Варлам Тихонович это отрицал:

...

Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому.

Я отлично знаю, что мне за любую мою «деятельность», в кавычках или без кавычек, ничего не будет в смысле санкций. Тут сто причин. Первое, что я больной человек. Второе, что государство с уважением и пониманием относится к положению человека, много лет сидевшего в тюрьме, делает скидки. Третье, репутация моя тоже хорошо известна. За двадцать лет я не подписал, не написал ни одного заявления в адрес государства, связываться со мной, да еще в мои 65 лет, не стоит. Четвертое, и самое главное, для государства я представляю собой настолько ничтожную величину, что отвлекаться на мои проблемы

государство не будет. И совершенно разумно делает, ибо со своими проблемами я справлюсь сам.

Почему сделано это заявление? Мне надоело причисление меня к «человечеству», беспрерывная спекуляция моим именем: меня останавливают на улице, жмут руки и так далее. Если бы речь шла о газете «Таймс», я бы нашел особый язык, а для «Посева» не существует другого языка, как брань. Письмо мое так и написано, и другого «Посев» не заслуживает. Художественно я уже дал ответ на эту проблему в рассказе «Необращенный», написанном в 1957 году, и ничего не прочувствовали, это заставило меня дать другое толкование этим проблемам.

Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. Первое – другая история. Второе – полное равнодушие к судьбе. Третье – безнадежность перевода и вообще всё – в границах языка.

Прочитав (не тогда, а уже в иные, более поздние времена) это его объяснение «для себя» (именно так он его и назвал), я ему не поверил.

О том, что на самом деле язык и стиль этого тогдашнего его заявления принадлежат не ему, говорило (не говорило – кричало! вопило!) каждое слово этого заявления, каждый его стилистический оборот, каждая фраза:

…

Я – честный советский гражданин. <…>

Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков. <…>

Омерзительная змеиная

практика господ из «Посева». <…>

Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране. <…>

Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке. <…>

Читая это тогда, я, грешным делом, сперва даже подумал, что всей этой гнусной лексикой и фразеологией Шаламов решил воспользоваться нарочно, чтобы читатели «Литературной газеты» сразу увидели, поняли, что это *не он,* что это его письмо *вынужденное, вымученное,* что его *заставили* всё это написать.

Но это на миг промелькнувшее у меня предположение я тут же отбросил: слишком очевидно было, что это письмо написано человеком, по которому *проехал танк* .

Что же касается письма Булата, то весь его строй, вся его стилистика, самый его лаконизм наводили на мысль, что автор дает нам понять, что написать это письмо его заставили, вынудили.

В самой тональности письма ощущается даже некоторая брезгливость: скорее, скорее выплюнуть эти слова, которые вы насильно заставили меня «взять в рот». Вы этого хотели? Так вот вам! Нате! Подавитесь!

Почувствовали это, наверно, не все читатели. Но и те, кто не знал Булата так близко, как я, не могли не ощутить, что далось ему это письмо нелегко и что, сочиняя его, он очень старался, чтобы сдача его выглядела как можно менее постыдной.

В какой-то мере это ему как будто удалось. Но факт остается фактом. Сказав мне тогда: «Пусть исключают! Никакого письма я им всё равно не напишу!» – он переоценил свои возможности. Или – лучше сказать – недооценил силу давления, которому не смог противостоять.

Но какие претензии тут могут быть к Булату, если этому давлению – в такой же ситуации – не смог противостоять даже Солженицын.

Осенью 1967 года

противостояние Солженицына с руководством Союза писателей СССР достигло критической точки.

После майского обращения Александра Исаевича к писательскому съезду, в котором он требовал, чтобы союз и писательская общественность защитили его от преследований и клеветы и поспособствовали публикации «Ракового корпуса» (если с этим не поспешить, предупреждал он, повесть вот-вот будет опубликована на Западе), собрался так называемый большой секретариат для встречи с автором крамольного письма и обсуждения поставленных им острых вопросов.

Только трое из собравшихся сорока восьми секретарей поддержали там (с некоторыми оговорками) опального писателя: Симонов, Салынский ну и, разумеется, Твардовский, давно уже требовавший, чтобы секретариат дал ему санкцию на публикацию «Ракового корпуса». Все остальные секретари во главе с К.А. Фединым в самой решительной, категорической форме заявили, что все эти вопросы могут быть обсуждены, а может быть, даже и разрешены только в том случае, если Солженицын публично выступит с осуждением той разнузданной, как они выражались, антисоветской кампании, которую развернула вокруг его имени западная (буржуазная) печать.

Солженицын написать такое письмо отказался в самой категорической форме. Стоял насмерть.

Схватка была нешуточная.

Обо всех ее перипетиях он подробно рассказал в своей книге, скромно озаглавленной «Бодался теленок с дубом».

Я назвал это заглавие скромным, потому что на самом деле ее автор и главный герой был отнюдь не «теленком», а опытным, умелым, сильным и бесстрашным бойцом. И «бодался» он не с дубом, а с могучей ядерной державой. И не «бодался», а сражался по всем правилам военного искусства. Недаром подробный его репортаж о ходе того сражения был выдержан в духе военных реляций:

...

Я торжественно встал, раскрыл папку, достал отпечатанный лист и с лицом непроницаемым, а голосом, декламирующим в историю, грянул

им свое первое заявление, отводящее «Пир победителей» – но не покаянно, а обвинительно, – их всех обвиняя в многолетнем предательстве народа!!!

Я потом узнал: у них уже было расписано, кто за кем и как начнут меня клевать. Они уже стояли в боевых порядках, но прежде их условного звонка я дал в них залп из ста сорока четырех орудий, и в клубах дыма скромно сел. <…>

Они сливаются в гомоне – в ропоте – в вое: «Секретариат не может начать обсуждать без ваших ответов!» – «Вы можете вообще отказаться разговаривать, но заявите!»

Смяты и наши стройные ряды, они сбивают и мой план боя. <…>

Я подымаюсь, вынимаю свои листы и уже не исторически-отрешенным, но свободнеющим голосом драматического артиста читаю им готовые ответы.

И передаю стенографисткам.

Они поражены. Вероятно, за 35 лет их гнусного союза – это первый такой случай. Однако прут резервы, второй эшелон, прет нечистая сила! <…>

Я встаю и выхватываю следующие листы. И уже всё более свободно и всё более расширительно, сам определяя границы боя, уже не столько на их вопросы, сколько по своему плану, я гоню и гоню их по всему Бородинскому полю до самых дальних флешей.

И – тишина, рассеянность, растерянность, неопределенность наступают в пространстве. И с фланга идут чьи-то ряды, но это не вполне враги, это полунаши.

Выступают Салынский и Симонов, они хоть не вовсе за нас, но хотя бы за «Раковый». Враг растерян, никто не просит слова, и вопросов уже нет. Что такое? Да не есть ли это победа? Тяжелыми драгунами Твардовский начинает реять и рыскать по полю: так принимаем решение! печатаем «Корпус»! и отрывок немедленно в «Литгазете»! да мы же принимали коммюнике, где коммюнике, Воронков?

Еще немножко, еще немножко им продержаться! Да где же имперские резервы? <…> Там и здесь поднимаются из-под копыт. <…>

И вот она, черная гвардия! – Корнейчук (разъяренный скорпион на задних ножках)! Кожевников! И на белых конях – перемётная конница Суркова! И дальше, и дальше, из глубины – новые и новые твердолобые – Озеров, Рюриков, на хоккеиста смахивающий Баруздин. <…>

Враги заполнили всё поле, всю землю, весь воздух! Поле боя останется за ними. Мы как будто были смелей, мы всё время атаковали. А поле боя – за ними.

Бородино. Нужно времени пройти, чтобы разобрались стороны, кто выиграл в этот день.

(Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом. М., 1996)

Писал бы он этот свой репортаж сразу, по горячим следам, ни на миг бы не усомнился, что победа тогда осталась за ним. Но писал он его потом, когда дальнейшее развитие событий уже не было для него тайной. И именно поэтому то свое генеральное сражение он сравнил с Бородинским. Там ведь тоже не вполне ясно было, чья победа. Но Кутузов приказал отступать. И сдал Москву.

Вот так же и Александр Исаевич после своего «Бородина» вынужден был отступить.

В «Новый мир» пришла телеграмма:

...

Франкфурт-на-Майне, 9. 4., Твардовскому – «Новый мир».

Ставим вас в известность, что комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад еще один экземпляр «Ракового корпуса», чтобы этим заблокировать его публикацию в «Новом мире». Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу.

Редакция журнала «Грани»

Тут уже и насмерть перепугавшийся Твардовский склонился на сторону его врагов.

...

И Твардовский прямо диктует мне:

«Я категорически запрещаю вашему неоэмигрантскому, откровенно враждебному журналу… Приму все меры…»

– А иначе, Александр Исаевич, мы вам больше не товарищи!

И на лицах Лакшина-Хитрова-Кондратовича каменное, единое: нет, мы вам больше не товарищи! Мы – патриоты и коммунисты.

О, как трудно не уступить друзьям !.. Ну что ж… ну ладно… ну, телеграмму я дам (Я сломлен! Так быстро!). Пытаюсь сложить – а слова не складываются. Дайте подумать! Отводят в кабинет Лакшина. Но я как бы под арестом,

пока не напишу запретительной телеграммы – из редакции не отпустят…

Не пишется. Утро вечера мудреней, дайте подумать, завтра утром пошлю, обещаю. Кое-как отпустили.

А на душе – мерзко.

Л.К. Чуковская с недоумением:

– Не понимаю. Игры, в которые играют тигры. Лучше устраниться.

И правда, что за морок? Как мог я им обещать!

(Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом. М., 1996)

После долгих сомнений и душевных терзаний протестное письмо было все-таки им написано. И в конце концов появилось на страницах «Литературной газеты». Вот оно:

…

В редакцию «Литературной газеты»

25 апреля 1968

Из сообщения газеты «Монд» от 13 апреля мне стало известно, что на Западе в разных местах происходит печатание отрывков и частей из моей повести «Раковый корпус», а между издателями Мондадори (Италия) и Бодли Хэд (Англия) уже начат спор о праве «копирайт» на эту повесть.

Заявляю, что никто из зарубежных издателей не получал от меня рукописи этой повести или доверенности печатать ее. Поэтому ничью состоявшуюся или будущую (без моего разрешения) публикацию я не признаю законной, ни за кем не признаю издательских прав; всякое искажение текста (неизбежное при

бесконтрольном размножении и распространении рукописи) наносит мне ущерб; всякую самовольную экранизацию и инсценировку решительно порицаю и запрещаю.

Я уже имею опыт, как во всех переводах был испорчен «Иван Денисович» из-за спешки. Видимо, это же ждет и «Раковый корпус». Но кроме денег существует литература.

А. Солженицын 21.4.68 (Дело Солженицына. Лондон; Онтарио, 1970)

Это письмо Александр Исаевич опубликовал в книге «Бодался теленок с дубом» в разделе «Приложения». Но я привожу его здесь по более раннему, зарубежному изданию, потому что, публикуя его в Приложениях к своему «Теленку», он его слегка подправил.

Нет, в тексте письма он не изменил ни слова. Изменил только адрес и подпись.

В «Теленке» письмо адресовано не в «Литературную газету», а в три адреса: *в редакции «Монд», «Унита», «Литгазеты».*

И подписано там оно не «А. Солженицын», а – просто «Солженицын».

Так оно выходило более сухо, отчужденно, холодно.

Такими стилистическими тонкостями он старался усилить впечатление, что решил выступить с этим своим заявлением не под нажимом, не уступая властям, которые от него этого требуют, а руководствуясь исключительно личными мотивами, только собственной, личной своей озабоченностью.

Ну а что касается самого текста письма, то он как будто вполне безупречен.

Но сам Александр Исаевич сознает, чувствует, что – не вполне:

...

Сколькие советские писатели с удовольствием (и без всякой даже надобности) лягали русскую церковь, русское священство (хотя б и в «Двенадцати стульях») или весь «западный мир», зная, насколько это безопасно, безответно и укрепляет

их шансы перед своим правительством. Этот подлый наклон чуть-чуть не овладевает и мной, свое письмо я наклоняю слишком резко против западных издательств – как будто у меня есть какие-нибудь другие! (Н.И. Столярова вовремя поправляет меня…)

(Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом. М., 1996)

Но вот письмо уже выправлено, отшлифовано, вылизано. Учтены все опасения и советы друзей (кроме совета Лидии Корнеевны не играть в эти игры, «в которые играют тигры»).

Казалось бы, можно успокоиться?

Нет:

…

…Вдруг меня серое щемление охватывает изнутри: а не допустил ли я подлости? а не слишком ли резок я к Западу? а не выглядит это как сломленность, как подслуживание к нашим?..

Очень мерзко на душе. Вот самая страшная опасность: защем совести, измаранье своей чистой чести, – никакая угроза, никакая физическая гибель и в сравненье идти не могут. Хотя уверяют меня друзья, что ничего позорного в письме нет.

(Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом. М., 1996)

Этот «защем совести» мучил и Булата. Недаром же, когда от него потребовали, чтобы он публично – письмом в «Литгазету» – осудил западное, зарубежное издание своих произведений, он, как сообщила об этом «Хроника текущих событий», соглашался «при условии, что ему дадут возможность одновременно осудить некоторые препятствия, стоящие на пути издания художественных произведений в нашей стране». А когда ему категорически в этом отказали, вопрос о том, будет ли в его обращении в «Литгазету» что-нибудь позорное, даже и не стоял.

Позорен был сам факт его согласия написать и опубликовать такое письмо – независимо от того, что в нем будет написано.

Но Булата не так мучил «защем совести» (с совестью своей человек всегда может договориться), как совсем другой «защем». Ему не давало покоя сознание своей внутренней несвободы, ущемленное чувство собственного достоинства. (Опять вспоминаю его искаженное болью лицо, когда он сказал мне: «Как это все унизительно!»)

Но, если уж сам Солженицын бросил им эту кость, Булат мог и не чувствовать этого унижения. Во всяком случае, не корить себя, не терзаться никакими «ущемами совести». А в сравнении с появившимся на страницах той же «Литгазеты» письмом Шаламова его письмо выглядело даже исполненным ничем не замутненного чувства собственного достоинства.

Но не все восприняли это так.

Помню свой разговор на эту тему с одним тогдашним моим знакомым – Володей Глоцером.

Володя одно время был секретарем Маршака, и именно он позвонил мне и сообщил, что Самуил Яковлевич прочел мою книжечку о Пантелееве и хочет со мной встретиться.

Нередко я виделся с Володей и у Корнея Ивановича, и у Лидии Корнеевны, которая тоже его привечала.

Мы с ним не были ни друзьями, ни даже близкими приятелями. Но он считал меня «своим», и я его тоже. Поэтому разговоры у нас были вполне откровенные.

И вот, столкнувшись однажды на Тверской, постояли, поговорили, даже прошлись немного вместе, продолжая начатый разговор.

А разговор был как раз о Булате, о том самом, только что появившемся тогда в «Литгазете» его письме.

– Говорят, – с сардонической усмешкой сказал Володя, – его надо читать как-то по-особенному: то ли на просвет, то ли переворачивая газетную страницу вверх ногами. Я пробовал и то и другое, но выходило всё одно и то же.

– А что ему было делать? Как еще в этих обстоятельствах он мог поступить? – кинулся я защищать своего любимого Булата.

– Ну-у, скажем, так, как поступила в подобном случае Лидия Корнеевна.

И рассказал такую историю.

После какого-то очередного ее открытого письма начальство, решив, что отмалчиваться и делать вид, что ничего уж такого особенного не происходит, больше уже нельзя, что на все ее выходки всё-таки надо как-то прореагировать, пригласило ее на встречу с одним из секретарей Московского отделения Союза

писателей. Пригласили (пока еще) не для проработок и нагоняев, а просто для дружеской беседы. Было ли это ими всеми так задумано или такую форму встречи избрал проводивший ее секретарь (кажется, это был Росляков), но провести ее он постарался в самом мягком и дружелюбном тоне, какой, по его мнению, тут был возможен.

– Как же так получилось, Лидия Корнеевна, – начал он, – что, обсуждая наши сугубо внутренние, товарищеские дела, вы обратились за поддержкой и защитой к нашим врагам?

Ответить на этот вопрос можно было по-разному. Например, сказать – как это делали многие, – что обращаться к нашим врагам даже и не думала. Что свое открытое письмо Маргарите Алигер она послала в «Известия», а открытое письмо Шолохову адресовала, как прямо там было сказано, «В правление Ростовского отделения Союза писателей. В правление Союза писателей РСФСР. В правление Союза писателей СССР. В редакцию газеты “Правда”. В редакцию газеты “Известия”. В редакцию газеты “Молот”. В редакцию газеты “Литературная Россия” и в редакцию “Литературной газеты”». А о том, каким образом эти ее письма попали в руки «наших врагов», она знать не знает и ведать не ведает, и пусть это выясняют те, кому положено этим заниматься, то есть, как принято выражаться в таких случаях, наши компетентные органы.

Но Лидия Корнеевна не стала придуриваться и вертеть вола. И на вопрос Рослякова ответила так.

– Не понимаю, – будто бы сказала она, – почему тех, кто меня печатает, я должна считать своими врагами, а тех, кто не печатает и даже травит, – друзьями.

Этот ее ответ меня восхитил, о чем я не преминул сообщить ей при первой же нашей встрече.

Достоверность этой истории Лидия Корнеевна тогда не подтвердила. Кажется, даже дала понять, что ничего подобного не было, что это легенда, одна из многих, какие ей часто приходится о себе слышать. Но при этом сказала:

– Не надо ни от кого ничего требовать. У каждого своя точка кипения, свой Рубикон.

Этой ее реплике особого значения я тогда не придал. Но потом вспоминал ее не однажды. И в первый раз мне пришлось ее вспомнить довольно скоро.

Виктора Платоновича Некрасова,

даже в ту пору, когда мы с ним были едва знакомы, я, как и все мы, звал Вика. И, если ненароком сбивался на «Виктора Платоновича», он недовольно морщился. И это несмотря на разницу в возрасте (он был старше меня на шестнадцать лет).

Володя Войнович моложе меня на шесть лет. Он, стало быть, был моложе Вики на двадцать два года. Но это обстоятельство ничуть не мешало ему не только звать Виктора Платоновича Викой, но и быть с ним на «ты».

С Викой иначе было нельзя.

И в этом тоже проявлялось главное свойство его личности: он не признавал никаких условностей, никаких барьеров, никаких табу. Не только с друзьями, но и в своих отношениях с самой Софьей Власьевной. (Любимая его реплика: «Бодал я советскую власть!»)

Рано или поздно это должно было кончиться плохо. И так оно и случилось.

В 62-м на каком-то высоком партийном собрании (кажется, на пленуме ЦК) Хрущёв вдруг объявил, что знает только одного настоящего Некрасова – того, который написал «Я из лесу вышел, был сильный мороз». А таких Некрасовых, как Виктор, надо гнать из партии железной метлой.

Поводом для этого высказывания послужили путевые заметки Вики о нескольких его заграничных поездках, в которых он некритически, даже вполне доброжелательно изобразил окаянный мир чистогана.

Тотчас же в «Известиях» – газете, главным редактором которой в то время был зять Хрущёва Алексей Аджубей, – появилась статья «Турист с тросточкой». (С этого момента во всех своих письмах вместо подписи Вика рисовал шляпу и тросточку: это стало чем-то вроде его фамильного герба.)

По всем законам и канонам партийной дисциплины Вика должен был покаяться, признать ошибки. Но он этого делать не стал.

Проигнорировал один партийный выговор, потом второй («Бодал я советскую власть!»).

Тогдашний секретарь ЦК Украины Шелест, подпевая главному пахану, рвал и метал, требуя от Некрасова полагающихся покаяний. Но тут главный пахан вдруг оказался «волюнтаристом», а это означало, что и все его высказывания и указания тоже были «волюнтаристские». И тогда – рассказывал Вика – тот же Шелест на каком-то приеме, наклонившись к его

уху, шепнул ему: «Все эти годы я дивился вашему партийному мужеству».

После этого на какое-то время от него отстали.

Но Вика продолжал «бодать» советскую власть, вел себя как свободный человек, организовал самочинный митинг в Бабьем Яру в память о расстрелянных там немцами евреях и совершил много других действий и поступков, не согласующихся с его статусом лауреата Сталинской премии и – пока еще! – члена партии.

И вот наконец свершилось.

21 мая 1973 года на заседании Киевского горкома КПУ Виктор Платонович Некрасов за действия, несовместимые с высоким званием коммуниста, был исключен из КПСС.

По логике вещей ему теперь – при его характере – оставалось только одно: податься в диссиденты.

Так оно в конечном счете и случилось. Но этому предшествовала история, которая в нашем тесном кругу получила кодовое наименование «Три мудреца в одном тазу».

Имелось в виду знаменитое английское (кажется, фольклорное) четверостишие, дошедшее до нас в изложении Маршака:

Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
Длиннее был бы мой рассказ.

В нашем случае мудрецов было не трое, а четверо.

С двумя Володями – Войновичем и Корниловым – мы были тогда неразлучны. Что ни день, то мы с женой и Войновичами у Корниловых, то Корниловы с нами у Войновичей, а то Войновичи и Корниловы у нас.

Жены не всегда участвовали в этих наших ежевечерних посиделках. И в тот вечер мы с Войновичем у Корниловых были без жен. Четвертым был приехавший ненадолго из своего Киева в Москву Вика.

Строго говоря, нас было не четверо, а пятеро: пятой была принимавшая нас хозяйка дома, жена Володи Корнилова Лара. Но мой рассказ о «мудрецах», а «мудрецов» было четверо.

Сейчас уже не вспомню, кто из нас первым произнес слово «журнал».

Мне кажется, что это был я, и вот почему. Говорили о том, что для нас – для таких, как мы, – возможности публиковать то, что мы пишем, дома, на родине, уже не осталось. Остается единственный выход: как это ни опасно, печататься там, на

Западе, в тамиздате.

Войнович, а за ним Корнилов свои первые шаги на этом пути уже сделали. Войнович со дня на день ждал, когда в Париже в ИМКе выйдет наконец его «Чонкин». И у Корнилова – там же, на Западе, – тоже вот-вот должна была увидеть свет первая его большая прозаическая вещь – повесть «Девочки и дамочки».

– Хорошо вам, – вздохнул я. – А что делать мне? Критику нужен журнал. Причем свой, такой, в котором он мог бы печататься постоянно, из номера в номер.

По тому, как быстро вспыхнул и стал разгораться этот костер, сразу же стало ясно, что мысль (лучше сказать – мечта) о своем журнале давно уже втайне владела каждым из нас.

Я сказал:

– У меня есть хорошее название: «Инакомыслящий».

– Нет, – решительно сказал Вика. – Это не годится. Название должно быть нейтральным. Я в детстве, ну, подростком, выпускал свой рукописный журнал. Он назывался «Парус». Вот так бы и назвать.

Название «Парус» всем понравилось.

Туманная, отвлеченная идея обретала черты реальности.

Но тут кто-то из нас сказал, что затея эта – нереальная. В лучшем случае мы успели бы выпустить только один, первый номер. Тут же, сразу нас бы «взяли за хибот», так что до второго номера дело даже бы и не дошло.

– Это я предусмотрел, – сказал Войнович, как видно, давно уже проворачивавший в своем мозгу эту идею. – Надо так. Подготовить сразу пять-шесть номеров и перекинуть их Карлу (имелся в виду Карл Проффер) или в ИМКу. И договориться, что, когда нас возьмут, журнал будет выходить с определенной периодичностью, номер за номером.

От слов «когда нас возьмут» (не «если», а – «когда») у меня мороз пошел по коже.

И в этот момент в моем сознании все повернулось.

Это была уже не болтовня, не игра.

Всей кожей я почувствовал: вот, пробил мой час. Настал момент и мне «выйти на площадь».

Это была у нас тогда такая фигура речи

Вошла она в наш словесный обиход из одной песни Галича. Была тогда у него такая песня – про полковника, не посмевшего 14 декабря 1825 года вместе с друзьями-единомышленниками выйти на Сенатскую площадь:

Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды —
Они ж по ночам: «Отчизна!
Тираны! Заря свободы!»
Полковник я, а не прапор,
Я в битвах сражался стойко,
И весь их щенячий табор
Мне мнился игрой, и только.
И я восклицал: «Тираны!»,
И я прославлял свободу,
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду.
И в то роковое утро
(Отнюдь не угрозой чести)
Казалось куда как мудро
Себя объявить в отъезде…
…Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы…
Но я же кричал: «Тираны!»
И славил зарю свободы!

Эта галичевская песня только притворялась экскурсом в древнюю историю. На самом же деле она была тогда жгуче актуальна: недаром в первом тогдашнем печатном издании (зарубежном, конечно) под ее текстом стояла дата: 22 августа 1968 года. В тот день семеро смельчаков вышли на Красную площадь с плакатами, выражавшими солидарность с жителями оккупированной нами Праги. Все мы тогда думали и чувствовали так же, как они, но сидели по своим кухням, «пили вино, как воду» и кричали (не очень громко): «Тираны!» А на площадь вышли только те семеро.

И именно к нам, сидевшим тогда по своим кухням (не исключая, впрочем, и себя самого), обращал автор последние строки этой своей песни:

И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

Перед нами (я имею в виду тот наш узкий круг, тесную нашу компанию) вопрос этот – выходить или не выходить «на площадь» – встал вплотную, когда пришло известие об исключении из Союза писателей Солженицына.

Прошел слух, что Александр Исаевич (Саня, как мы меж собой тогда его называли) потребует (кажется, даже уже потребовал), чтобы все его единомышленники (точнее, те, кого он в то время полагал своими единомышленниками) в знак солидарности с ним демонстративно вышли из Союза писателей, чуть ли даже не прямо швырнули в морду начальству свои членские билеты.

«Что за чушь!» – наверно, подумает сегодня каждый, кому доведется прочесть этот мой рассказ. Как мог он это от вас потребовать? И как вы могли поверить этому нелепому слуху?

Поверили, потому что слух этот вполне согласовался с тем представлением о Сане, какое у нас тогда сложилось. И сложилось оно не на пустом месте. Такое требование было бы вполне в его, Санином, духе, о чем может наглядно свидетельствовать такое его письмо, которое мне случилось прочесть совсем недавно:

...

6.1.74

Дорогая Сарра Эммануиловна!

Хочется спросить – не Вас, но, быть может, при Вашем посредстве: до каких же пор писатели будут вести себя как куры – каждая покорно ждет, когда доедет очередь резать ее, и беспечно не мешает резать других?

Чего же стоит такая «общественность» и чему же могут научить народ такие писатели, зачем

они тогда и книги пишут? Неужели предстоящее, всем известное исключение Лидии Чуковской и Владимира Войновича пройдет беспрепятственно, без сопротивления (активного противодействия, а не пустых протестов вослед)? Если так, то, право же, достойная писательская общественность заслуживает презрения ничуть не меньшего, чем ее казенное руководство. Как-никак, а большинство-то – у нее.

Если с кем будете об этом толковать – можете ссылаться и на меня и это письмо показывать.

Жму руку,
А. Солженицын

Сарра Эммануиловна Бабёнышева, литературовед и критик, к которой было обращено это письмо (на самом деле – не к ней, конечно), была одним из тех его «порученцев», что безропотно – разумеется, не по службе, а по душе – выполняли каждое его распоряжение.

А в том, что это было именно распоряжение, не может быть ни малейших сомнений. Не просьба, не пожелание, не мнение, которое он просит довести до сведения собратьев по перу, а – Приказ Верховного Главнокомандующего. И именно такого приказа мы ждали от него тогда, в ноябре 1969 года.

В тот раз собрались у меня. Собрались в обычном нашем составе: Корниловы, Войновичи, Боря Балтер. Кажется, приехал из своего Беляева и Эмка (Наум Коржавин), хотя добираться до меня оттуда ему было не в пример труднее, чем жившим по соседству Войновичу, Корнилову и Балтеру.

«Выходить на площадь» никому из нас тогда не хотелось. И у каждого были на этот счет свои уважительные причины. У кого – обстоятельства домашние, не позволявшие решившемуся на это обрекать свою и без того трудно живущую семью на полное нищенство. Кто-то ссылался на более высокие творческие мотивы: он кончает и вот-вот завершит давно начатый роман. (Как в песне Булата: «Дайте дописать роман до последнего листочка»; не этой ли – или похожей – ситуацией было продиктовано это его умоляющее «Дайте!»?)

Всё это, конечно, ни в коей мере не означало, что мы не

хотим, не смеем, не собираемся протестовать.

Написать (или подписать) письмо, осуждающее исключение Солженицына и требующее, чтобы такое серьезное дело решалось не келейно и не начальством, а при активном участии всей писательской общественности, – это для всех нас тогда не составляло проблемы. Таких протестующих писем мы в то время понаписали и понаподписывали уже много. Одним больше, одним меньше… Эка важность!

Но демонстративно объявить о своем добровольном выходе из Союза писателей – это было совсем не то что сочинить или подписать какое-нибудь протестующее письмо. Это уже был бы поступок неизмеримо более серьезный, чреватый для тех, кто осмелился бы на такое пойти, куда более грозными и опасными последствиями.

Шум на том нашем сборище, где решался вопрос, будем или не будем мы «выходить на площадь», был большой.

Орали вразнобой, но все, в общем, одно и то же:

– Не стану я этого делать! Даже и не подумаю!

– А если он потребует?

– Кто?

– Ну он, Саня?

– Да кто он такой, чтобы требовать? Плевал я на него! У меня своя жизнь!

В этот хор голосов неожиданно внесла свою ноту моя жена, сообщив собравшимся, что у нее нет шубы и даже в самые сильные морозы она вынуждена выходить на улицу в легком демисезонном пальто.

В ответ на это заявление последовала реплика Корнилова:

– Бен, купи жене шубу! Ей не в чем выйти на площадь!

Все рассмеялись, и характер обсуждения из нервной, напряженно драматической сразу перешел в совсем другую, юмористическую тональность.

Тем дело и кончилось.

А вскоре из ставки верховного главнокомандующего пришел новый приказ: легенда меняется, выходить из Союза никому не надо, можно обойтись обычными протестами.

Всё это было – напоминаю – в 1969-м.

А создать свой журнал четыре мудреца замысливали в 1973-м, то есть четыре года спустя.

Много чего случилось в нашей жизни за эти четыре года.

Оба Володи к этому времени уже перешли свой Рубикон: открыто, без всяких псевдонимов стали печатать свои книги на Западе. Один из них (Войнович) был уже исключен из Союза писателей. Со дня на день должны были исключить и второго

Володю – Корнилова. И уже исключенному из партии Вике, которого до поры спасало от этой крайней меры его лауреатство, тоже недолго оставалось хранить свой писательский членский билет. Так что из всех четырех мудрецов я один еще нерешительно топтался на своем берегу того Рубикона, не решаясь ступить в воду. Разве только так, слегка замочил ноги, написав и отправив в секретариат протест по поводу исключения Войновича, но так и не решившись отдать этот свой протест иностранным корреспондентам, то есть сделать его достоянием гласности. И лишь сейчас, обсуждая возникшую вдруг нашу журнальную затею, я почувствовал, что уже вошел в тот Рубикон по колено, по пояс, по грудь и вот меня уже подняло волной и несет – все дальше и дальше в открытое море.

Отдать мое письмо в защиту Войновича иностранным корреспондентам мне – что греха таить! – мешал страх. А тут никакого страха уже не было. Скорее даже наоборот: было что-то вроде того, что Пушкин назвал упоением в бою.

Обсудив нашу затею в подробностях, каждый выбрал себе роль, тот раздел, ту рубрику будущего журнала, которую взялся вести. Предполагалось при этом, что каждому из нас предстоит обеспечивать свой раздел соответствующим материалом, вовлекая в эту нашу акцию всех, кто согласился бы принять в ней участие. Вика всё это препоручил нам, москвичам, сам же объявил, что уезжает домой, в Киев, где сразу же примется за дело – начнет рисовать обложку будущего нашего «Паруса». Похоже было, что во всей нашей затее больше всего его интересовала именно эта сторона дела. А может быть даже, и вовсе только она одна.

И вот не прошло и недели…

В тот памятный день я, как это было у нас заранее условлено, отправился к своему соавтору Стасику Рассадину сочинять очередную нашу радиопьесу «В стране литературных героев». Сочиняли мы ее, как всегда, с ленцой, охотно прерываясь на любые подворачивавшиеся нам хозяйственные или еще какие-нибудь отвлечения.

И вот Стасик включил свою «Спидолу» и стал ловить «вражеские голоса». Я к этому занятию склонности не имел: раздражала необходимость, преодолевая кагэбэшные заглушки, мучительно вылавливать из хаоса невнятных звуков золотые крупицы информации.

Но на этот раз сообщение прозвучало на удивление отчетливо и ясно.

Сейчас уж не помню, чей именно голос – «Свободной Европы», «Би-би-си», «Дойче велле» («Немецкой волны») или

«Голоса Америки» – сообщил нам, что в Киеве у известного советского писателя Виктора Некрасова органами государственной безопасности был произведен обыск, продолжавшийся сорок восемь часов, после чего писатель был вызван в соответствующее учреждение для объяснений. О дальнейшем развитии событий нам будет сообщаться по мере поступления.

И тут же раздался телефонный звонок.

Он был такой пронзительный и резкий, что было ясно: звонивший предельно чем-то взволнован. Наверно, тем, что мы только что услышали.

Так оно и было.

– Тебя, – сказал Стасик, передавая мне трубку.

Звонил, конечно, Корнилов.

Отношения со Стасиком у него были натянутые, и при других обстоятельствах он ни за что бы ему не позвонил. Но тут обстоятельства были чрезвычайные, и терпеть до вечера, когда я от Стасика вернусь домой, он был не в силах.

– Слышал? – спросил он.

– Да, – сказал я, краткостью и самим тоном ответа стараясь показать, что никаких оснований для паники не вижу и вообще не телефонный это разговор.

Он и сам понимал, что не телефонный. Но не удержался еще от одного вопроса. Тоже, впрочем, весьма краткого:

– Ну?..

– Ну что ж, – бодро сказал я, уверенный, что кто бы нас сейчас ни подслушивал, смысл моего ответа, понятный только нам с Корниловым, до него не дойдет. – Теперь все зависит от того, успел ли он нарисовать обложку.

– Ну ладно, – упавшим голосом сказал Корнилов и повесил трубку.

Обложку Вика, как видно, нарисовать не успел. А если бы и успел, вряд ли *органы* придали бы ей серьезное значение. Компрометирующих его материалов, изъятых по ходу того сорокавосьмичасового обыска, и без этой обложки хватало.

На том и кончилась история нашего так и не состоявшегося журнала.

После обыска Вику семь дней тягали на киевскую Лубянку, допрашивали. Он ходил туда как на работу, и каждый день они держали его там с утра до вечера. Когда от него наконец отстали (поди знай, надолго ли), он решил, что с него хватит, и, получив разрешение на выезд, покинул отечество, стал парижанином, эмигрантом.

Несколько лет спустя стал эмигрантом и Войнович.

Исключенный из Союза писателей Корнилов продолжал мыкаться на родине, мучительно переживая тяготы диссидентства.

А я всё топтался на своем берегу Рубикона, так и не отважившись перейти его.

Будь попрочнее старый таз,
Длиннее был бы мой рассказ.

Когда Вика уезжал и мы с ним прощались,

я спросил его, как он представляет себе свою будущую, тамошнюю, заграничную жизнь: что он там будет делать? На что жить?

Усмехнувшись, он ответил своей южной киевской скороговоркой:

– Командировочка… День отъезда, день приезда…

Это, конечно, была шутка. Но в шутке этой выразилась его беспечность, всегдашняя его неозабоченность материальной стороной жизни.

Эта сторона будущего парижского существования и в самом деле его не больно волновала.

Волновало и даже сильно его ушибло в этой драматической ситуации совсем другое.

Когда он объявил, что решил покинуть отечество и даже уже подал в соответствующие инстанции соответствующее заявление, ближайшие его друзья – Сима и Лиля Лунгины (в Москве ближе них у него никого не было, наезжая в столицу, он всегда жил у них, их московский дом был его домом) – объявили, что в этих новых обстоятельствах прежние их отношения будут невозможны. Не то чтобы они должны быть разорваны навсегда, но, во всяком случае, прерваны.

Это было для него тяжелым ударом.

Если даже Лунгины не постеснялись не только принять такое решение, но и открыто о нем объявить, так что уж говорить о других друзьях и знакомых Вики. Он не сомневался, что, случись кому-нибудь из них оказаться в Париже, ни у одного не хватит смелости не то что встретиться с ним, но даже позвонить по телефону.

Так оно всё и вышло, и это, как рассказывает в своей недавно вышедшей книге воспоминаний о нем его пасынок Виктор Кондырев (книга – в духе и стиле самого Виктора Платоновича – слегка по-хулигански называется «Всё на свете, кроме шила и гвоздя»), немало его угнетало.

Но случилось из этого правила одно исключение.

В середине – или даже в конце – 70-х приехали в Париж три знаменитых советских поэта, и был их вечер в каком-то большом зале. Они сидели на сцене: Константин Симонов, Евгений Евтушенко и Булат. И вдруг Булат что-то высмотрел в зале, встал и, к общему изумлению, соскочил с эстрады, подбежал – там

Виктор Платонович сидел, Некрасов, – и на глазах у всех с любимым своим Викой расцеловался.

Такие прорывы из несвободы в свободу у него бывали и раньше. А жесткими правилами поведения советского человека за границей он – в известных пределах, конечно, – пренебрегал постоянно. Встречался, с кем не полагалось встречаться. И в публичных выступлениях своих позволял себе откровенно говорить все, что думает.

Но после каждой такой поездки Булату приходилось отвечать на разные неприятные вопросы (в парткоме или тому же Ильину), оправдываться, писать объяснительные записки. («Как это все унизительно!»)

Однажды он рискнул захватить с собой и провезти через границу толстую пачку тамиздата. Привозить оттуда разные запретные книги (Набокова, например) ему случалось и раньше. Но – по одной, по две. А тут решился набить ими чуть ли не целый чемодан: авось пронесет! Не пронесло. На таможне чемодан распотрошили, книги изъяли, составили соответствующий акт.

Этот эпизод нашел свое отражение в документе, на который я наткнулся в начале 90-х.

В то время на страницах нашей печати стали появляться обрывки документов из приоткрывшихся тогда архивов КГБ. Один из них, попавшийся мне на глаза (в «Аргументах и фактах»), я сохранил (авось пригодится). И вот он пригодился – отыскался в хаосе разных моих вырезок и выписок, – и я подумал, что не лишним будет для наглядности приобщить его к этому моему рассказу.

...

В отношении профилактированного Московской писательской организацией по нашим материалам в связи с провозом идейно вредной литературы члена СП СССР Б. Окуджавы проведены мероприятия по его изучению в период пребывания в загранкомандировке в Италии. Изучение проводилось через возможность резидентуры и через агента «Александрова», выезжавшего

вместе с Б. Окуджавой в качестве сопровождающего. По нашей просьбе УКГБ БССР по Брестской области организован тщательный таможенный досмотр Б. О. Результаты указанных мероприятий учтены в дальнейшей проверке.

Серьезных последствий для Булата дело это не имело. Конечно, пришлось объясняться, доказывать, что книги эти ему необходимы для работы. Пожурив, объяснения приняли, не наказали, нового персонального дела не завели. Но книг не вернули. («Как это всё унизительно!»)

Мюнхенский эпизод (когда, даже не показавшись в гостинице, где ему был заказан номер, он поселился у Войновича и, никому не докладываясь, прожил у него целую неделю) от всех этих предыдущих его эскапад отличался радикально. И дело тут было не столько в неслыханной дерзости самого поступка, сколько в его внутренних мотивах.

Этим жестом Булат показал, что он *перешел Рубикон.*

И свидетельством этого уже окончательного его освобождения от всех запретов было то самое стихотворение, с которого я начал эти свои воспоминания. По самому его строю видно, как опьянен он этим новым для него вдруг обретенным сознанием полного своего раскрепощения, полной свободы.

Только этим можно объяснить некоторую загадочность последних, заключающих его строк:

Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,
сидели мы рядком, и красные бокалы
у каждого из нас в изогнутой руке,
как будто бы пожар – в прекрасном далеке.
И на пиру на том, на празднестве тягучем,
я, видно, был один, как рекрут, не обучен,
как будто бы не сам метался в том огне,
как будто тот огонь был безопасен мне.

Но сперва надо ответить на самый простой вопрос. Кто это – «мы»? И где эти «мы» сидели «рядком»? И когда это было? И было ли? И что это за «красные бокалы»? Отражает эта вставшая в воображении поэта картина какой-то реальный, живой эпизод из его прошлой жизни или это некий условный знак, символ?

«Красные бокалы» —

так назвал наш друг Борис Биргер одно из своих полотен – большой групповой портрет, на котором и в самом деле рядком с красными бокалами в руках сидят Олег Чухонцев, Володя Войнович, Лева Копелев, Булат, Юлий Даниэль, я. А над нами возвышаются (они не сидят, а стоят) Фазиль Искандер, Валя Непомнящий, Эдисон Денисов.

Булат – в центре этой картины. И казалось бы, трудно, почти невозможно понять, почему, вспоминая ее, он ощущает себя среди тех, кто его там окружает, чуть ли не чужим. Во всяком случае – не совсем полноправным членом их тесной компании («я, видно, был один, как рекрут, не обучен»).

Это, впрочем, понять как раз несложно.

«Как рекрут, не обучен» – это воспоминание о той былой своей несвободе, особенно остро им ощущаемой рядом с теми, кто уже раньше перешел свой Рубикон. Ведь многие из тех, кого Биргер собрал на этом своем групповом портрете, давно уже были не рекрутами, а обстрелянными в боях, прошедшими огонь и воду ветеранами.

Юлий Даниэль к тому времени уже отбыл свой тюремный (лагерный) срок.

Единоборство Войновича с Софьей Власьевной приближалось к развязке, и совсем скоро он вынужден будет принять ее ультиматум (на Запад – или на Восток) и стать эмигрантом.

В том же году отправится в эмиграцию и Копелев.

Для него, как и для Войновича, эмиграция была последним, завершающим этапом многолетнего – и тоже открытого – противостояния советской политической системе (притом что сам он считал себя – и действительно был – ее кровным сыном).

А Фазиль перешел свой Рубикон совсем недавно – в том самом 1978-м, когда Биргер искал (выбирал) персонажей (художники в этом случае пользуются другим словом – «модель») создававшегося им тогда группового портрета «Красные бокалы».

Этим его Рубиконом был знаменитый рукописный альманах «МетрОполь», появление которого стало поводом для политического скандала, напомнившего об отгремевших в иные времена «деле Пастернака» и «деле Синявского и Даниэля». По шкале Рихтера это землетрясение, наверно, не достигло разрушительной силы тех, предыдущих, но по силе давления на его участников к ним приближалось.

О том, как возник замысел этого альманаха,

в новые времена, когда все это стало уже историей, один из его закопёрщиков рассказывал так:

...

В декабре 1977 года, когда я снимал квартиру напротив Ваганьковского кладбища и каждый день в мои окна неслась похоронная музыка, мне пришла в голову веселая мысль устроить, по примеру московских художников, отвоевавших себе к тому времени хотя бы тень независимости, «бульдозерную» выставку литературы, объединив вокруг самодельного альманаха и признанных, и молодых порядочных литераторов. Я без труда заразил идеей своего старшего прославленного друга Василия Аксёнова (без авторитета которого ничего бы не вышло), к делу были привлечены Андрей Битов и мой сверстник Евгений Попов (Фазиль Искандер подключился позже), и оно закрутилось… Аксёнов сразу принял идею издания: это будет альманах «отверженной литературы», который издадим здесь.

(«МетрОполь». М., 1991)

Примерно так оно, наверно, и было. Но для меня – да и для всех, кто узнал об этом альманахе, когда он существовал еще только в замысле, – главным закоперщиком, лидером, вождем, душой всей этой затеи был, конечно, Аксёнов.

Потом, когда дело приняло крутой оборот и Вася в открытую объявил, что собирается уехать, стали говорить, что всю эту затею

он задумал и осуществил нарочно, «под отъезд», чтобы явиться на Западе не «широко известным в узких кругах» писателем-одиночкой, а в ореоле грандиозного политического скандала, в роли вождя целого литературного направления.

Затевая «МетрОполь», Вася, конечно, уже понимал, что, скорее всего, – чуть раньше или чуть позже – из страны ему придется уехать. Но не исключал и даже надеялся (на всякого мудреца довольно простоты), что благодаря альманаху (как художникам после «бульдозерной» выставки) писателям и впрямь удастся, как выразился Ерофеев, отвоевать себе хоть тень независимости. Глядишь, начальство подумает-подумает, да и решит, что целесообразнее всё же издать этот самодельный альманах, в котором ведь нет никакой политической крамолы: советская власть от этого не рухнет, а в глазах всего передового и прогрессивного человечества даже выиграет.

А о том, что никакой политической крамолы в альманахе не предполагается, создателями его было объявлено сразу.

В предисловии к альманаху (его написал Аксёнов) это было сформулировано так:

…

Кому-то может показаться, что альманах «МетрОполь» возник на фоне зубной боли. Это не так…

Занимаясь литературой, на том и стоим: нет для нас дела более веселого и здорового, чем сочинение и показ сочиненного…

Однако почему же возникла именно такая форма? Вопрос этот закономерен в устах человека, не вполне знакомого с некоторыми особенностями нашей культурной жизни. Не будет излишней дерзостью сказать, что жизнь сия страдает чем-то вроде хронической хворобы, которую можно определить то ли как «неприязнь к непохожести», то ли просто как «боязнь литературы»… Внекомплектная литература обречена порой на многолетние скитания и

бездомность. Слепой лишь не заметит, что такой литературы становится с каждым годом все больше и больше, что она уже образует как бы целый заповедный пласт отечественной словесности. (Наш альманах состоит главным образом из рукописей, хорошо знакомых редакциям.)

Мечта бездомного – крыша над головой; отсюда и «МетрОполь», столичный шалаш над лучшим в мире метрополитеном.

(МетрОполь. М., 1991)

Тон этой декларации – дерзкий, задиристый. Но смысл ее целиком сводится к реплике одного персонажа булгаковского «Театрального романа»: «Мы против властей не бунтуем».

Прямо и ясно объявлено, что если против кого и бунтуют создатели альманаха, так только против закоснелых нравов редакций литературных журналов, отвергающих всё непохожее на устаревший литературный канон, от приверженности которому они не способны освободиться.

Это была теория, подтвержденная тоже сразу заявленным предупреждением, что писателей-диссидентов просят не беспокоиться: их «метрОпольцы» в свою компанию не берут.

Большую часть известных тогда писателей-диссидентов это заявление никак не задело, поскольку у них и в мыслях не было участвовать в аксёновском альманахе. Но кого-то из них обидело и даже оскорбило. Войнович, например, был так этим уязвлен, что даже совсем недавно, уже после Васиной смерти, в своих коротких воспоминаниях о нем вспомнил про эту давнюю свою обиду, не удержался, не смог о ней умолчать:

…

В конце шестидесятых годов с ареста Синявского и Даниэля начались события, неизбежно приведшие нас в диссидентство. Васиным Рубиконом оказался альманах «МетрОполь»… Тут между нами пробежала жирная кошка. Мне

в альманахе места не нашлось, поскольку его создатели, надеясь обмануть советскую власть своей мнимой лояльностью, никого из литераторов, исключенных из Союза писателей и числившихся в диссидентах, в свою компанию не пригласили. А диссидентами были Лидия Чуковская, Лев Копелев, Владимир Корнилов, Георгий Владимов и я. Они, включив в число авторов альманаха тогда практически не печатавшихся Высоцкого, Сапгира, Горенштейна и прочих, считали свою затею смелой, а я ее счел конформистской, что и высказал одному из метропольцев. Сейчас те наши разногласия, может быть, выглядят несерьезно, но тогда многое воспринималось болезненно.

(Владимир Войнович. Нас объединяли возраст и общность судьбы // Октябрь. 2012. № 8)

В тогдашних наших разговорах Володя не раз прямо называл отказ метрОпольцев от сотрудничества с писателями-диссидентами предательством. Определение это можно было бы счесть в этом случае слишком резким и несправедливым, если бы за этим первым «предательством» вскоре не последовало второе, а затем и третье.

Написанное Аксёновым предисловие к альманаху

открывалось такой гордой декларацией:

...

Альманах «МетрОполь» представляет всех авторов в равной степени. Все авторы представляют альманах в равной степени. Альманах «МетрОполь» выпущен в виде рукописи. Может быть издан типографским способом только в данном составе. Никакие добавления и купюры не разрешаются.

(МетрОполь. М., 1991)

Провозгласив этот д'артаньяновский девиз («Один за всех – все за одного!») главной, основополагающей, не поддающейся никаким изменениям и коррективам установкой, метропольцы тут же сами ее и нарушили.

В первоначальном перечне авторов альманаха упоминался Юз Алешковский. Он был представлен там тремя своими песнями: «Лесбийская», «Окурочек» и «Личное свидание». Но по своим обстоятельствам Юз решил покинуть отечество. Подал соответствующее заявление (так полагалось) о выходе из Союза писателей и тем самым сразу перешел в разряд «диссидентов». Ну и метрОпольцы, конечно, сразу же – легко и просто – его из своих рядов вычеркнули.

Это – второе – их предательство (предательство по отношению к ими же самими провозглашенному принципу) на худой конец тоже можно было счесть не больно существенным. Но о третьем их предательстве этого уже не скажешь. И для тех, кто поневоле вынужден был на него пойти, оно было весьма болезненным.

Составителями альманаха (то есть его редколлегией) были объявлены пятеро: Василий Аксёнов, Андрей Битов, Фазиль Искандер, Евгений Попов и Виктор Ерофеев.

Первые трое давно уже были почтенными членами Союза писателей, и исключение их из этой корпорации было бы уж

слишком большим скандалом. А Попов с Ерофеевым были приняты в Союз совсем недавно. Их членство только что было утверждено секретариатом Московской писательской организации, за которым должно было последовать утверждение еще одной, последней инстанции – секретариата Союза писателей РСФСР. Такие утверждения штамповались автоматически: в сущности, это была всего лишь формальность. Но в сложившихся обстоятельствах формальность перестала быть формальностью: у начальства появилась возможность исключить двух молодых писателей из Союза, не идя на скандал исключения, а просто – *не утвердив* решение Московского секретариата, то есть задержав, а то и приостановив окончательное оформление их членства.

Так оно потом и случилось. Но, едва впереди замаячила перспектива такого простого решения, трое старших из пятерых составителей (Аксёнов, Битов и Искандер) заявили, что, если членство их младших товарищей секретариат Союза писателей не утвердит, они тоже немедленно – добровольно, сами – покинут эту организацию.

Делая это заявление, они были уверены, что на такой большой скандал начальство не решится. Но оно решилось, и в результате выполнил это обещание только один из них – Аксёнов: для него это никакой проблемы не составляло, он в то время уже твердо знал, что так ли, сяк ли, а из отечества ему придется уехать. Что же касается Искандера и Битова, то для них исполнение этого данного ими обещания означало гражданскую смерть.

Фазиль насчет того, что свое обещание выйти из Союза, если их младших товарищей оттуда исключат, они с Битовым выполнять не станут, высказался так:

– А что нам остается? Взять оружие и уйти в горы?

Никаких гор, куда он мог бы уйти, в Москве и ее окрестностях, как мы знаем, не было, и никакого оружия у него не было тоже, так что перспектива стать абреком в этом случае исключалась. Так вот и вышло, что они с Битовым не сдержали данного ими слова. Не знаю, как для Битова, а для Фазиля с его горским кодексом чести такое решение было мучительным и стоило ему дорого. Но это уже другая история, к которой мне, может быть, еще придется вернуться. А пока – возвращаюсь к хронологической последовательности своего рассказа.

я предложение участвовать в «МетрОполе» получил.

Сделано, правда, оно бы мимоходом и почти случайно.

Как-то поздним вечером я вышел из дому выгулять своего любимого Бульку и увидал выходившего из соседнего подъезда Аксёнова.

В том подъезде еще недавно жила его мама, Евгения Семеновна. Но год назад (в 1977-м) она умерла, маленькая однокомнатная ее квартира пустовала, и я знал, что Вася поселил в ней своего дружка Женю Попова.

– Что так поздно? – спросил я. – Выпивали, что ли?

– Какое там выпивали, – ответил Вася. – Альманах клеили.

Об альманахе краем уха я уже слышал, и удивило меня в этой его фразе только одно слово: «клеили». Что значит – клеили? Что там надо клеить?

Вася объяснил, что формат альманаха задуман необычный, на каждой его странице будет размещено четыре стандартных, и вот они сидят и наклеивают уже распечатанные машинописные страницы на большие листы ватмана.

– А что потом? – спросил я, не очень ясно представляя, как они собираются распространять книжищи такого гигантского, неуклюжего, неудобного для чтения размера.

Вася объяснил, что, расклеив десять-двенадцать экземпляров, они устроят *вернисаж* , как это принято у художников. Где? Ну, в каком-нибудь кафе. Пару экземпляров пошлют в официальные советские инстанции – Госкомиздат, ВААП.

– А один, – сказал он, – Карлу.

С Карлом Проффером и его очаровательной женой Эллендеей я в то время был уже хорошо знаком – в каждый их приезд в Москву встречался с ними у Фазиля или у Войновича.

– Да, кстати, – сказал Вася. – А у тебя не найдется чего-нибудь для нашего альманаха? Наверняка ведь есть что-то неопубликованное.

– Так сразу не соображу, – сказал я. – Подумаю.

На самом деле неопубликованного у меня в то время было много. Томилась в ящике письменного стола рукопись давно законченного «Случая Мандельштама». Близок к окончанию был разросшийся до невероятных размеров «Случай Зощенко». Из той и другой книги наверняка можно было выбрать какой-нибудь отрывок для «МетрОполя». Трудно, правда, было бы выбрать такой, который невозможно было бы обвинить в антисоветчине. Но если бы даже составителей альманаха это не смутило,

смущало меня.

Я не сомневался, что ни одному из авторов «МетрОполя» их затея с рук не сойдет. Но я к тому времени давно уже готов был «перейти Рубикон», так что смущало меня не это.

Вспомнилось любимое присловье Виктора Борисовича Шкловского. «Если есть детей, – часто повторял он, цитируя, кажется, Свифта, – так уж лучше больших, а не маленьких». Применительно к данной ситуации это означало, что если уж платить за переход Рубикона (а плата – это я понимал – будет немалая), так лучше за целую книгу, а не за какой-то там маловразумительный отрывок.

Примерно так я думал и чувствовал, когда сказал Васе, что подумаю. На самом деле особенно раздумывать над этой проблемой я не собирался, сразу решив, что участвовать в Васином альманахе не буду.

А окончательно я сформулировал для себя свое отношение к этой затее в состоявшемся вскоре разговоре с Фазилем.

В приведенной мною коротенькой цитате

из воспоминания Виктора Ерофеева есть одна маленькая, но весьма существенная неточность.

«К делу были привлечены, – вспоминает он, – Андрей Битов и мой сверстник Евгений Попов (Фазиль Искандер подключился позже)».

«Маленькая неточность» этой формулировки заключается в том, что на самом деле Фазиль не *подключился* «к этому делу», а *его подключили* .

Можно даже сказать – изнасиловали.

Мы с ним тогда жили в одном подъезде – моя квартира была на седьмом этаже, а его (точно такая же) – на восьмом, и мы бегали друг к другу по нескольку раз на дню. А нередко и вечера коротали вместе, то за шахматами, то за чаем (случалось, что чаепитие сочеталось с дегустацией и других напитков, покрепче). И вот в один из таких вечеров Фазиль рассказал мне, что заглянули к нему как-то на днях Андрей Битов с Васей Аксёновым и предложили стать одним из составителей их будущего альманаха. То есть не то чтобы участвовать в работе над ним – нет, об этом они его не просили, – а всего лишь о том, чтобы он разрешил им в перечне составителей (их тогда было четверо, Аксёнов, Битов, Ерофеев и Попов) поставить и его подпись.

– И ты согласился? – ахнул я.

– Ну да, – слегка смутившись, ответил он. И объяснил: – Вася просил, чтобы я их поддержал. Неудобно было отказаться.

– А ты понимаешь, чем тебе это грозит? – спросил я.

Нет, он не понимал.

Ведь он к тому времени уже перешел Рубикон, отослал Карлу свой роман «Сандро из Чегема», и эта главная его книга, не имевшая никаких шансов появиться на свет ни в одном из советских изданий, вот-вот должна была выйти у Карла и Эллендеи в их «Ардисе». И он был уверен, что в сравнении с этой главной его акцией, которая круто повернет всю его жизнь, участие в аксёновском альманахе – просто детские игрушки.

Я был уверен, что всё будет ровно наоборот. Что участие его в «МетрОполе», да еще в роли одного из зачинщиков этого коллективного бунта, начальством будет рассматриваться как главное его преступление. Что факт публикации «Сандро» в «Ардисе», конечно, тоже вызвал бы неудовольствие. Но в конце концов как-нибудь это бы рассосалось. А тут еще неизвестно, как

обойдется и чем все кончится.

– Э, – отмахнулся Фазиль, – семь бед, один ответ.

Я изо всех сил пытался втолковать ему, что его беспечное согласие объявить себя одним из закоперщиков коллективного бунта гораздо для него опаснее, чем решение опубликовать на Западе своего «Сандро», но он решительно этого не понимал и в это не верил.

– Ну как же ты не понимаешь! – горячился я. – В твоем романе нет никакого криминала. И ты на голубом глазу можешь твердить: «Да, сам отослал его в “Ардис”. Это главный мой труд, главное дело моей жизни, и если не получается напечатать его здесь, пусть появится хоть там». А тут – групповуха. Ты думаешь, что в сравнении с твоим «Сандро» этот их альманах всё равно что муха в сравнении со слоном. Но поверь мне, из этой мухи они слепят такого слона, что мало не покажется.

что так оно всё и будет. Но масштаб разразившего скандала далеко превзошел самые мрачные мои ожидания.

Началось с того, что всем участникам «МетрОполя», не только пятерым составителям, а всем до единого, были вручены – и не как-нибудь, а присланы с нарочным – повестки с требованием в такой-то день, такой-то час предстать перед всем синклитом секретариата Московской организации Союза писателей. Стиль этих повесток (свою слегка обескураженный Фазиль мне показал) был совершенно тот же, что у той, которую я однажды получил от следователя Московской прокуратуры: «… предлагается явиться…», «…в случае неявки…». Разве только не сообщалось (как в моей, прокурорской), что в случае неявки приглашаемый будет «доставлен приводом».

Рассказывая мне о том, как проходило заседание секретариата, Фазиль с какой-то брезгливой гримасой сказал:

– Я совсем забыл, какая всё это мерзость…

А между прочим, мог бы и помнить. Ведь нечто подобное однажды уже было в его жизни.

После того как он подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля, а потом в поддержку Солженицына, его, как и всех нас, подписантов, вот так же вызывали на собеседование с кем-нибудь из секретарей или членов парткома. Тогда, правда, всё происходило совсем в другой, куда более толерантной форме. Нас мягко журили, увещевали, предлагали осознать всю недопустимость своего поведения. Ну а тех, кто осознавать не хотел, отлучали от печатного станка, а значит, и от кормушки.

В числе отлученных был тогда и Фазиль.

До этого его литературная судьба складывалась благополучно, и потому эту первую свою опалу он воспринял гораздо болезненнее, чем все мы. Даже написал по этому поводу возмущенное письмо Брежневу.

Когда он прочел мне его, я прямо ахнул. Запомнилась мне из него только одна фраза, но и ее одной более чем достаточно, чтобы представить себе, каков был тон и стиль его послания.

«Я взбешен!» – писал Фазиль генеральному секретарю ЦК.

– Ты что, спятил? – сказал я. – Будь я Брежнев, прочитав такое письмо, я бы знаешь как на это отреагировал? – и подражая неповторимой брежневской артикуляции («сиськи-масиськи»), прошамкал: «Если он сбесился, наденьте на него смирительную рубашку!»

– Да, – мрачно сказал Фазиль. – Ты прав.

Скомкал листок со своим замечательным текстом и сунул в карман.

Не помню, предпринял ли он тогда попытку сочинить новое, другое письмо в тот же адрес или выкинул из головы самую эту идею. Но постепенно всё обошлось, и довольно скоро великая ядерная держава вернула Фазилю свое благорасположение: не сразу, медленно, со скрипом, но его опять стали печатать.

На этот раз, судя по тому, какой крутой оборот дело приняло с самого начала, так легко ему было не отделаться.

Первое, что поразило Фазиля на том судилище, было количество собравшихся секретарей. Он уверял, что их было не меньше пятидесяти.

Я не поверил. Решил, что ему с перепугу так показалось. Да просто не было такого количества секретарей в Московском отделении Союза писателей. Но Фазилю это не померещилось и в глазах у него не двоилось. Как потом выяснилось, это было совместное заседание секретариата и парткома.

Ничего похожего раньше нам наблюдать не приходилось.

Но ведь и ситуация была необычная: разбираться-то надо было не с одним или двумя бунтарями, как это было, когда из союза исключали Войновича, Корнилова и Лидию Корнеевну Чуковскую. На этот раз подсудимых было более чем два десятка.

Когда все они, рассказывал Фазиль, гурьбой ввалились в зал заседания, там яблоку негде было упасть. Но мизансцена определилась сразу. За непомерно длинным столом расселись все собравшиеся, и как-то само собой вышло, что подсудимые оказались по одну сторону стола, а судьи – напротив них, по другую.

И вот тут-то и случился тот эпизод, ради которого я, собственно, и затеял весь этот свой уже порядком затянувшийся рассказ.

Накануне грозного судилища

Вася Аксёнов позвонил Булату и попросил его пойти туда вместе с ними. Несмотря на прокурорский тон полученных ими повесток, он все-таки предполагал, что это будет *собеседование* , то есть что им, вызванным на ковер, тоже дадут высказаться. И решил, что нелишним будет привести с собой некую «группу поддержки». Но то ли сколотить такую группу ему не удалось, то ли он решил, что для первого раза хватит и одного Булата, вышло так, что из тех, на кого в этой ситуации он мог рассчитывать, к ним присоединился только он, Булат.

Когда все расселись вдоль этого длинного стола – подсудимые и судьи друг против друга, – как-то так само собой получилось, что Булат оказался не на той стороне, где расположились те, кого он пришел защищать, а на той, где расселись судьи.

Вышло это, конечно, случайно. То ли он не сообразил, замешкался, то ли тут сработал инстинкт, какой-то сигнал подсознания, но, вопреки ожиданиям друзей и собственным намерениям, он оказался на стороне их врагов.

Из рассказа Фазиля я так и не понял, удалось ли Булату сказать хоть несколько слов в защиту составителей и авторов альманаха. Боюсь, что не удалось. Да и что он мог сказать в ответ на такие истерические выкрики сидящих рядом с ним участников «обсуждения»:

– Эстетизация уголовщины!.. Пропагандистский суп, сваренный из замызганного топора!.. Мусор, а не литература!.. Дешевая политическая спекуляция!.. Безнравственная пачкотня!..

И как окончательный приговор – придуманное заправилой этого судилища Феликсом Кузнецовым и очень им всем понравившееся (они потом в один голос его повторяли) определение «порнография духа».

Если даже Булату и удалось в общий ропот этой оголтелой травли вставить хоть одно человеческое словечко, немудрено, что оно не было услышано ни теми, кто сидел с ним рядом, ни теми, кого он пришел защищать. Вот и осталась в памяти Фазиля только эта, больно его царапнувшая мизансцена.

Его она только царапнула, а Васю Аксёнова ударила в самое сердце. И он долго еще потом лелеял эту свою обиду.

Чувство некоторой неловкости и даже вины, я думаю, какое-то время не оставляло и Булата.

Потом все это, конечно, рассосалось, забылось и никакого глубокого отпечатка на отношениях Васи и Булата не оставило.

Но, как принято говорить в таких случаях, осадок остался.

Что-то похожее вышло однажды с Булатом и у меня тоже.

В первый год нашего знакомства

мы с Булатом не были особенно близки. Сблизились за те три года, что жили рядом (в летние месяцы) на дачах «Литгазеты» в Шереметьевке. Дачи эти предоставлялись штатным сотрудниками газеты, каковыми мы оба тогда были. Предоставлялись не бесплатно, конечно, но плата была чисто символической.

Казенная эта дача пришлась нам по душе. И не только потому, что она обходилась не в пример дешевле дач, нанимаемых у частников. Здесь – в Шереметьевке, в этом поселке «Литгазеты» – жить нам было куда веселее, чем на тех, которые мы снимали, как водится, «по Казанке», то есть по казанской железнодорожной ветке, считавшейся самой «сухой» (сосновые леса), а потому самой здоровой «для ребенка».

Да и сама эта литгазетская дача нравилась нам гораздо больше тех, в которых мы, бывало, куковали в Кратове или на Сорок втором километре.

Помню, заглянул к нам туда – то ли в Кратово, то ли на Сорок второй – мой дядька (брат отца), приехавший ненадолго в Москву из Запорожья. Чуть ли не весь день просидел он на нашей террасе, не снимая пальто. За стеклами моросил не прекращавшийся все лето гнусный московский дождичек. И, кутаясь в свое пальто, дядька время от времени иронически хмыкал:

– И вот за это вы им еще и платите?

По тону этого вопроса и выражению его лица было совершенно ясно, что сам он не только не заплатил бы за все эти прелести ни гроша, но и не согласился бы наслаждаться ими, даже если ему за это еще и приплатили.

Казенная шереметьевская дача была – по тем временам и тогдашним нашим представлениям – вполне комфортабельная. Это был небольшой трехкомнатный коттедж с нормальной кухней, с паровым отоплением. (В подвале был котел, который я приспособился – и даже полюбил – топить. Топился он – вперемежку – дровами и углем: дрова шли на растопку, а потом засыпался уголь.) Весь этот комфорт давал нам возможность затягивать дачный сезон до самой глубокой осени, что было для нас (главным образом для моей жены, влюбленной в природу и свежий воздух) дополнительным преимуществом.

Доставалась нам – мне и моему семейству, – конечно, не вся дача, а только ее треть. Вся дача целиком согласно табели о рангах могла принадлежать только члену редколлегии. Мне же – по моему скромному положению в газете – предоставлялась

только одна комната (правда, самая большая из трех) и примыкающая к ней застекленная терраса. В комнате располагались бабушки – моя мама и теща – с внуком (нашим семилетним сыном), а на террасе – мы с женой.

Было, конечно, тесно. А на террасе порой – ночами – и зверски холодно.

Но нам было хорошо.

Сразу сбилась там у нас своя компания. Любители волейбола чуть ли не дотемна пропадали на волейбольной площадке. Оттуда постоянно доносились дикие крики и вопли. Играли со страстью. Темпераментный Серго Ломинадзе, пропустив мяч, в отчаянии кидался на землю и яростно грыз траву. (Я в волейбол не играл: во-первых, был запредельно плохим игроком, а во-вторых, не люблю командных игр, где каждым своим промахом сажаешь в галошу не только себя, но и всю свою команду. Поэтому я волейболу предпочитал бадминтон.)

Грибники ходили в лес – за грибами, за ягодами. И все мы – по утрам – на речку, купаться.

Душой компании, естественно, стал Булат.

Вообще-то он мало был приспособлен для этой роли. Коллективных игр (да и вообще коллектива) не любил. Был нелюдим, даже замкнут. Но стоило ему взять в руки гитару…

Первые, самые ранние свои песни Булат спел нам здесь, в Шереметьевке. И все мы (а были мы очень и очень разные) сразу и навсегда в них влюбились.

Оказался, правда, там, среди нас, один меломан, попробовавший было сказать, что мелодии Булатовых песен довольно бедны, да и вообще гитара – это, в сущности, низкий жанр в сравнении с Моцартом или Гайдном. Но встречено это его заявление было таким бурным негодованием, что ему тут же пришлось дать задний ход. А другой любитель классической музыки, сразу же ставший одним из самых преданных Булатовых поклонников, совсем уничтожил в наших глазах этого меломана, высказавшись о нем так:

– Он думает, что у него в груди рояль, а у него там – стиральная машина.

Вот так мы там и жили: утром – река, днем – волейбол (для меня – бадминтон), а вечерами – песни Булата.

Когда пришлось мне распроститься с «Литературной газетой», необходимость этого расставания уже не больно меня тяготила: отношения мои с газетой к тому времени полностью себя исчерпали. А вот с дачей расставаться было жаль. И не в последнюю очередь потому, что главной краской, можно даже сказать, главной радостью этого нашего дачного,

шереметьевского бытия было постоянное общение с Булатом и его женой Галей, с которой мы тогда тоже уже подружились.

Этому семейному нашему сближению немало способствовало то обстоятельство, что сын Булата и Гали Игорь (Игоруша, как они его называли) был сверстником нашего. Строго говоря, не совсем сверстником: Игорь был на год старше. Но материнские заботы, связанные с проблемой воспитания и «держания в руках» непослушных озорных мальчишек, у Булатовой Гали и моей Славы были общие. А с Булатом меня сроднило еще то, что ни он, ни я не имели ни склонности, ни желания в этом воспитательном процессе участвовать. (Когда я однажды попытался в этот процесс вмешаться, мой малолетний сын сразу поставил меня на место, строго объявив: «Моим воспитанием занимается мама».)

Краем уха я слышал, что между Булатом и Галей уже пробежала пара-другая черных кошек, что он от Гали будто бы даже уже уходил и вот решил вернуться.

Со стороны в их отношениях ничего такого заметно не было: хорошая, дружная семья. Хотя – по первому впечатлению – они совсем не подходили друг другу. Булат был тоненький, хрупкий («как юный князь, изящен»). Галя – крупная, большая и, что называется, в теле. Булат – типичный кавказец (смуглый, черная с заметной курчавостью шевелюра, усики). Галя – белокожая, светловолосая и по типу лица – ярко выраженная славянка (черты лица скорее польского, чем русского типа).

И характеры за этой их внешностью угадывались разные: Булат выглядел всегда немного мрачноватым, казался нелюдимым, замкнутым (отчасти не только казался, но и был). А у Гали характер был легкий, она была веселая, общительная. И – то, что называется «широкая русская натура».

Это бы еще ладно. Может быть, это даже и к лучшему: говорят, что разность характеров более прочная предпосылка для крепкого брака, чем сходство. Но про Булата и Галю нам со Славой сразу подумалось, что они *не пара* , потому что Булат – это было очевидно – человек сложный, а Галя – не то чтобы простушка, но – не такой тонкой душевной организации, как он.

Что могло их толкнуть друг к другу? Кроме, разумеется, того главного, что толкает друг к другу молодого мужчину и молодую женщину.

Но вскоре я узнал, что именно Галя пробудила в нем желание взять в руки гитару и запеть. Именно она научила его первым, самым простым гитарным аккордам. И именно от нее он перенял весь свой первоначальный репертуар – первые, еще «добулатовские» свои песни.

Старый городской романс:

Город Николаев, фарфоровый завод.
Там живет мальчишечка – двадцать первый год…

С постоянным припевом:

С вами, мальчишки, с вами пропадешь,
С вами, негодяями, до каторги дойдешь.

Частушки, которые я никогда и ни от кого больше не слышал:

Ты куда меня ведешь, такую молодую?
На ту сторону реки, иди не разговаривай…

И еще такая:

Вот и кончилась война.
Девочки, победа.
Девочки, держитеся
За старого деда.

И наконец – вот эта, самая тогда его любимая:

Течет речка да по песочку,
бережочек моет.
Молодой жульман, молодой жульман
Начальничка молит:
– Ты, начальничек, ключик-чайничек,
отпусти на волю,
Видно, ссучилась, видно, скурвилась
На свободе дроля.
– Отпустил бы тебя на волю,
Да воровать ты будешь.
Ты напейся воды холодной,
Про любовь забудешь.
Пил я воду, пил холодную,
Пил – не напивался.
Любил жулик да комсомолочку,

С нею наслаждался.
Течет речка да по песочку,
моет золотишко.
Молодой жульман, молодой жульман
Получает вышку.
Гроб несут (да), коня ведут (да),
Конь головку клонит,
Молодая (да) комсомолочка
Жулика хоронит.

Не могу тут удержаться

от небольшого литературоведческого отступления. Где-то в начале 60-х Евгений Евтушенко с высот своей революционной гражданственности вздохнул – с горечью и укоризной:

Интеллигенция поет блатные песни.
Она поет не песни Красной Пресни!

На крылатые эти строки тотчас откликнулся ироническим перифразом Наум Коржавин:

Интеллигенция поет блатные песни:
Вот результаты песен Красной Пресни.

Смысл этого саркастического отклика был в том, что интеллигенты, распевавшие некогда песни Красной Пресни, получили за это в награду сталинские лагеря, где им пришлось делить нары с блатарями и заимствовать у них их песенный репертуар. За что, дескать, боролись, на то и напоролись.

В таком понимании природы этого явления есть немалый резон. Однако тяга интеллигентов к блатному фольклору этим объяснением не исчерпывается. Интерес и даже влечение к блатной песне у российских интеллигентов возникли задолго до наступления эпохи раннего реабилитанса. И влечение это было не только потребительским, но и сугубо творческим: интеллигенция не только увлеченно пела блатные песни, но и *сочиняла* их.

В конце 40-х или начале 50-х молодой ленинградский литературовед сочинил песню:

Стою себе на месте,
Держуся за карман,
И вдруг ко мне подходит
Незнакомый мне граждан…
А он говорит: «В Марселе
Такие кабаки,
Такие там ликеры,
Такие коньяки!
Там девочки танцуют голые,

Там дамы в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак…»

Песня сразу пошла в самиздат, влилась в «интеллигентский фольклор», а отдельные ее словесные обороты («советского завода план», «с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде») прочно вошли в состав, в тезаурус языка и до сих пор живут в нем. А ведь это все было еще до наступления «эпохи магнитофона», во всяком случае, задолго до ее расцвета и полного торжества.

Но имитацией блатной песни дело не ограничивалось. Тяга интеллигентов к блатной песне принимала и другие, более сложные и изощренные формы. Достаточно вспомнить, что один из самых известных наших писателей-диссидентов, Андрей Синявский, не только свои романы, рассказы и повести, но даже и ученые литературоведческие труды подписывал именем персонажа, по сравнению с которым даже сам знаменитый Ванька Каин может показаться чуть ли не образцом благопристойности:

Абрашка Терц – карманник всем известный,
А Сонька-блядь известна по Москве;
Абрашка Терц все рыщет по карманам,
А Сонька-блядь хлопочет о себе…
На Молдаванке музыка играет,
А Сонька в доску пьяная лежит,
Абрашка Терц ей водки подливает,
А сам такую речь ей говорит:
«Зануда Сонька, что ты задаешься?
Подлец я буду, я тебя узнал…»

Что же побудило его взять себе такой диковинный псевдоним? Неужто простое ерничество? Традиционное для людей богемы стремление к эпатажу?

Нет, тут были более глубокие и тайные причины. Раньше мы могли о них лишь догадываться. Но сравнительно недавно они перестали быть тайной: Андрей Синявский сам сказал о них, и сказал прекрасно, с мучительной, пронзающей душу художественной силой:

Пьяный пристает. За рублем.

– Но я же русский человек?!

Клянется и в рот и в нос, что он русский. Сунешь ему рупь – отвяжись. А он свое:

– Я – русский?! Я русским языком тебе говорю?..

Окромя «русского», ничего за душой. Он мать и отца не помнит. Имя забыл. Жену и детей рассеял. Он совесть пропил, в Бога не верит и не чует под ногами земли, по которой ходит. Только повторяет угрюмо, заученно, как бы сомневаясь или надеясь на что-то: русский он все еще или не русский?

Блатная песня. Национальная, на вздыбленной российской равнине ставшая блатной. То есть потерявшей, кажется, все координаты: чести, совести, семьи, религии… Но глубже других современных песен помнит она о себе, что она – русская. Как тот пьяный.

Не следует забывать, что взгляд вора, уже в силу профессиональных навыков и талантов, обладает большей цепкостью, нежели наше зрение. Что своей изобретательностью, игрою ума, пластической гибкостью вор превосходит среднюю норму, отпущенную нам природой. А русский вор и подавно (как русский и как вор) склонен к фокусу и жонглерству – и в каждодневной практике, и тем более, конечно, в поэтике. <…> Это мы видим в самой, наверное, известной и сравнительно ранней песне «Гоп-со-смыком», оказавшей такое влияние на блатную музыку. Едва ли не все мироздание обращается там в арену

гиперболического воровского «Я», представленного в основном цирковыми номерами, прыжками, акробатикой, клоунадой всякого рода, так что кличка героя Гоп-со-смыком, совпадая с образом всей песни, становится нарицательной – и не просто в социально-житейском аспекте, а даже, можно заметить, в стилистическом отношении. Беру не семантику, а экспрессию и звуковую инструментовку этого залихватского имени. «Гоп» – и мы в тюрьме, «гоп» – на воле, «гоп» – на Луне, «гоп» – в раю, и всюду – со «смыком», с ревом, с гиком, с мычанием, с песней, с добычей. Бросается в глаза подвижность композиции, как если бы она отвечала психофизической организации нашего молодца, чьи мысли и воображение прыгают, а тело ритмично движется, будто на шарнирах, – очевидно, из профессиональных задатков и ради высшего артистизма. Не зря, вероятно, на блатном жаргоне «скачок» или «скок» означает квартирную кражу, внезапную, без подготовки (набег, налет – по вдохновению). И тот же «скок» (или «гоп») мы наблюдаем постоянно в сюжете, в языке, в нахождении деталей, метафор – во множестве похожих и не похожих на «Гоп-со-смыком» творений.

(Абрам Терц. Отечество. Блатная песня // Синтаксис. Париж, 1979. № 4)

Тут мы вплотную подошли к постижению одного из самых сильных стимулов, побудивших интеллигентов обратиться к блатной песне как к мощному источнику поэтического вдохновения.

Блатная песня несет в себе необыкновенно сильный заряд художественной энергии. Ее своеобразная поэтика обогатила современную русскую поэзию в не меньшей мере, чем на заре нашего века поэтика другого «низкого» жанра – цыганского романса – обогатила гениальную лирику Блока.

В песнях Высоцкого это проявилось ярче и последовательнее, чем в песнях других знаменитых наших бардов. Но не меньше, чем для Высоцкого, поэтика блатной песни была заразительна и для Галича, и для Юза Алешковского, и для Юлия Кима. И даже изысканного, нежного, а порою и высокопарного Булата с его тягой к старинным, архаическим оборотам речи, с его тончайшими, как он сам однажды выразился, словесными кружевами эта стихия не обошла стороной. Вспомните: «За что ж вы Ваньку-то Морозова…», «А мы швейцару – отворите двери! У нас компания веселая, блатная…»

Одной только эстетической притягательностью эту тягу самых разных наших бардов к поэтике блатной песни, пожалуй, не объяснишь. Действовали тут и еще какие-то, быть может, даже более мощные стимулы.

На главный из них проницательно указал Андрей Синявский – в той же своей статье, которую я только что цитировал:

…

> *Солженицын обижается, что блатной песне своевременно рот не заткнули: «Как-то в 46-м году летним вечером в лагерьке на Калужской заставе блатной лег животом на подоконник третьего этажа и сильным голосом стал петь одну блатную песню за другой. <… > В песнях этих воспевалась “легкая жизнь”, убийства, кражи, налеты. И не только никто из надзирателей, воспитателей, вахтеров не помешал ему – но даже окрикнуть его никому не пришло в голову. Пропаганда блатных взглядов, стало быть, вовсе не противоречила строю нашей жизни, не угрожала ему».*
>
> *(Абрам Терц. Отечество. Блатная песня // Синтаксис. Париж,*

1979. № 4)

И вот как откликается на это рассуждение Андрей Донатович:

…

Угрожать-то, быть может, и не угрожала, однако собирать и записывать блатной фольклор (по официальному параграфу – «кулацкий») почему-то запрещалось, как меня, студента, в том же 46-м предупреждали по-тихому бывалые старики-фольклористы. Грозило сроком до 10 лет («антисоветская агитация и пропаганда»).

Пишет сыночку мать:
– Милый, хороший мой,
Помни, Россия вся —
Это концлаг большой.

А какая там агитация?! Ни одна настоящая блатная песня не примет этот вражий навет. Пусть таким баловством у себя большевики занимаются. Агитпроп. Партаппарат. ГУЛаг. Блатной же человек просто ищет выразить словами струны, мелодию, которая, однако, все равно разойдется с текстом, так что в итоге и не поймешь, о чем, собственно, поется. (Там же)

О чем поется, может, и не поймешь. Но одно-то уж, во всяком случае, всегда почувствуешь: песня эта – вольная, свободная, не только не подцензурная, но и не заказная. Не зависящая ни от чего другого, как только от желания выплеснуть, выразить, излить в словах и мелодии свою душу. Отсюда и тяга к ней.

Но на это литературоведческое отступление меня толкнуло не так желание указать на это родство Булата с его собратьями по жанру, как стремление обратить ваше внимание на сразу мне бросившееся в глаза разительное его от них отличие.

Уже в самом начале пути, с самых первых своих проб тяготея (как Галич, и Высоцкий, и – уж само собой – Юз Алешковский) к блатной песне, Булат неслучайно из всего блатного песенного репертуара выбрал именно вот эту – любовную, лирическую. («Любил жулик комсомолочку, с нею наслаждался».)

В этом сразу проявилась лирическая природа его поэтического дара.

Помню, как я был изумлен, когда Булат в первый раз спел

нам своего «Ваньку Морозова» и слушавший его тогда вместе с нами критик Владимир Барлас обронил:

– Очень милая стилизация.

Не стилизация это, подумал я, а *форма лирического самовыражения* («Ведь от любви беды не ждешь!»), что, кстати, подтвердил и сам Булат: надписывая мне самую первую книжечку своей ранней лирики), расписался на ней не «Булат Окуджава», а – «Ванька Морозов».

Из тогдашнего, еще «добулатовского»

его песенного репертуара запомнилась мне еще такая неведомо откуда взявшаяся загадочная песенка:

Однажды Тирли-Тирли
Напал на Дугу-Дугу…
И долго Тирли-Тирли,
И долго Дугу-Дугу
Долбали понемножечку
друг другу.

Именно вот так он и пел: не «друг друга», как надо бы по грамматике, а – «друг другу».

А кончалась она так:

Когда взошел на небо Тирли-Тирли,
Увидел дорогого друга Дугу:
– Я очень, Тирли-Тирли…
– Я очень, Дугу-Дугу…
И бросились в объятия друг к другу.

Пел он ее иногда один, а иногда вдвоем с Галей, что и дало мне повод предположить, что именно от нее она ему досталась. А может быть, это было уже первое собственное его сочинение? Так сказать, проба пера (лучше сказать – проба голоса)? Не догадался спросить – ни у него, ни у Гали. А теперь уже не узнаешь: спросить не у кого.

свои отношения – на волейбольной площадке.

В волейбольных – командных – схватках я, как уже было сказано, не участвовал. Но со страстью отдался только что вошедшему тогда в моду бадминтону. С такой же страстью отдалась этому увлечению и Галя. И всякий раз, когда волейбольная площадка с натянутой и никогда не снимаемой сеткой бывала свободна, мы с ней сходились там, чтобы отдаться этой нашей общей страсти.

Играли на счет, и это еще больше подогревало температуру нашего азарта. Случалось мне и выигрывать, но чаще выигрывала она. Не потому, что играла лучше, – я тоже к тому времени уже кое-чему научился, – а потому, что была сильнее. Я быстро выдыхался – не в переносном, а в прямом смысле этого слова: у меня забивало дыхание. А Галя была неутомима. И мог ли я подумать, что эта молодая, красивая, сильная женщина совсем скоро покинет нашу земную юдоль, и именно мне достанется быть единственным свидетелем ее последнего, предсмертного вздоха.

Весной 1964 года,

когда впереди маячило очередное, уже третье наше шереметьевское лето, из «Литгазеты» мне пришлось уйти. О том, как и почему это случилось, я подробно рассказал во второй книге своих воспоминаний (“Скуки не было”) и повторяться не буду. Но один эпизод все-таки повторю.

В редакции все уже знали, что я ухожу. Но подавать заявление об уходе я не спешил.

С газетной своей службой я расставался легко: ничего хорошего на этом поприще мне уже не светило. Но дача…

У тогдашнего заместителя главного редактора Юрия Яковлевича Барабаша были свои, особые причины торопить меня с подачей заявления об уходе. (Об этом тоже я подробно рассказал во второй книге моих воспоминаний.)

Прождав неделю-другую и так от меня этого заявления и не дождавшись, он не выдержал, пригласил меня в свой кабинет и напрямую спросил:

– Бенедикт Михайлович, я хотел бы знать, каковы ваши планы?

– Планы, Юрий Яковлевич, у меня такие, – сказал я. – В июне собираюсь уйти в отпуск, а из отпуска в газету уже не вернусь.

– Вы это твердо решили?

– Да, твердо.

– Но почему бы тогда, – осторожно начал он, – вам уже сейчас не написать заявление – и об отпуске, и об уходе? Вы ведь понимаете, что подыскать на ваше место другого работника мне будет нелегко, и я хотел бы…

И тут я откровенно сказал ему, что, получив только что по распределению на лето свою дачу в Шереметьевке, считал неприличным сразу подать заявление об уходе. Будут, мол, обиды: не всех работающих удалось полностью удовлетворить, а тут Сарнов, который в газете уже не работает, как ни в чем не бывало получает дачу.

Барабаш сразу понял, что это не отговорка, не какой-то там ловкий ход (потянуть время, чтобы события, вынудившие меня покинуть газету, отошли в прошлое и постепенно забылись). Видно было, что у него прямо камень с души свалился, когда он узнал настоящую причину взятого мною тайм-аута.

– Ну что вы, Бенедикт Михайлович, – облегченно сказал он. – Кто же усомнится в том, что вы имеете право на эту дачу. Вы так много сделали для газеты… У вас действительно нет никаких других причин, чтобы тянуть с заявлением?

– Никаких, – подтвердил я.

И тут же, к вящей радости Барабаша, торопливо подвинувшего ко мне чистый лист белой бумаги, написал все, что от меня требовалось.

С тем мы и расстались, как сказано в одном рассказе Зощенко, довольные друг другом.

На следующий день, однако, оказалось, что этот наш разговор имел продолжение.

Вечером приехавшая после рабочего дня на дачу Зоя Крахмальникова (она тогда тоже работала в «Литгазете») рассказала:

– Сегодня у нас был такой цирк… Представляешь, неожиданно, средь бела дня, вызывают нас всех в кабинет главного.

– Как это – всех? Весь отдел?

– Да нет, всех! Всех сотрудников. Весь коллектив… Ну, мы собрались. Ждем: к чему бы это?.. За столом главного – Барабаш в своей «антисемитке» («антисемиткой» Зоя называла вышитую украинскую рубашку Юрия Яковлевича). Он подождал, пока мы рассядемся, и сказал: «Дача остается за Сарновым».

– Ну? А дальше что было? – спросил я.

– А ничего. Оглядел нас своими оловянными глазами и говорит: «У меня все».

Итак, дача осталась за мной. И все это последнее мое шереметьевское лето мы с женой так же тесно общались с Булатом и Галей, как и в два предыдущих года. И я временами с грустью подумывал о том, что впредь такого тесного общения с ними у нас никогда уже не будет.

Но, когда настала осень, через месяц-другой после нашего возвращения в город, до нас дошло, что Булату досталась освободившаяся недавно двухкомнатная квартира рядом с трехкомнатной квартирой Фазиля, то есть прямо над нами.

Когда мы вселялись

в этот наш кооперативный «писательский» дом, один наш сосед пересказал мне такой свой разговор со столяром, который делал стеллаж для его весьма обильной библиотеки.

– А что, – однажды спросил столяр, – правду говорят, что во всем этом вашем доме живут одни писатели?

– Да, правда, – признал этот факт мой сосед. – А что?

– Да нет, ничего, – сказал столяр. – Я просто представил: вот дом, большой, как ваш, а живут в нем одни столяры. Мог бы я жить в таком доме?

Мудрый человек был этот столяр – как в воду глядел.

То обстоятельство, что в доме нашем жили «одни писатели», таило в себе множество неудобств.

Что ни день, с самого утра (нередко я еще спал) являлся ко мне Юрий Коринец – большеголовый, маленький, почти карлик. Почти всегда вполпьяна: то ли это были следы еще вчерашней попойки, то ли уже сегодня с утра он не очень аккуратно «поправился».

Я знал его по «Пионеру», а Слава – по «Мурзилке». Она его почему-то жалела, и захлопнуть перед его носом дверь нашей квартиры у нее не хватало духу.

Без церемоний пройдя прямо ко мне, в дальнюю комнату, где я спал, он садился ко мне на постель и громко вздыхал:

– Ох, Сарнов! Не люблю я советскую власть!

Я не возражал: не любишь, и не люби. И вообще старался ни в какие разговоры с ним не вступать – в продолжение всего визита думал только о том, как бы, не слишком обидев, поскорее его выпихнуть. Но, когда он прочел мне какие-то новые стихи, в которых, выполняя социальный заказ, объяснялся в любви и преданности этой самой ненавистной ему советской власти, я не выдержал:

– Как же это ты – не любишь советскую власть, а лижешь ей все места.

– Это ты не понял, старичок, – ничуть не смутившись, ответил он. – Стихи – это для меня святое.

Но это было только однажды. А обычно он читал мне совсем другие свои свежеиспеченные стихотворные сочинения. Некоторые я запомнил.

Была, например, им сочинена и с удовольствием мне зачитана такая эпиграмма на Юрия Казакова:

Насрет – и скажет: «Посмотри,

Как гениален я внутри».

Я на этот шедевр прореагировал кисло. На что он тут же возразил:

– А Юрке очень понравилось.

С Казаковым они дружили. Я недоумевал: что могло сблизить таких разных людей? Мне казалось, что ответ тут может быть только один: водка. Казаков был безмерно талантлив, а Коринец – дремуче бездарен.

Иногда, впрочем, и у него мелькала искорка дарования, о чем свидетельствует такой тоже запомнившийся мне его стишок:

Ленин Троцкому сказал:
«Троцкий! Я муки достал.
Мне кулич, а вам – маца.
Лимца-дрица-о-ца-ца».

Однажды, нарушив традицию, он заявился не с утра, а вечером.

Момент для этого визита был самый неподходящий. Мы отмечали какую-то дату, собрались самые близкие мои друзья, и Коринец в эту компанию ну никак не вписывался. Поэтому дальше порога я его не пустил.

Из глубины квартиры – не такая уж она была большая – слышались громкие, уже не очень трезвые голоса, тосты, отголоски каких-то высокоумных споров, звон бокалов.

– Старик, – помявшись, сказал он. – У тебя выпить не найдется?

– Найдется, – сказал я.

Вернулся к гостям, налил полный стакан водки, на скорую руку соорудил какой-то бутерброд и вынес ему.

Он выпил, закусил, ни слова не сказал, развернулся и ушел.

А день-другой спустя, встретив меня на улице, сказал:

– Старик, ты меня обидел. Вынес – как дворнику.

– А что я мог сделать? – возразил я. – У меня гости, люди тебе не знакомые и не интересные. И ты им, прости, тоже не интересен. И явился ты без приглашения, я тебя не звал. А если бы я не вынес тебе выпивку и закуску «как дворнику», ты бы, наверно, еще больше на меня обиделся.

После этого инцидента Коринец на некоторое время от меня отстал. Но вскоре обида забылась, и он опять стал наносить мне свои ежеутренние визиты, садился грязными, сопливыми своими штанами на мою постель и заводил свою обычную шарманку:

– Ох, Сарнов! Не люблю я советскую власть!

Был еще один незваный визитер, от которого тоже не так-то

просто было отделаться, – Александр Тверской.

Его я знал по «Пионерской правде», где он занимал какую-то не слишком высокую, но штатную должность, а мы с женой нештатно отвечали на детские письма по рублю (в пересчете на хрущевские новые деньги – по гривеннику) за штуку.

Про него говорили, что во время кампании по борьбе с безродными космополитами его обвинили в том, что он, будучи евреем, в анкете и документах, которые каким-то образом исхитрился получить, числился русским. Его собирались исключить – сейчас уже не помню, то ли из комсомола, то ли из партии. Уже была готова повестка дня готовящегося по этому поводу собрания, назначены ораторы, которым предстояло разоблачить антипартийные взгляды Тверского, выразившиеся в клевете на сталинскую национальную политику.

Но тут Тверской сделал такой неожиданный ход – привел на собрание свою еврейскую маму, которая публично призналась в давнем своем грехе: изменила мужу-еврею с чистопородным русским, от которого и родился ее Сашенька, который, стало быть, не скрыл от партии свою истинную национальность, поскольку имел и имеет полное право считать себя русским.

Кроме того, про Тверского говорили, что он стукач.

И вот этот тип тоже чуть ли не ежедневно – правда, не утром, а уже после полудня – и тоже без всякого предупреждения, без телефонного звонка – с улыбочкой и неизменным своим присловьем («Не сердись на меня») появлялся на пороге моей квартиры, предлагая сыграть партию-другую в шахматы, обсудить последние союзписовские сплетни и новости.

Общение с ним было мне совершенно не нужно и даже противно, независимо от того, был он на самом деле стукачом или не был (скорее всего – был).

С некоторым трудом в конце концов мне удалось его от этих незваных утренних визитов отвадить. И он даже и не обиделся: при встречах (а они были неизбежны) по-прежнему улыбался своей противной улыбочкой и повторял свое неизменное: «Не сердись на меня».

Как видите, неудобств, связанных с тем, что нам досталась квартира в доме, где жили «одни писатели», было немало.

Но были и радости.

Вот хотя бы то, что прямо над нами жил Фазиль с Тоней (с Фазилем мы дружили еще с литинститутских времен, с 1947 года). И на той же лестничной площадке в маленькой однокомнатной квартире обитал другой мой давний друг-приятель – Лева Левицкий. И вот теперь там поселятся Булат с Галей. И мы каждый вечер будем собираться у кого-нибудь из нас,

и Булат, как это бывало в Шереметьевке, будет петь нам свои новые, с пылу с жару, еще не обкатанные на большой аудитории, только что родившиеся песни.

Но вышло так, что жить в этой квартире Булату не пришлось.

Мы со Славой были едва ли не первыми, кому он доверительно сообщил, что жить в этой только что им обретенной квартире не будет и одного дня.

Заглянув к нам однажды и хмуро выслушав наши ликующие вопли по поводу того, что вот какая радость, опять, как в Шереметьевке, мы будем соседями, он сперва ничего на это не ответил. Но видно было, что сам он никакой радости по этому поводу не испытывает.

Выслушав предложение Славы пообедать с нами (мы как раз садились за стол), он сказал, что с удовольствием съест тарелку супа. И поглощая – ложку за ложкой – этот суп, сообщил, что соседями мы с ним не станем, потому что он от Гали ушел. На сей раз окончательно и бесповоротно.

– Только я вас прошу, ребята, – очень строго сказал он, – никому об этом ни слова. Особенно это относится к тебе, Слава.

И объяснил, что квартиру эту – и то не так-то это было просто – он получил на себя, то есть на троих, на все их семейство. А выбить эту квартиру только для Гали и Игоря ему нипочем бы не удалось.

– Что же ты теперь будешь делать? – ошарашенно спросил я.

– Пропишусь, а через полгода переоформлю ордер на Галю и выпишусь.

Так вот и вышло, что соседями нашими стали только Галя с Игорушей. Без Булата.

Первое время Булат к ним захаживал и иногда попутно заглядывал и к нам тоже. Но случалось это нечасто. А вскоре и эти нечастые его визиты прекратились. И как-то, уж не помню где скорее всего, в ЦДЛ, он представил нам свою новую жену, Ольгу.

Как я уже говорил, Галя любила (и умела) петь под гитару

Жемчужиной ее репертуара была неведомо кем сочиненная (я имею в виду музыку) песня на слова Бёрнса (правильнее было бы сказать – Багрицкого, поскольку именно в его обаятельном вольном переложении этот текст стал песней):

И я была девушкой юной,
Сама не припомню когда;
Я дочь молодого драгуна,
И этим родством я горда.
Трубили горнисты беспечно,
И лошади строились в ряд,
И мне полюбился, конечно, конечно,
С барсучьим султаном солдат.
И первым любовным туманом
Меня он покрыл, как плащом,
Недаром он шел с барабаном
Пред целым драгунским полком;
Мундир полыхает пожаром,
Усы палашами торчат…
Недаром, недаром, недаром, недаром
Тебя я любила, солдат…
Но миром кончаются войны,
И по миру я побрела.
Голодная, с дрожью запойной,
В харчевне под лавкой спала.
На рынке, у самой дороги,
Где нищие рядом сидят,
С тобой я столкнулась, безногий,
Безрукий и рыжий солдат.
Я вольных годов не считала,
Любовь раздавая свою;
За рюмкой, за кружкой удалой
Я прежние песни пою.

Дмитрий Быков в своей книге об Окуджаве рассказывает о том, как Галя спела ее в последний раз:

7 ноября 1965 года первая жена Окуджавы умерла от острой сердечной недостаточности.

В этот день она зашла к Огневым, они немного выпили по случаю праздника, и она спела любимую песню: «И я была девушкой юной»…

Галина спела ее у Огневых, погрустнела, улыбнулась, сказала: «Ну, я побежала?»

Через час ее сын позвонил в их дверь: «Маме плохо!»

Вызвали врача, но «скорая» не могла добраться до аэропортовских домов из-за перегороженной Москвы: по праздникам центр был перекрыт. Побежали за врачом, живущим на нижнем этаже, но у того были гости и он не пожелал оторваться от застолья. Еще до приезда «скорой» Галина Смольянинова умерла от острой сердечной недостаточности. Игорь все это время сидел у Огневых, ему ничего не говорили.

(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)

Не знаю, откуда взялась эта легенда.

У Огневых Галя накануне, может быть, действительно была. И эту свою любимую песню там у них, может быть, действительно спела. Что же касается всего остального, то все это полная чушь, имеющая весьма мало общего с тем, как это было на самом деле.

А было так.

Бледный, дрожащий, заплаканный Игорь прибежал не к Огневым, а к нам. С чего бы это он побежал к Огневым, которые жили в другом доме, а мы – тут же, этажом ниже?

И не было в нашем подъезде никакого врача, за которым якобы побежали (кто побежал?), «но у него были гости и он не пожелал оторваться от застолья».

Когда Игорь оказался у нас, говорить, что «маме плохо», ему не пришлось: без всяких слов все сразу стало ясно. И первое, что

сделала Слава, – втолкнула Игоря в квартиру живущих рядом с нами Киры и Юры Эльпериных и, наскоро объяснив им, в чем дело, взлетела на восьмой этаж. Следом за ней ринулся туда и я. Но на полпути столкнулся с ней, уже бежавшей обратно, к нам, к телефону, чтобы вызвать «скорую».

Так вышло, что с умирающей Галей остался я один. А в том, что она умирает, не было никаких сомнений.

Она лежала навзничь на незастеленной кровати и задыхалась, хрипела. Это был даже не хрип, а какое-то жуткое звериное рычание. Милое ее лицо было неузнаваемо: набрякшее, как бы распухшее, лилово-синее. Тело сотрясалось от сводившей его судороги.

Не надо было быть врачом, чтобы понять: это агония.

Но я все-таки надеялся на «скорую», на какой-нибудь спасительный укол, сам не знаю на что.

Прошло минут десять-пятнадцать (мне они показались часами), а «скорая» все не приезжала.

Я стоял как столб, не зная, как и чем тут можно помочь. А она умирала. А «скорая» все не появлялась. И тут меня осенило: надо позвонить Лиле.

Лиля была близкая наша приятельница, очень хороший врач (в то время она была ассистентом самого Кассирского).

Лиля, когда я ей дозвонился и сбивчиво объяснил ситуацию, спросила:

– Сколько ей лет?

Услышав, что тридцать девять, она сказала:

– Ну, в тридцать девять лет за полчаса она не умрет. А через полчаса я приду.

Но Галя справилась: умерла именно вот за эти самые полчаса. Когда, как и было сказано, ровно через полчаса явилась Лиля, а вскоре вслед за ней и долго ожидаемая «скорая помощь», все уже было кончено.

И все это время, пока она умирала, я стоял, один-одинешенек, беспомощный, не знающий, как быть и что тут можно сделать. Лишь на миг мелькнуло в распахнутых дверях квартиры белое как стена лицо Левы Левицкого, и я снова остался один на один с умирающей Галей, с уже вплотную приблизившейся к ней смертью.

– Как же вы сказали, что за полчаса она не умрет? – упрекнул я Лилю.

– Я поняла, в каком вы состоянии, и хотела вас успокоить, – сказала она. И добавила, что такое (внезапная смерть в тридцать девять лет) случается не так уж редко и что, скорее всего, причиной Галиной смерти была эмболия, то есть тромб,

закупоривший сонную или какую-то другую (я не понял какую) артерию.

Хоронили Галю на новом тогда Востряковском кладбище, раскинувшемся напротив старого, где была могила моего отца. (Спустя годы на том же кладбище, теперь уже давно не новом, хоронили Андрея Дмитриевича Сахарова.)

Булат сказал, что на похороны не пойдет. Он живо представил себе, как вся Галина родня и ближайшие ее подруги будут смотреть на него как на главного виновника ее смерти, на убийцу. Нет, он этого не вынесет. Не пойдет.

Но наша подруга Зоя Крахмальникова железным голосом сказала:

– Пойдешь.

И таки заставила его прийти и все время, что длилась эта печальная церемония, простояла рядом с ним, обеими руками крепко сжимая его руку.

Обсуждался ли с Булатом вопрос, как быть и что теперь делать с Игорем, я не знаю.

Наверно, обсуждался.

Многие тогда осуждали его за то, что он не забрал сына к себе. Но забрать его ему было некуда. А о том, чтобы жить с осиротевшим Игорем и новой женой в квартире, где только что умерла Галя, разумеется, не могло быть и речи.

Ольга неизменно повторяла, что готова была взять Игоря, но этому решительно воспротивились родственники Галины.

Те, кто осуждал Булата, говорили, что он был недостаточно настойчив, должен был не предлагать, а требовать, чтобы сын рос с ним, в его новой семье.

На первых порах Игоря забрала сестра Гали Ирина и увезла его во Владивосток, где она и ее муж Алексей Живописцев тогда жили. Но Булат не мог смириться с тем, что сын оказался в такой дали от него. И в конце концов было решено, что в Москву из Воронежа переедут дед и бабка Игоря, чтобы жить с внуком в его (теперь уже его) квартире, той самой, над нами, на восьмом этаже, в которой полтора года назад умерла Галя.

не только разумным, но, по правде говоря, в сложившихся обстоятельствах единственно возможным. И никто не мог не то что предвидеть, но и предполагать, к чему в конечном счете оно приведет.

Поначалу и впрямь ситуация казалась благополучной (разумеется, в той мере, в какой это было возможно). Но Игорь уже вошел в так называемый пубертатный возраст, и деду-подполковнику, склонному не скажу к военной дисциплине, но к строгости и порядку, чем дальше, тем труднее с ним было справляться.

А пубертатный возраст стремительно переходил в тот, что у англичан и американцев называется тинейджерским. Теперь это был уже не мальчик и даже не подросток, а юноша – своевольный, а главное, считающий себя хозяином положения. С отцом он, наверное, вел бы себя иначе. А бабкой и дедом вертел как хотел и в конце концов совсем отбился от рук. И старики не выдержали – уехали в свой Воронеж, предоставив Игоря самому себе. И он остался один, теперь уже единственным и полноправным хозяином своей двухкомнатной квартиры.

Нетрудно представить, во что в скором времени она превратилась.

Конечно, слово «притон», которым злые языки ее уже наградили, тут было неуместно. Но такое словечко, как «пристанище», пожалуй, уже годилось.

Да, как это ни грустно, квартира Игоря очень скоро стала пристанищем для разных – не всегда даже близких – приятелей Игоря, что ни день собиравшихся у него для совместных возлияний и беспорядочных случайных соитий.

Внешне, однако, это выглядело вполне прилично: никаких шумных оргий, драк или скандалов – тишь, гладь и Божья благодать. И до поры до времени причин вмешиваться в эту ситуацию и сигнализировать Булату, что со старшим его сыном не все в порядке, у нас не было.

Но однажды Слава обратила внимание на то, что наш сын что-то уж больно часто стал заглядывать на восьмой этаж, к Игорю. Возвращался он от него довольно скоро и алкоголем от него при этом не попахивало, так что поначалу никаких дурных подозрений у нее не возникло.

То есть они возникли, конечно, но мне удалось как-то их развеять: обычная, мол, твоя паника на пустом месте. Тут надо сказать, что в состоянии паники (во всем, что касалось сына) моя

жена пребывала постоянно. Так что развеивать разные ее подозрения было для меня обычным делом.

Вскоре, однако, она заметила еще одну странность: наш сын вдруг стал испытывать острую нужду в деньгах. Кажется, даже продал кое-что из личного своего барахла.

Однажды он говорил с кем-то по телефону, и, проходя мимо, я услышал такую его загадочную реплику:

– Ладно, тогда шузы.

Реплика меня заинтересовала, и, прислушавшись, я понял, что он просит кого-то отнести в комиссионку его новые туфли. Туфлями этими он – я знал это – очень дорожил; не раз с усмешкой наблюдал, как он ими любуется, и очень удивился, узнав, что он вдруг надумал с ними расстаться. Но мало ли что? Может быть, ему приглянулись какие-то другие, которые больше пришлись ему по душе.

Но вскоре выяснилось, что в этом своем успокоительном предположении я оказался полным лопухом. А бешеный материнский инстинкт моей жены, как это уже не раз бывало, ее не подвел.

Почуяв неладное, она обрушила на сына весь арсенал имеющихся в ее распоряжении средств воздействия, вплоть до угрозы подключить к делу милицию. И – не без труда, но все-таки сравнительно быстро – она его расколола.

Он признался, что Игорь давно уже «колется» и – мало того! – приторговывает наркотиками. Для этого ему были нужны все новые и новые «клиенты», вот он и предложил нашему «попробовать». Тот попробовал, но ему, как он уверял, не понравилось. Расплачиваться с Игорем, однако, надо было: «дурь», которой они кололись, стоила дорого. Чтобы отдать Игорю уже накопившийся долг, ему и понадобилось «толкнуть» свои любимые «шузы».

За нашего я был более или менее спокоен: Слава объявила ему, что, если хоть раз увидит его с Игорем, тут же пойдет в милицию. Зная свою мать, он не сомневался, что она на это способна, и угроза подействовала.

Но как быть с Игорем? Не обращаться же, в самом деле, в милицию. А ничего не предпринять, оставив все как есть, я не мог: дело было серьезное, парень погибал, и, если оставалась еще хоть какая-то возможность вытащить его из этой трясины, действовать надо было немедленно.

Я позвонил Булату.

Сказал, что мне необходимо срочно с ним увидеться.

Он сказал: да, конечно, он всегда рад меня видеть, но они с Ольгой завтра уезжают в Дубулты. Нельзя ли отложить нашу

встречу до их возвращения?

Я жестко ответил, что нет, нельзя.

Он не стал спорить. Коротко бросил:

– Приезжай.

И я поехал к нему на Речной вокзал, в их с Ольгой новую кооперативную квартиру, где они недавно поселились.

Всю дорогу я думал, как начать этот нелегкий разговор,

но так ничего и не надумал и, приехав, сразу, чуть ли не с порога, бухнул:

– Вы уж извините, ребята, что я был так настойчив. Дело в том, что Игорь…

И тут Булат, не дав мне закончить фразу, переглянулся с Ольгой и сказал:

– Что я тебе говорил?

И я сразу понял, как взволновал их мой внезапный телефонный звонок, в какой тревоге провели они те сорок минут, что я добирался к ним от своего «Аэропорта» к «Речному вокзалу»: думали, гадали, с чем я еду, какую весть везу, о чем он будет, этот срочный, неотложный разговор, который – в этом у них не могло быть сомнений – сулит им какую-то неожиданную (а может быть, и ожидаемую, предвидимую и предчувствуемую?) неприятность.

Это меня ничуть не удивило. Удивило – и даже поразило – другое.

Поразил не смысл, а интонация этой Булатовой реплики: «Что я тебе говорил?»

Интонация была не только торжествующая («Вот видишь, я был прав!») – в ней чувствовалось огромное облегчение.

Когда подтвердилось, что он угадал, что речь и в самом деле пойдет – всего лишь! – об Игоре, у него прямо камень с души свалился.

Чего же он ждал? Чего опасался? Какое известие, принесенное мною, было бы для него более неприятным, может быть, даже более угрожающим, чем весть о беде (а речь ведь наверняка пойдет о беде, иначе мой телефонный звонок не нагнал бы на них такого страху), нависшей над его сыном?

На этот счет у меня не было ни малейших сомнений.

Я сразу понял, чего он с тревогой ожидал, чего опасался, чего хотел бы избежать.

У него были все основания подозревать, что этот внезапный мой телефонный звонок и та настойчивость, с которой я упирал на необходимость и неотложность нашей встречи, связаны с тем, что давление КГБ на моих (наших общих) друзей Войновича и Корнилова вошло в новую, более крутую и острую фазу, и вот пробил и его час, придется теперь и ему, защищая их, «выйти на площадь». С этим сообщением – и этим требованием – я, наверно,

к нему и приехал.

И, узнав, что это не так, что на этот раз чаша сия его миновала, он и испытал ничуть им не скрываемое и потому сразу бросившееся мне в глаза чувство облегчения.

Эта его реакция, не скрою, слегка меня царапнула (хотя не так давно, когда исключили из Союза писателей Солженицына, сам испытал точно такое же чувство).

Это была даже не царапина, а ссадина, которая, как это бывает даже с пустяковыми царапинами и ссадинами, еще долго давала о себе знать.

На моем отношении к Булату это долго не утихавшее саднящее чувство никак не отразилось. Но осадок остался. И не только у меня, но, я думаю, и у него тоже. И не об этом ли та туманная, загадочная его строка из стихотворения про красные бокалы:

И на пиру на том, на празднестве тягучем,
я, видно, был один, как рекрут, не обучен…

И не тут ли объяснение того «таинственного» импульса, который побудил его посвятить это свое стихотворение именно мне.

Мое сообщение о том, что Игорь «колется»

и даже приторговывает наркотиками, Булата не сильно поразило. Мне даже показалось, что он об этом уже знал. Во всяком случае, догадывался, чего-то подобного от моего визита и ждал. Согласился, что да, все это очень опасно и что-то с этим делать надо, но намеченный на завтра их с Ольгой отъезд в Дубулты отменять даже и не подумал. Узнав от меня, что на завтра Слава уже вызвала к Игорю психиатра, лучшего, как ей сказали, специалиста по этим делам, ограничился тем, что, поблагодарив, спросил, во что обойдется этот врачебный визит, и вручил предназначавшиеся для доктора 25 рублей.

Эта реакция меня слегка ошарашила, но я подумал, что Булат, наверно, не понял, чем все это грозит его мальчику. А может быть, как раз наоборот: прекрасно понимал, но уже знал, что все его усилия ни к чему не приведут – Игоря ему не спасти.

Он, видимо, какие-то попытки уже предпринимал и не с одним психиатром на эту тему уже беседовал.

Что же касается нашего доктора – того, которого вызвала к Игорю Слава, – то он, побеседовав с пациентом, спустился к нам, на седьмой этаж, получил свой гонорар и произнес успокоительную речь, смысл которой был в том, что Игорь в опасную фазу наркомании еще не втянулся и, как он думает, не втянется.

В общем, Игорю удалось его охмурить, а тем самым отчасти и нас тоже.

Кончилось все это ужасно.

Дмитрий Быков в своей биографии Булата

сообщает об этом коротко и меланхолично:

...

> *Старший сын Окуджавы Игорь рос мальчиком добрым, мягким, обаятельным, безвольным, разнообразно одаренным, но не чувствующим особенного влечения ни к одному занятию. Он сменил впоследствии множество профессий, от музыканта до мясника, большую часть жизни страдал от алкогольной, а потом и от наркотической зависимости, в молодости хипповал, отслужил в армии, неудачно женился, побывал под судом, чудом спасся от тюрьмы, болел, бедствовал, перенес тяжелую операцию, лишился ноги и умер 11 января 1997 года, почти сразу после своего сорок третьего дня рождения. Отец пережил его на полгода.*
>
> *(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)*

Основные вехи этой трагической судьбы тут перечислены более или менее правильно. С той только поправкой, что наркотическая зависимость у Игоря предшествовала алкогольной: колоться он начал раньше, чем пить. И от тюрьмы он спасся не «чудом»: Булат поднял тогда на ноги всех своих влиятельных друзей и знакомых и добился, чтобы из тюрьмы Игоря перевели, как это тогда называлось, «на химию».

Это было единственное, чем смог он помочь своему старшему сыну.

Спокойное и по видимости даже холодное

отношение Булата к моему сообщению об Игоре, конечно, тоже меня поразило. Но все-таки не так, как то явное облегчение, с каким он встретил известие, что время «выходить на площадь» для него еще не пришло.

Это было тем более странно, что то же чувство облегчения и в той же связи незадолго до того испытал я сам.

Но в другой ситуации, не просто близкой, а, в сущности, тождественной той, которую я сейчас описал, моя реакция была иной. Совсем не той, что у Булата. Можно даже сказать – прямо ей противоположной.

Это было в те же «застойные» семидесятые.

Мы сидели у меня дома с тогдашним моим дружком и соавтором Стасиком Рассадиным и сочиняли очередную радиопьесу для постоянного нашего цикла «В стране литературных героев». Работали мы тогда легко и весело, поочередно садясь за машинку, переругиваясь и радостно смеясь какой-нибудь особенно, как нам казалось, удачной реплике.

Жена старалась нам не мешать, но отчаянно мешал мой фокстерьер Булька: он царапался в дверь моего кабинета, уморительно вставая на задние лапы и жалобно глядя на нас сквозь стекло. Иногда даже нетерпеливо взлаивал. Он был прав: его давно уже пора было выгуливать, а я, увлеченный творческим процессом, совсем про это забыл.

– Стасик, посиди немного за машинкой, – сказал я соавтору. – Он все равно не даст нам работать, пока я его не выведу.

Через двадцать минут, вернувшись с Булькой домой, я наклонился, чтобы снять с него поводок. И тут дверь моего кабинета слегка приотворилась, и оттуда высунулась физиономия моего соавтора. По выражению его лица я сразу понял, что за время недолгого моего отсутствия что-то произошло. И что-то, судя по всему, очень нехорошее.

Предчувствие меня не обмануло. Таинственно поманив меня пальцем, Стасик шепнул:

– Тебя тут ждет небольшой стресс…

Сердце у меня упало.

В то время сын наш переживал тот самый пубертатный, тинейджерский возраст, о котором я упоминал, рассказывая о быстром взрослении Игоря Окуджавы. До истории с наркотиками и продажей шузов было еще далеко (это случилось, когда обоим

было уже за двадцать), но и в тинейджерстве с ним происходило то же, что с Игорем. С каждым днем он все больше и больше отбивался от рук. Учебу совсем забросил, жил в свое удовольствие, возвращался домой после какого-нибудь очередного дружеского сабантуя иногда далеко за полночь.

Я относился к этому более или менее снисходительно, полагая, что рано или поздно он перебесится и процесс его взросления войдет в нормальные берега. Но жена просто сходила с ума. Она вела с ним непрерывную холодную войну, то и дело переходящую в горячую.

Горячая форма военных действий заключалась в том, что она выгоняла его из дому. Он покорно это сносил и уходил ночевать к бабушке, которая всегда готова была предоставить ему политическое убежище. Проходило два, три, иногда четыре дня. Возвращаться домой он не собирался: жизнь у бабушки, которую, в отличие от свирепой матери, он ничуть не боялся и которой помыкал как хотел, устраивала его гораздо больше, чем жизнь дома. Но такая чрезвычайная ситуация никак не устраивала мою жену. Она взывала ко мне – в довольно стандартной, я бы даже сказал, тривиальной форме («Разве ты отец? Настоящий отец этого бы не допустил!»), – и в конце концов, не выдержав, я начинал очередной тур челночной дипломатии по методу Генри Киссинджера и старался, не слишком поступаясь высшими педагогическими принципами и не растеряв окончательно свой родительский авторитет, все-таки уговорить нашего смутьяна вернуться в лоно семьи.

Сто раз я клялся жене, что если она еще хоть раз посмеет выгнать мальчика из дому, на мои дипломатические таланты пусть больше не рассчитывает. И сто раз нарушал эту клятву. А однажды – эту ночь я до сих пор вспоминаю с ужасом, – когда очередное изгнание все-таки состоялось, теща (бабушка моего отпрыска), тоже не разделявшая педагогических принципов моей жены, не позвонила с обычным успокоительным сообщением, что изгнанник находится у нее. Жена попробовала было устроить мне сцену под лозунгом «Разве ты отец!», но я ушел от ответственности, заявив, что не я, а она создала в очередной раз эту тупиковую ситуацию. И лег спать.

Некоторое время сквозь сон до меня еще доносились возгласы жены: «Но где же он? Если бы он был у мамы, она обязательно бы мне позвонила!» Я, проваливаясь в сон, бормотал в ответ: «Большой парень… Подумаешь, переночует одну ночь на вокзале… Ничего с ним не случится…»

Не знаю, надолго ли мне удалось задремать: мне показалось, что совсем ненадолго. Жена разбудила меня, и сделала это

весьма энергично.

– Что случилось? – очнулся я от сна, почувствовав, что меня трясут со страшной силой.

– Ты разе не слышишь? – трагическим шепотом проговорила жена. – Воет собака!

– Ну и что? – не понял я.

Она стала бегать по квартире, ломая руки и повторяя:

– Воет собака! А он спрашивает: «Ну и что?» И это – отец!.. Боже мой!.. Я сама отправила своего ребенка на смерть!.. Вот… Опять… Воет!.. А этот – спит как ни в чем не бывало!..

Короче говоря, в ту ночь заснуть мне больше уже не удалось. Я то отпаивал жену валерьянкой, то высказывал разные – более или менее правдоподобные – предположения насчет того, куда мог отправиться ночевать наш «ребенок». Наиболее вероятным мне представлялся традиционный вариант: сын, как всегда, ночует у бабушки. Просто старуха, как и я, озверела от педагогических эскапад своей бешеной дочери и решила ее слегка проучить – нарочно не позвонила.

Наутро выяснилось, что все именно так и было.

Я провел с женой длинную педагогическую беседу, и она поклялась мне, что никогда больше не будет выгонять сына из дому. Но это была, как выразился однажды Атос про д'Артаньяна, клятва игрока. Я не сомневался, что тот ночной кошмар может повториться в любой день и час.

Вот поэтому-то, когда Стасик таинственно шепнул мне: «Тебя тут ждет небольшой стресс…» – сердце мое упало.

– Что?! – в ужасе выкрикнул я. – Ну?.. Говори!..

– Тебе звонили из КГБ, – прошептал Стасик.

– Ф-фу!

У меня просто камень с души свалился. По сравнению с ужасной мыслью, что жена не сдержала своей страшной клятвы и снова – в очередной раз – выгнала сына из дому, весть о звонке из КГБ показалась мне просто манной небесной.

Эту историю я уже рассказал однажды (во второй книге своих воспоминаний «Скуки не было»). Но тогда я сделал это совсем не с той целью, с какой делаю это сейчас.

Едва только на заре нашей «перестройки»

начала приоткрываться завеса над тайнами КГБ, на страницах газет стали появляться статьи, в которых всерьез обсуждались не только факты и обстоятельства, но и самые невероятные фантазии, легенды и слухи, связанные с таинственной деятельностью этого всесильного ведомства. И то и дело по этому поводу стало мелькать слово «зомби». Были, мол, где-то там, в *их* секретных лабораториях, созданы лучи, с помощью которых любого человека можно превратить в зомби. Пооблучают такими лучами какого-нибудь высоколобого интеллектуала, славящегося крайней независимостью своих суждений, и он превратится в живую куклу, «биоробота», покорно выполняющего чужую волю. Не только поведением, но даже самыми тайными его мыслями будут управлять с помощью этих невидимых лучей.

Если не ошибаюсь, ни к какому определенному выводу на этот счет пока так и не пришли. Вопрос до сих пор остается открытым: то ли в самом деле были у них эти лучи, то ли все это выдумка, плод чьей-то испуганной фантазии.

Но мы, жившие в то время, знали, что такие лучи у них действительно *были* .

Как и все, я тоже жил под постоянным воздействием этих смертоносных лучей, этого владевшего нашими душами мистического страха.

И история про то, как легко и беспечно я отреагировал на телефонный звонок ОТТУДА, была мною рассказана совсем не для того, чтобы похвастаться: вот, мол, каким я был храбрецом.

Вспомнил и рассказал я ее с прямо противоположной целью. Хотел сказать, что власть над нами долгие годы давившего нас мистического страха нынче уже не та: таинственные лучи потеряли свою магическую силу.

А сейчас попробую взглянуть на ту же коллизию с другого бока.

В этом мне поможет короткий отрывок из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема»:

...

Я оглядел дом и двор. <...>
На веревке, протянутой вдоль

веранды дома, сушились огненные связки перца и темно-пунцовые сосульки чурчхели. У крыльца, ведущего в горницу, был разбит палисадничек, где цвели георгины, вяло пламенели канны, золотились бархатки.

Два рыжих теленка, помахивая хвостами, паслись во дворе. Процессия индюшек во главе с зобастым, клокочущим, похожим на распахнутый аккордеон индюком прошла в сторону кухни. За забором, ограждающим двор, зеленела кукуруза с крепкими, уже подсыхающими початками на каждом стебле. Сквозь листья тутовых и алычовых деревьев, разбросанных на приусадебном участке, далеким греховным соблазном детства темнели виноградные гроздья.

И вдруг мне почудилось, что скоро я больше никогда не увижу ни этого дыма над абхазской кухней, ни этого сверкающего зеленью травы дворика, ни этой кукурузы за плетнем, ни этих деревьев, притихших под сладкой ношей созревшего винограда. Все это для меня кончится навсегда. Томящая тоска охватила мою душу. <…>

Я взглянул на дядю Сандро и понял, что именно он виновник моих тоскливых предчувствий. Мне захотелось отвести с ним душу, и я, взяв его под руку, отделил от компании. Мы стали прогуливаться по дворику.

– Что-нибудь случилось? – спросил он.

– Мне страшно, дядя Сандро, – сказал я ему откровенно.

– Чего ты боишься? – спросил он

у меня.

– Ох, и попадет мне, дядя Сандро, ох, и попадет мне за то, что я описал твою жизнь! – воскликнул я.

– Мою жизнь? – повторил он с обидчивым недоумением. – Моя жизнь у всей Абхазии на виду. Люди гордятся мной.

– Попадет, – повторил я… – хотя бы за то, что я описал, как Лакоба в присутствии Сталина стрелял по яйцу, стоявшему на голове у повара. Попадет мне за это!

– Глупости, – сказал дядя Сандро, пожимая плечами… – Лакоба был замечательный стрелок, и он всегда попадал по яйцам, а в голову повара никогда не попадал. Вот если бы он попал в голову повара, тогда об этом нельзя было бы писать. <… >

– Ах, дядя Сандро, – сказал я, – они по-другому смотрят на это. Ох, и попадет мне!

– Заладил! – перебил меня дядя Сандро. – Что, КГБ боишься?

– Да, – застенчиво признался я ему.

– Ты прав, КГБ надо бояться, – сказал дядя Сандро, подумав, – но учти, что там сейчас совсем другой марафет. Там сейчас сидят другие люди. Они сами ничего не решают. Это раньше они сами решали. Сейчас они могут задержать человека на два-три дня, а потом. <… >

– Что потом? – не выдержал я.

– Потом они спрашивают у партии, – отвечал дядя Сандро, – а там, внутри партии, сидят специалисты по инженерам, по врачам и по таким, как ты. По разным отраслям. И вот человек из

органов спрашивает у них: «Мы задержали такого-то. Как с ним быть?» А человек из партии смотрит на карточки, которые у него лежат по его отрасли. Он находит карточку этого человека, читает ее и уже все знает о нем. И он им отвечает: «Это очень плохой человек, дайте ему пять лет. А этот человек тоже опасный, но не такой плохой. Дайте ему три года. А этот человек просто дурак! Пугните его и отпустите». Если надо дать человеку большой срок, они туда посылают справку, чтобы документ был. А если маленький срок, скажем два года, – могут просто по телефону сказать.

– Да мне-то от этого не легче, как они там решают, – сказал я, – страшно, дядя Сандро.

Мудрый дядя Сандро вроде бы высказывает ту же мысль, какую хотел выразить я своим рассказом о моей беспечной реакции на звонок *оттуда* . Да, времена уже не те, кое-что действительно изменилось. Но к тому, что описавший его жизнь автор не в силах преодолеть свой страх перед КГБ, он относится не только с пониманием, он это даже одобряет: «Ты прав, КГБ надо бояться!» Только полный болван, не понимающий, в каком он живет царстве-государстве, может не бояться КГБ. И только наглый лгун может делать вид, что у него в душе не осталось и тени этого страха.

И тут, покопавшись в себе и припомнив кое-какие факты и обстоятельства, должен признаться, что таким болваном я все-таки не был.

Самым стыдным из этих припомнившихся мне фактов и обстоятельств было воспоминание о том, как я себя вел и что чувствовал, оказавшись в зале суда во время процесса над Синявским и Даниэлем.

Но тут надо сперва объяснить, как и почему я в том зале оказался.

С Синявским я тогда был знаком шапочно

(нас познакомил однажды в театре, в «Современнике», Аркадий Белинков), а Юлика Даниэля знал хорошо: он был близким другом Шурика Воронеля, с которым мы тогда подружились. Мы часто встречались в одних компаниях. Однажды после какого-то дружеского застолья Юлик даже прочел собравшимся свой рассказ про черного кота – самый, впрочем, невинный из всех его подпольных сочинений.

От Шурика я и узнал о том, что Андрей и Юлик арестованы: он примчался ко мне прямо из КГБ, куда его сразу же потянули в качестве свидетеля, поманил из комнаты на балкон и там шепотом сообщил потрясающую новость. Я спросил его, как он думает: что означает этот арест? Начало новой эпохи? Или это локальный, частный случай? Подумав, он ответил, что частный случай. По этому ответу я сразу понял, что Шурик знает больше, чем рассказал. Да и рассказ Юлика про секретаря райкома, по ночам превращавшегося в черного кота, тут мне припомнился.

А через несколько дней факт ареста Андрея Синявского и Юлия Даниэля, сочинявших пасквильные антисоветские произведения и публиковавших их на Западе под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, стал достоянием гласности. В «Известиях» появилась большая статья некоего Дмитрия Еремина (в справочнике Союза писателей он значился как прозаик, поэт и публицист, но до той известинской статьи я никогда не слышал этого имени) под названием «Перевертыши». Всем было ясно, из какого источника автор черпал материал для этой своей статьи. Точнее – КЕМ эта статья была ему заказана.

Позже статьи этого рода – о Сахарове, Солженицыне, Войновиче, Галиче, Владимове – стали появляться с известной регулярностью, жанр сложился, обрел некие канонические черты и даже получил в нашей среде определенную кличку: «лубянский пассаж».

Но статья Еремина «Перевертыши» была первой ласточкой. Как сразу было отмечено нашими старшими товарищами, она была состряпана в лучших традициях тридцать седьмого года. И это явно диссонировало с веяниями новой эпохи, разоблачившей злоупотребления Сталина и восстановившей, как тогда принято было говорить, «ленинские нормы партийной и государственной жизни».

Обо всем этом и заговорили некоторые смельчаки на

писательском собрании, созванном буквально на следующий день после появления ереминской статьи. Резче всех об этом лубянском пассаже высказалась Любовь Кабо. Она прямо сказала, что от этой статьи на нее повеяло хорошо ей знакомым ароматом тридцать седьмого года.

И вот тут на трибуне появился Виктор Николаевич Ильин.

– Товарищи! – сказал он. – Вы все меня хорошо знаете. Знаете, что я и сам был жертвой тех… – он слегка запнулся, стараясь найти подходящее слово, и тотчас же его нашел, – тех перегибов партийной линии, которые имели место в тридцать седьмом году. Тогда, как вы знаете, репрессиям подвергались ни в чем не повинные люди, честные коммунисты. А тут… У меня в сейфе лежат пасквильные сочинения упомянутых перевертышей. Каждый желающий может зайти ко мне и ознакомиться, чтобы лично, так сказать, убедиться, что тут нет никакой липы…

Речь произвела впечатление. А некоторые мои коллеги, которых я всегда считал своими единомышленниками, искренне осуждали «перевертышей». Одни из них говорили, что можно и нужно, конечно, критиковать наши недостатки, но нехорошо выносить сор из избы. Другие возмущались тем, что в печатных, подцензурных своих сочинениях они писали одно, а в подпольных, отправлявшихся за рубеж, – совсем другое, противоположное.

Так или иначе, но никому из присутствовавших на том бурном собрании не пришло в голову воспользоваться любезным приглашением Виктора Николаевича.

А мне – пришло.

На другой же день я явился к нему в его маленький скромный кабинетик и, вежливо поздоровавшись, сказал, что хотел бы ознакомиться с сочинениями Синявского и Даниэля, которые, как он вчера сказал, именно для этой цели хранятся у него в сейфе.

– А вы есть в списке, утвержденном секретариатом? – спросил он.

– А-а, – сказал я. – У вас есть такой список… Простите, значит, я вас неправильно понял.

И направился к двери.

– Погодите, погодите, куда же вы? – остановил он меня. – Присядьте.

Я присел.

Он некоторое время изучал меня своими буравчиками, что-то прикидывая, соображая. Наконец спросил:

– А зачем вам это?

Вопрос был не такой уж глупый. Он ведь прекрасно понимал: прямо вот так вот взять и сказать, что да, мол, не верю – ни вам,

ни вашим славным органам, ни вашим лживым статьям в газетах, – у меня язык не повернется. А кроме этого, какой еще тут мог быть ответ?

Но ответ у меня был. Я сказал, что мне часто приходится выступать перед молодежью с лекциями о современной советской литературе. Меня наверняка будут спрашивать, кто такие Синявский и Даниэль, что они сделали, за что их арестовали. Как мне на это отвечать? Цитатами из дурно пахнущей статьи Еремина?

– Да, – вздохнул он. – Дмитрий Иванович и сам недоволен своей статьей. Вчера приходил, жаловался. Он-то старался написать как можно доказательнее. Но в редакции ему все цитаты вычеркнули. Нельзя, говорят, предоставлять трибуну врагу…

Он помолчал и вроде как заколебался. Мне даже показалось, что он сейчас встанет, откроет сейф, вынет оттуда тамиздатские книги Синявского и Даниэля и кинет их мне: нате, мол, наслаждайтесь!

Но вместо этого он наклонился ко мне и – почему-то вполголоса – спросил:

– Вы член партии?

Вообще-то ему полагалось бы это знать. Но, видно, слишком много было у него таких, как я, пасомых, чтобы помнить про нас всех.

Я отрицательно покачал головой. И в тот же миг все его колебания (если считать, что они были) кончились. Решение было принято.

Он кратко пересказал мне содержание повести Юлика Даниэля «Говорит Москва!».

По старым понятиям, в которых мы с ним оба были воспитаны, даже этот краткий пересказ тянул на десять лет без права переписки. Но понятия эти были уже отринуты новой эпохой. Поэтому я пробормотал что-то в том смысле, что художественное произведение – не листовка, что высказывания персонажей могут и не выражать точку зрения автора и что гротеск – законный художественный прием. Чтобы выяснить истинный смысл произведения, надо его проанализировать, а для этого прежде всего – прочесть, а не узнать содержание его в чужом пересказе.

Но все эти мои рассуждения не произвели на Виктора Николаевича никакого впечатления.

– Что тут говорить, – заключил он нашу беседу. – Они совершили преступление и понесут соответствующее наказание.

Этой заключительной фразой он ясно дал мне понять, что считает инцидент исчерпанным. Я, разумеется, так не считал.

Как вскоре выяснилось, и он тоже.

по намеченному начальством плану. В газетах появлялись все новые статьи, клеймящие презренных перевертышей. Сочувствующие «перевертышам» писатели либерального толка тоже не молчали. Было сочинено и отправлено в высокие инстанции письмо в их защиту. Подписали это письмо восемьдесят членов нашего союза, в их числе был и я.

Письмо, на мой взгляд, было довольно глупое. Вместо того чтобы объяснить начальству, что писателя за его сочинения можно судить, как учил классик, лишь судом, им самим над собою признанным, члены СП, подписавшие то письмо, заявляли, что готовы взять своих провинившихся коллег *на поруки* (была тогда такая форма: коллектив предприятия мог взять на поруки какого-нибудь проворовавшегося или по пьянке надебоширившего своего члена и тем самым спасти его от тюрьмы). Сочинив и отправив наверх такое письмо, мы как бы признавали вину арестованных писателей перед обществом.

Я назвал это обращение к начальству глупым, но тут проявилась не столько глупость авторов подписанного нами текста, сколько общая, всем нам свойственная *робость* . Казавшаяся тогда, да и не только казавшаяся, но и на самом деле бывшая по тем временам несказанной смелостью. Ведь письмо это было первым в череде последовавших за ним, и каждое последующее было смелее предыдущего. Потом подписанты уже не просили, а – требовали. Что же касается этого – первого – письма, то, будь оно чуть смелее, под ним никогда не поставили бы своих подписей аж целых восемьдесят писателей: хорошо, если бы таких смельчаков набралось с десяток.

Никакого ответа на это наше коллективное послание мы, разумеется, не получили. А Виктор Николаевич Ильин на мой визит к нему все-таки – хоть и с некоторым опозданием – ответил.

– Бен? Здравствуй, – услышал я однажды в телефонной трубке знакомый женский голосок. – Это Инесса…

Инесса была очень милая девушка, исполнявшая в Московском отделении Союза писателей попеременно самые разные секретарские должности.

– У меня тут лежит для тебя конверт. Виктор Николаевич оставил. На твое имя.

– Какой еще конверт? – удивился я.

– Понятия не имею, – сказала Инесса.

– Вскрой и погляди, что там, – предложил я.

– Не имею права. Он запечатан.

– Ладно, зайду как-нибудь, – слегка обескураженный, буркнул я.

– Не как-нибудь, а сегодня, – строго возразила Инесса. – Виктор Николаевич сказал, что это срочно.

Заинтригованный этой срочностью и секретностью, я отправился в союз за таинственным конвертом. Он был на удивление тонок и легок. На ощупь мне даже показалось, что он пуст. Уж не розыгрыш ли? Да нет, не похоже: хорошо мне знакомым аккуратным канцелярским почерком Виктора Николаевича на нем были выведены мои инициалы и фамилия.

В недоумении (что бы все это могло значить?) я надорвал конверт и извлек из него какую-то невзрачную бумажонку. Это был билет на право входа в зал Московского городского суда, в котором завтра должен был начаться *открытый* , как писали об этом газеты, процесс над Синявским и Даниэлем.

Слово «открытый», разумеется, никто всерьез не принимал. Всем, кто, подобно знаменитому зощенковскому герою, присматривался к нашей стране уже не первый год, было совершенно ясно, что без специального пропуска или билета на такой «открытый» процесс не попадешь. А пропуска или билеты получат не абы кто, а люди проверенные, на реакцию которых можно твердо положиться: когда надо молчать, они будут молчать, а когда понадобится, чтобы из зала раздались голоса «Позор!» или еще что-нибудь в том же роде, такие голоса непременно раздадутся.

И вот в число этих «проверенных» попал и я.

Я, конечно, прекрасно понимал, что билет, оставленный мне Виктором Николаевичем, – отнюдь не знак особого его ко мне доверия. Скорее наоборот. Билет был мне дан, так сказать, в назидание. Чтобы я лично убедился, собственными своими глазами поглядел и собственными ушами услышал, как эти «перевертыши», в вину которых я не верил, будут признаваться в совершенных ими преступлениях.

Билет мой, как я понял, внимательно его изучив, давал мне право присутствовать на суде не все отпущенные на него три дня и даже не весь завтрашний день, а всего лишь одно – вечернее – заседание этого первого дня начинавшегося судебного разбирательства. Но и этих нескольких часов мне вполне хватило.

Когда я вошел в еще наполовину пустой зал суда,

Юлик и Андрей уже заняли свои места на скамье подсудимых. Я прошел совсем близко от них: вполне мог бы протянуть и пожать им руки.

Как потом я узнал, на последующих заседаниях некоторые так и делали.

Но я этого не сделал. Я даже не поздоровался с Юликом, который, в отличие от Андрея, глядевшего куда-то вбок, смотрел прямо на меня. Я даже не кивнул ему. Только поглядел многозначительно ему в глаза, стараясь вложить в этот взгляд все, что не решился (мне даже в голову не пришло, что это возможно) сказать ему вслух.

Пять лет спустя, когда Юлик вышел на свободу и мы с ним встретились (не в первую встречу, конечно, а позже, когда эти наши встречи стали постоянными), он однажды не удержался и спросил:

– Бен, а почему вы тогда, в суде, со мной не поздоровались?

Я сказал:

– Страшно было.

Он кивнул:

– Я понимаю.

Но по глазам, по выражению его лица было видно, что ничего он не понимает. Да тут и трудно было что-нибудь понять. Я и сам не понимал, что случилось со мной в ту минуту.

Да, это правда, я не осмелился поздороваться с ним потому, что, когда я проходил мимо него, сидевшего на скамье подсудимых, все мое существо сковал страх. Но ведь когда я ходил к Ильину, и когда подписывал письмо в защиту Юлика и Андрея, и когда ездил вместе с Шуриком Воронелем к Паустовскому и Каверину уговаривать, чтобы и они тоже поставили под тем письмом свои подписи, – я не испытывал никакого страха. И так же не испытывал никакого страха, когда обсуждал по телефону (не сомневаясь, что все наши телефонные разговоры прослушиваются) с тем же Шуриком и с другими нашими общими друзьями и знакомыми, какие еще мы можем предпринять шаги для защиты Синявского и Даниэля.

Обо всем этом Юлик знал: у него ведь были свидания с женой, Ларисой, которая ему про все эти наши хлопоты рассказывала. И именно отсюда этот его изумленный вопрос: «Почему вы тогда со мной не поздоровались?» И ответ мой:

«Страшно было!» – решительно ничего тут не объяснял. А почему, собственно, мне было страшно? Чего я мог бояться? Что наше рукопожатие засекут гэбэшники, которыми битком был набит зал? Так ведь мое отношение к этому суду и без того не было для них секретом! Я ведь выражал это свое отношение *открыто* !

Когда – после разговора с Юликом – я задал этот вопрос самому себе, припомнив и проанализировав тогдашние свои ощущения, я ответил на него примерно так.

В том открытом своем заступничестве за арестованных Юлика и Андрея я (не я один, все мы) подчеркнуто от них дистанцировался. Делал вид, что озабочен вовсе не их судьбой, что волнуют меня во всем этом деле прежде всего интересы – или, лучше сказать, репутация – государства: поступательное движение нашего общества от осужденного партией наследия «культа личности» к восстановлению и торжеству «ленинских норм».

Поздоровавшись с Юликом, я бы нарушил эту дистанцию, и те, кто наблюдал за нами в тот момент (а такие наблюдатели – я в этом не сомневался, – конечно же, были!), сразу увидели бы, что все мои разглагольствования о том, что мною движут исключительно эти высокие, *государственные* соображения, – не что иное, как блеф. Что на самом деле мы с ним (с Юликом) – заодно и заступаюсь я за него потому, что мы – единомышленники.

Поздоровавшись с ним, а тем более обменявшись рукопожатиями, я сразу же *засвечусь* . И не только сам засвечусь, но и брошу тень на всю так ловко сконструированную нами и единственно возможную в тех условиях систему защиты.

Это *рациональное* объяснение моего постыдного поведения, несомненно, отражало реальность тогдашнего моего сознания. Именно эти соображения – скорее даже не соображения, а какие-то обрывки, клочки мыслей – промелькнули тогда в моем парализованном страхом мозгу. Но страх, сковавший меня в тот миг, был *иррационален* . И этот иррациональный, не поддающийся никаким логическим объяснениям, мистический страх не оставлял меня ни на минуту в течение нескольких часов, которые я провел – протомился, промучился – в том зале.

Зал был небольшой,

он мог вместить никак не более сотни зрителей. Но во всем этом зале (так, во всяком случае, казалось мне тогда) я был единственной белой вороной. Все остальные – я в этом не сомневался! – были переодетые гэбэшники.

Это было, конечно, не совсем так. Было в том зале еще несколько – таких же, как я, – отщепенцев, которым билеты были даны (как и мне) *в назидание* . Не говоря уже о сидевших в первом ряду женах подсудимых, усердно записывавших каждое слово. Да и среди других зрителей, запущенных в этот зал, были, наверно, не только гэбэшники, но и какие-нибудь проверенные партийные и комсомольские активисты, передовики-рабочие.

Атмосфера в зале, однако, царила откровенно гэбэшная.

Юлик (то заседание, на котором выпало присутствовать мне, целиком было отдано его допросу) держался великолепно. Свободно, непринужденно, открыто. Более всего меня поразила в его ответах на вопросы прокурора и судьи великолепная реакция.

Прокурор был болван, и на его дуболомные вопросы отвечать было не слишком трудно. Но председательствующий – Лев Смирнов – был слеплен совсем из другого теста. Это была тонкая штучка. Он держался как рафинированный интеллигент. Вкрадчиво, доверительно, чуть ли даже не сочувственно спрашивал:

– Но коли вы не видели в своих занятиях ничего предосудительного, зачем же тогда вы взяли себе псевдо´ним?

И было совершенно очевидно, что слово «псевдоним» он произносит с необычным ударением – на «о» – не потому, что не знает, как правильно надо его произносить, а как раз именно потому, что именно вот такое, необычное ударение считает правильным. И я, даже забыв на мгновение о своем мистическом страхе, задумался: а может, и в самом деле надо говорить не «псевдони´м», а «псевдо´ним», по аналогии с такими словами, как «синоним» или «антоним»…

– Вот вы только что сказали, Даниэль, – продолжал председательствующий в том же доверительном тоне, словно дело происходило не в суде, а на какой-нибудь филологической дискуссии, – что вовлекли в это дело вашу знакомую француженку… Вы ведь писатель, стилист… Вы должны тонко чувствовать не только смысловые, но и эмоциональные оттенки каждого слова. Вам не кажется, что это употребленное вами выражение – «я вовлек» – как бы само уже таит в себе признание, что дело, в которое вы ее вовлекли, – нехорошее дело? Вовлекают

ведь обычно во что-то нехорошее…

– Ну почему же, – мгновенно парировал Юлик. – Я много раз слышал такое, например, выражение: «вовлечь в коллектив»…

По залу прошел легкий гул, в котором мне померещился даже некоторый оттенок одобрения. Но меня тут же отрезвил сидящий рядом со мной гэбэшник. Обернувшись ко мне, он возмущенно прошипел:

– На кого он работает? Неужели здесь, в этом зале, могут быть люди, на которых он работает?!

И новая волна страха окатила меня. Я молчал, вжав голову в плечи, всем своим видом стараясь показать, что это – не я, что даже если здесь, в этом зале, и есть отдельные отщепенцы, на которых «работает» Юлик, так легко и находчиво отбивая блестящие фехтовальные выпады председателя суда, то у меня с такими людьми нет и не может быть ничего общего…

был в 1965-м. А мой телефонный разговор с позвонившим мне кагэбэшником и мой визит к Булату – в начале 70-х.

Много чего произошло за эти годы такого, что постепенно освобождало меня от этого страха.

Не одного меня, конечно.

Но инерция этого старого страха была еще сильна.

...

Вот мне рассказывает поклонник Солженицына. В тот вечер, когда его любимого писателя арестовали, рассказчик ехал в компании своих коллег на такси по Садовому кольцу. Узнав, что пассажиры – писатели, шофер стал спрашивать о Солженицыне. Пассажиры очень хотели просветить рядового читателя.

– Но, – говорит мне рассказчик, – мы же не можем сказать ему прямо. Мы намекаем. Я говорю: «Солженицын? Да, был такой писатель. Где он печатался? Точно сказать не могу».

Оборачиваюсь к одному из своих спутников: «Вы не помните, где печатался Солженицын? Кажется, в каком-то журнале». Он тоже делает озабоченное лицо, морщит лоб: «Да, по-моему, в “Новом мире”».

Поклонник Солженицына явно ждет моего одобрения. Я говорю:

– А почему вы не могли сказать, пусть даже без всякой своей оценки, то, что вы знаете? Что Солженицын печатался в “Новом мире”, что “Иван Денисович” вышел в “Роман-газете” и отдельной книгой, был представлен на Ленинскую премию.

– Ну как же можно?

– Так. Это вам даже ничем не грозило. Вот вы ругаете кого-то, кто выступает с лживой статьей в газете, а сами что делаете? Из ваших слов шофер мог сделать только один вывод: Солженицын никому не известен, даже писатели не знают толком, что он написал и где печатался. Уж лучше б вы вообще ему ничего не говорили.

(Владимир Войнович. Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру)

В первом (зарубежном) издании своей «Иванькиады» имен эти двух своих коллег Войнович (по понятным причинам) не назвал. А сейчас, тридцать лет спустя, переиздавая эту свою старую книгу, уже не счел нужным скрывать их от читателя. Оказалось, что «поклонником Солженицына», побоявшимся сказать таксисту, в каком журнале печатался его любимый автор, была Наташа Ильина. А спутником ее, который отважился совершить этот подвиг, но совершил его, сделав озабоченное лицо и морща лоб, словно не сразу смог вспомнить, – Володя Лакшин.

Это последнее обстоятельство особенно меня изумило. Ведь не было никакой тайны не только в том, что Солженицын печатался в «Новом мире», но даже и в том, что одним из членов редколлегии этого журнала, героически боровшихся за то, чтобы его там печатали, был именно он, Владимир Яковлевич. Что же помешало ему вот так прямо и сказать об этом таксисту? Уж ему-то чего тут было бояться?

То есть как это – чего? А вдруг шофер такси – нарочно подсаженный к ним агент КГБ и невинный вопрос, заданный им пассажирам, когда он узнал, что они писатели, – хорошо спланированная кагэбэшная провокация?

Многочисленным агентам КГБ и в самом деле было тогда поручено выяснять и докладывать о настроениях в писательской среде, вызванных арестом и высылкой Солженицына. На этот счет сохранилось и теперь опубликовано множество документальных тому подтверждений. Так что осторожность, проявленная Ильиной и Лакшиным, быть может, и не была чрезмерной. Им, сотрудникам «Нового мира» (Ильина была там любимым

автором), не хотелось «засвечиваться».

Войнович в свое время тоже был любимым автором «Нового мира». Но ему скрывать своих «настроений» было ни к чему: он ведь перешел Рубикон и эти свои настроения давно уже высказывал открыто.

Что касается новых отношений, сложившихся в то время у КГБ с партией, то надо признать, что картина, нарисованная воображением дяди Сандро, при всей своей наивности довольно верно отражала реальность.

Многие громкие события той поры разворачивались точно по намеченной им схеме.

«Человек партии» звонил по телефону исполнителям партийных решений и говорил:

– Андрей Синявский очень плохой человек, не наш человек. Сам в этом признался. Бороду отпустил, в Бога верит. Дайте ему семь лет… А Юлий Даниэль человек тоже опасный, но не такой опасный. Дайте ему пять лет… А Григорий Свирский просто дурак. Пугните его и отпустите, пусть едет в свой Израиль…

В иных случаях «люди КГБ» и «люди партии» не ограничивались телефонными переговорами, а – в соответствии с тем, как это представлялось дяде Сандро, – обменивались письмами, «чтобы документ был». Тут дядя Сандро тоже как в воду глядел.

Сейчас все эти документы давно уже рассекречены и опубликованы.

Вот – для наглядности – один из них:

…

ЗАПИСКА
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
И ПРОКУРАТУРЫ СССР
Сов. секр.
ОСОБАЯ ПАПКА
ЦК КПСС

Анализируя материалы в отношении Солженицына, а также его произведения, нельзя не прийти к выводу, что мы имеем дело с политическим противником Советского государственного и

общественного строя. <…>

Взвесив все эти обстоятельства, считали бы целесообразным решить вопрос о выдворении Солженицына из пределов Советского государства. <…>

Представляется три возможных варианта:

– при выезде Солженицына в Швецию за получением Нобелевской премии аннулировать визу и запретить ему возвращаться в Советский Союз;

– не препятствовать возможному решению Солженицына к самостоятельному выезду за границу;

– издать Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Солженицына гражданства СССР и принудительном выдворении его за пределы Союза ССР.

Просим рассмотреть.

Андропов, Руденко(Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М., 1994)

Солженицын – это, конечно, случай особый, можно даже сказать – исключительный, уникальный. Но точно такое же письмо тот же Андропов направил Л.И. Брежневу, в котором испрашивал согласие генерального секретаря ЦК на свой вариант решения судьбы уже упоминавшегося мною Григория Свирского, подробно излагал все факты и обстоятельства его антисоветской деятельности и в заключение предлагал позволить ему выехать с семьей на постоянное место жительства в Израиль.

Вред, который нанесла государству эта антисоветская деятельность Свирского, как следовало из того письма, был ничтожно мал. Да и сама фигура Свирского была, мягко говоря, не такой уж значительной. Но вот даже и его судьбу глава КГБ не посмел решать самочинно, испросил согласия главы партии и государства.

Такой у них был порядок.

Но порядок этот распространялся лишь на официальные, как бы

юридически обоснованные способы решения каждой такой время от времени возникающей проблемы, и это отнюдь не означало, что они отказались от других, неофициальных, вполне бандитских.

В мае 1975 года два не очень чиновных,

но и отнюдь не рядовых сотрудника КГБ уговорили Войновича встретиться с ними в одном из номеров гостиницы «Метрополь» для приватной беседы. Как вскоре выяснилось, беседа эта была лишь поводом для встречи, а истинная цель «людей из КГБ» состояла в том, чтобы отравить зарвавшегося диссидента. Не в каком-нибудь там иносказательном, а в самом прямом, буквальном смысле этого слова.

Примерно в то же время (чуть позже) два других бандита из того же ведомства проломили череп моему приятелю и соседу Константину Богатырёву. Случилось это на лестничной площадке Костиного подъезда, прямо перед дверью его квартиры. Удар бутылкой по голове был нанесен профессионалом, и Костя выжил только потому, что у него было не совсем обычное строение черепа. Врачам больницы, куда его отвезли, откровенно дали понять, что если удар этот начисто отбил у него память – ладно уж, пусть живет. Но если кое-что о происшедшем он все-таки сможет припомнить, тогда уж лучше им не стоит особенно усердно бороться за его жизнь. Вняли врачи этому совету или Костю и без того уже невозможно было спасти, но из больницы живым он уже не вышел.

Тут, как вы понимаете, схема дяди Сандро уже не работает.

Никакой «человек из партии», будь это даже сам генеральный секретарь, не мог позвонить по телефону в КГБ и распорядиться: Войновича отравить, а Богатырёву ударом бутылкой по голове размозжить черепную коробку. Ну а уж о том, чтобы дать такое указание в письменном виде, сохранив такой документ – хотя бы даже под грифом «совершенно секретно» и «особая папка», – и вовсе не могло быть и речи.

Но какая-то негласная санкция на операции такого рода, наверно, все-таки была дана. Во всяком случае, это входило в условия их профессии, и тот же дядя Сандро прекрасно это понимал. Потому и сказал племяннику: «Ты прав, КГБ надо бояться».

Заглянув однажды в ЦДЛ,

я наткнулся на знакомого поэта: мы вместе когда-то учились в Литинституте. Поэт этот когда-то подавал надежды. Потом перестал подавать. Опустился, стал пьяницей. Давно уже ничего не писал. Постоянно околачивался в писательском клубе, выклянчивая у знакомых – у кого пятерку, у кого трешку. Вот и сейчас, столкнувшись со мной, он попытался вытянуть из меня хоть рублишко. Но я вынужден был отказать ему, поскольку месяца за два до этой нашей встречи дал ему десятку и он, сильно упившись, сделал попытку выброситься из окна. После этого случая его жена взяла с меня клятву, что я больше никогда, как бы он ни умолял, не дам ему ни копейки.

– Ну ладно, – легко принял он мой отказ. – Тогда хоть пивком угости.

Я купил в буфете две бутылки пива, мы взяли стаканы и присели за свободный столик.

Говорить мне с ним было не о чем, но о чем-то говорить все-таки нужно. Я спросил:

– Ну, что у тебя нового?

Вяло, как-то очень буднично, словно речь шла о самом обыкновенном деле, он сообщил:

– Покушение на меня было.

– Как покушение? – изумился я. Кто мог на него покушаться? Зачем? Кому он был нужен?

Но он – так же буднично, как о чем-то само собой разумеющемся – дал понять, что покушение на него устроили *они* . Те самые *они* , которые когда-то в Болгарии укололи кого-то зонтиком, а совсем недавно чуть не укокошили римского папу. В зонтике, как известно, был смертельный яд. Каким способом собирались убить папу, он не знал. А к нему изобретательные *они* применили особый, до сих пор еще ни разу не применявшийся способ.

– Представляешь, – рассказывал он, – сел я в автобус. И только он тронулся, выбегает на дорогу какая-то баба и кидает прямо под колеса корыто. Ну, самое обыкновенное корыто, в котором стирают. Еще миг, автобус перевернулся бы и – кранты!

– А ты разве один был в том автобусе? – спросил я.

– Какой один! Человек двадцать было.

– Так ведь не только ты, все погибли бы, – сказал я, пытаясь тем самым осторожно намекнуть на некоторую несостоятельность его версии. Но он посмотрел на меня как на несмышленыша:

– А им что, жалко, что ли?

Как ни комичен был этот рассказ забулдыги-поэта, последняя его реплика очень точно отражала реальность.

Зачем им понадобилось травить Войновича, понять было нетрудно. Своим активным противостоянием режиму он торчал у них как кость в горле. Вот кто-то и намекнул, что не худо было бы заткнуть ему рот – сделать инвалидом или даже отправить на тот свет.

Но безобидного Костю Богатырёва, который никакой диссидентской деятельностью не занимался (разве вот только «настроений» своих не скрывал, так их тогда уже многие не скрывали), – его-то зачем понадобилось убивать?

Реплика забулдыги-поэта («А им что, жалко, что ли?») тут не все объясняла.

Цель этого зверского убийства была очевидна. Им надо было припугнуть распоясавшихся интеллигентов – не столько даже тех, кто уже ушел «в диссиденты», сколько сочувствующих им, а может быть, даже и готовых пополнить их ряды.

Намеченной для этой цели жертвой мог стать кто угодно. И никого из тех, на кого мог пасть их выбор, им, конечно, не было жалко.

Костя годился на эту роль, казалось бы, менее, чем любой другой из возможных кандидатов.

Почему же они выбрали именно его?

Можно было, конечно, нанести удар в самое сердце

диссидентского движения – тем же бандитским способом устранить Сахарова или Солженицына. И такие попытки делались. В октябре 1973-го на квартиру Сахарова с угрозой его жизни напали «арабские террористы». Ни у кого не возникло тогда ни малейших сомнений, что никакие арабские террористы тут ни при чем, что операция эта разработана в КГБ и выполнена его агентами. И тем не менее Солженицын счел все-таки нужным поставить все точки над *i* , внеся в это дело уже полную, окончательную ясность: обратился к Андрею Дмитриевичу с открытым письмом (оно тотчас же было напечатано по-английски в “New York Times”), в котором писал:

…

…Я утверждаю, что в нашем отечестве при условии сквозной слежки и подслушивания, какие установлены за Вами, такое покушение невозможно без ведома и поощрения властей. Если б оно было независимым и для властей нежелательным, многочисленным штатам не составляло никакого труда пресечь его перед началом, в полуторачасовом ходе или тотчас по окончании задержать преступников. Посмели б они у нас пошевельнуться, не получив разрешения! – нелепо и подумать знающему наши условия.

Но это – новейший прием. Свободному слову свободного человека – что противопоставить? Аргументов нет, ракеты неприменимы, решетка ущербна для репутации, остается наемный убийца.

Такое же резкое и определенное заявление он сделал, когда

сходная бандитская акция была нацелена в него самого. Сразу на весь мир объявил: знайте, мол, что ни один волос с моей головы не упадет без ведома и участия КГБ.

Нет, с Сахаровым и Солженицыным расправиться таким бандитским способом, как это сделали с Костей, гэбэшники не могли. Даже операцию с отравлением Войновича не решились довести до конца, рассчитывая, что, даже если Войнович осмелится предать это дело гласности, никто ему не поверит: сочтут плодом его больного воображения или разгулявшейся писательской фантазии, очередной войновической сатирой. Многие, кстати, именно так тогда это и восприняли (Мессерер, Аксёнов).

Зверское убийство такого человека, как Костя, представлялось *им* наиболее выигрышным вариантом. С одной стороны, те, кому это их «послание» было адресовано, не могли не понять, кем была совершена эта злодейская акция и зачем. С другой же стороны, ей легко было дать другое, самое простое, бытовое объяснение: пошел в магазин купить бутылку, задрался там с какими-то забулдыгами, они его выследили и кокнули.

Все это, конечно, было шито белыми нитками. Но именно вот такие белые нитки тут и были им нужны.

Спустя годы, когда мы с Войновичем вспоминали Костю и ужасную его смерть, он сказал:

– Я тогда боялся, что они и с тобой что-нибудь такое же сделают.

Вообще-то разделаться таким образом со мной оснований было не меньше, чем с Костей.

Костя мог вызвать раздражение и повышенный интерес органов разве только тем, что позволял себе время от времени посещать Андрея Дмитриевича Сахарова.

Я с Сахаровым в то время был уже знаком: встречался с ним у Войновича, у Галича, а потом – совсем уже часто – у Биргера. Но в гости к нему никогда не ходил.

А вот моя близость с Войновичем могла раздражать их, пожалуй, даже больше, чем Костины визиты к Сахарову.

Войнович называл себя «диссидентом поневоле» и по размаху и масштабу своей диссидентской деятельности, конечно, не мог сравниться с Сахаровым или Солженицыным. Но по некоторым причинам, в суть которых я сейчас вдаваться не буду, был для органов таким же предметом постоянного внимания и неустанных забот, как эти двое.

С результатами этих их забот я сталкивался на каждом шагу, а однажды стал даже непосредственным их виновником.

В то время в Москве было уже трудно с продуктами

Нет, они еще не исчезли совсем с магазинных прилавков, но добывать их с каждым днем становилось все труднее, требовалось все больших усилий, энергии и разного рода ухищрений. Нас (меня и жену) от этих забот избавила наша подруга Ирина Эренбург.

К ней раз в неделю приезжал, как она говорила, ГУМ и привозил, как это тогда называлось, заказ. ГУМ – это была кличка, а звали его Андрей (продукты, которые он привозил, и в самом деле были из ГУМа).

С этим Андреем отношения у Ирины сложились особые: она когда-то продала ему по дешевке старую эренбурговскую машину, и ей он ни в чем не мог отказать. И вот она сосватала нам этого своего Андрея. И он стал нам тоже – за небольшую мзду – раз в неделю привозить картонный ящик, набитый продуктами, в большинстве тогда уже малодоступными. А мы сосватали этого Ирининого (теперь уже и нашего) Андрея Войновичам.

Но Ире и Володе недолго пришлось пользоваться его услугами. После первого же (может быть, не первого, а второго, но точно не третьего, до третьего дело не дошло) его к ним визита при выходе из подъезда Андрея подхватили двое сотрудников известного ведомства, залучили в какой-то укромный уголок и на присущем им языке объяснили, что если он еще раз появится в этом подъезде, то не только лишится своей прибыльной работы, но и вообще костей не соберет.

Не знаю, подтвердили они эту свою угрозу физическими действиями (думаю, что подтвердили), но напугали до смерти.

После этого преподанного ему наглядного урока Андрей не только в войновичевском, но и в нашем подъезде уже не появлялся. А через Ирину нам передал, что мы мало того что нехорошо с ним поступили и сильно его подставили, еще и показали себя в этой истории полными дураками. Делали бы ему двойной заказ, а потом делились бы хоть с теми же Войновичами, хоть бы даже и с самим Сахаровым, и все было бы тип-топ. А после того, как с ним «поговорили», он уж извините – не то что заходить в наш дом, но даже и глядеть в его сторону не станет.

Были и другие эпизоды в том же роде, из которых особенно запомнился мне такой.

В том подъезде, в котором после событий, описанных в войновической «Иванькиаде», поселились Володя с Ирой и

маленькой Олей, жили Шкловские. И Виктора Борисовича довольно часто посещали разные иностранцы. И вот однажды появилась у него молодая славистка-итальянка, привлеченная мировой славой одного из отцов русского формализма и предтеч современного структурализма.

Все было очень мило. Серафима Густавовна состроила чайный стол, Виктор Борисович с приезжей гостьей был ласков, просил при случае заглянуть к нему еще разок-другой. Очарованная русским гостеприимством и еще не остывшая от радости общения с живым классиком итальянка вышла из подъезда… Но не успела сделать и двух шагов, как ей пришлось познать еще одну, совсем другую форму русского гостеприимства. Кто-то сзади шандарахнул ее по голове – нет, наверно, все-таки не бутылкой, а чем-нибудь полегче, – и не такой ласковый, как у Виктора Борисовича, голос объявил ей, что если она еще хоть раз посмеет появиться на квартире у Войновича, то уж тогда так легко не отделается. Сказано это было не по-итальянски, а по-русски. Но главное она поняла (славистка все-таки) и хорошо усвоила.

Двух этих сюжетов, я думаю, довольно, чтобы показать, что близость к Войновичу была тогда, мягко говоря, небезопасна. А мы с ним были, что называется, не разлей вода. Виделись по нескольку раз на дню, благо жили в одном доме.

Когда у Войновича в наказание за какую-то очередную его диссидентскую эскападу отключили телефон, все, кому он бывал нужен, звонили мне. И все разговоры, связанные – прямо или косвенно – с его диссидентской деятельностью, вели по этому моему телефону – не стесняясь, в открытую.

Для примера приведу только один такой разговор, наверно, самый безобидный.

Позвонил Фридрих Горенштейн и с ходу, без лишних предисловий, попросил меня, чтобы я свел его с Войновичем. Я осторожно поинтересовался, на какой предмет он хочет с ним встретиться. Он сказал, что принял твердое решение уехать из страны и хочет попросить Войновича, чтобы тот, пользуясь своими связями, добыл для него вызов из Израиля.

Я сказал, что для этой цели встречаться с Войновичем ему совсем не обязательно, вполне можно обойтись и без него. Закончили мы разговор на том, что давно не виделись, надо бы повидаться. Намек он понял (наверняка его поняли и те, кто слушал этот наш разговор, но тут уж поделать я ничего не мог) и вскоре нанес мне визит, и тут я уже открытым текстом, без всяких намеков, сказал ему, что и без Войновича, своими средствами, вызов из Израиля я ему добуду. Есть, мол, у меня такая

возможность.

Возможность эта состояла в том, что я был хорошо знаком с математиком Виктором Браиловским, главным (после отъезда Саши Воронеля и Марка Азбеля) из остававшихся тогда в Москве борцов за выезд советских евреев на свою «историческую родину». Витя достался мне в наследство от Воронеля, а встречался я с ним у Гены Файбусовича (будущего Бориса Хазанова), с которым они были соседями.

При первой же встрече я передал ему просьбу Фридриха, объяснив, кто он такой и почему к его просьбе надо отнестись с особым вниманием. (Фридрих решил начать наконец публикацию на Западе своих подпольных, хранящихся у друзей романов и повестей, а оставаясь в отечестве на это не отваживался.)

Витя записал с моих слов все данные в свой блокнот. Оставалось ждать.

Но ждать Фридриху было невтерпеж. Спустя три недели он снова позвонил мне и так же – с ходу, ни здрасьте, ни до свиданья – открытым текстом:

– Ну что же там ваши в Израиле? Ну, те, с кем вы имеете дело. Почему они не чешутся? Вы можете им объяснить, что прислать мне вызов надо как можно скорее?

Другие мои телефонные разговоры, связанные с делами Войновича, были не такими простодушными, велись сложными намеками и эвфемизмами и потому были, наверно, даже более опасными.

Еще опаснее были наши дальние поездки – вдвоем – на его машине: то в Запорожье, то в Керчь, где жили (то и дело переезжая с место на место) его родители с младшей его сестренкой Фаиной. У них постоянно возникали какие-то проблемы, иногда связанные с его диссидентской деятельностью, а иногда и не связанные, которые они сами навлекали на свою голову, в чем были большими умельцами. Ездить к ним и по возможности улаживать все эти неурядицы ему было необходимо, а отпускать его в эти дальние поездки одного Ира смертельно боялась, не без оснований опасаясь, что одинокому путнику в автомобиле легко можно устроить какое-нибудь дорожное происшествие с летальным исходом. А если Володя поедет не один, а со мной, думала она, *они* на такое не решатся. Тут она, скорее всего, заблуждалась («Что им, жалко, что ли?»), но так ей было спокойнее.

Было еще много такого в тогдашнем беспечном моем поведении, из-за чего у Володи были основания опасаться, что со мной *они* могут сделать то же, что сделали с Костей.

Что касается меня, то я – по легкомыслию, а отчасти и по

недомыслию – совсем этого не опасался, считая себя слишком мелкой и незначительной фигурой и не понимая, что именно в этом как раз и состояла опасность тогдашнего моего положения.

Оказаться на месте Кости я мог именно потому, что, как и он, был мелкой и незначительной фигурой.

По каким-то своим соображениям *они* выбрали его.

А могли выбрать и меня. «Свободная вещь», как любил говорить Андрей Платонович Платонов.

Сейчас, задним числом, я и сам не понимаю, как я мог тогда этого не бояться. А на самом деле я не то чтобы не боялся, а просто не принимал во внимание возможность применения такого варианта к своей персоне, исходя из самоощущения, суть которого замечательно выразил Иосиф Бродский: «Смерть – это то, что бывает с другими».

А Булат глядел дальше меня. Лучше понимал эту ситуацию.

Собственно, это было даже не понимание, а чувство. Чувствовал же он себя так, словно это ему, а не своему племяннику, описавшему его жизнь, сказал дядя Сандро: «Ты прав. КГБ надо бояться».

Но бояться – не значит превратиться в «тварь дрожащую». Ведь храбрец – не тот, кто не боится, а кто умеет преодолеть, превозмочь свой страх.

Булат это умел. В иных крутых ситуациях вел себя мужественно и даже смело. От того, что считал нужным сделать, не уклонялся.

А чего это ему стоило, что он при этом чувствовал – уже другой вопрос. В чувствах наших мы не вольны, с ними совладать труднее, чем с доводами рассудка.

Мне было легче, чем Булату. Мне не было нужды преодолевать свой страх: у меня его не было. Я жил и чувствовал в точном соответствии с известным присловьем:

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.

Это беспечное жизнеощущение меня не украшает, но оно избавило меня тогда от многих тяжких терзаний и переживаний.

Булату пришлось гораздо труднее, чем мне: оптимисту всегда легче жить, чем пессимисту.

Но разность наших жизнеощущений была не в том, что я по складу характера был оптимистом, а он пессимистом. Дело тут было не в разности наших характеров, а в том, что у нас были разные биографии, разный социальный опыт.

Когда мы с Булатом работали в «литгазете»,

начальники наши (руководители отдела литературы) подолгу на своем месте не задерживались. А однажды пришлось нам даже пережить период довольно длительного безначалия. И тут в один совсем не прекрасный день главный редактор газеты Валерий Алексеевич Косолапов позвал меня к себе в кабинет и официально предложил временно (ну конечно, временно) взять руководство отделом на себя.

Деваться мне было некуда, я согласился.

Так я (к счастью, ненадолго) стал начальником.

И тут, сразу же, разыгрался эпизод, надолго сохранившийся в анналах той старой «Литгазеты», – в сокровищнице тогдашних наших устных преданий.

В первый же день моего начальствования явился ко мне секретарь парткома по кличке Маленький. Кличку эту он получил по причине малого роста, но, быть может, и не только поэтому: во всяком случае, она как-то удивительно хорошо к нему пристала.

Это был довольно пожилой, невзрачный, седоватый человечек в очках. И внешность его, и повадки, да и должность, которую он занимал (под его началом было бюро проверки и вся наша литгазетская библиотека, большинству книг которой полагалось находиться в спецхране), не оставляли сомнений в его прочных служебных связях с нашими славными органами.

До моего выдвижения в начальники мы с ним просто кивали друг другу, встречаясь в коридоре. И были, разумеется, на «вы». А тут, явившись в мой большой начальственный (на заре моей литгазетской деятельности в нем сидел Юрий Бондарев) кабинет, он с ходу перешел на «ты».

– У меня, – начал он, – к тебе серьезный разговор.

Я сообразил, что эта новая моя, хоть и временная, но все-таки начальственная должность как бы сама собой предполагает такое доверительно-партийное обращение, и тотчас принял заданный им тон:

– Слушаю тебя.

– Положение у тебя тяжелое, – продолжил он.

Я кивнул, пребывая в уверенности, что за этим последует набор обычных партийных банальностей: надо, мол, взяться, мобилизоваться, включиться… В общем, все, что у них там полагается говорить в подобных случаях.

Но тут – совершенно для меня неожиданно – разговор принял

другое, сугубо конкретное направление.

– Так вот, учти, – вдруг сказал он. – На хромой лошади ты далеко не уедешь.

Тут я сразу сбился с официального партийного тона:

– А кто это – хромая лошадь? Что вы… Что ты этим хочешь сказать?

– А то, – объяснил он, – что у тебя в отделе один коммунист, и тот Непомнящий!

С этой точки зрения я, признаться, не глядел на трудности, ожидающие меня на моем новом поприще.

У меня и в мыслях никогда не было, что качество работы нашего отдела хоть в какой-то степени зависит от количества и качества имеющейся в нем партийной прослойки. Но Маленький – похоже, не только по своей партийной должности, а вполне искренне – именно из этого исходил в своем понимании стоящих передо мною проблем.

Для меня все, что он говорил, с чем ко мне пришел, было набором пустых фраз, которые полагалось произносить, но не имеющими никакого реального значения и смысла: в жизни эти рычаги давно уже не работали. И сам Маленький поэтому представлялся мне фигурой комической, едва ли не реликтовой. Когда-то, когда эти партийные рычаги еще работали, он, пользуясь ими, видимо, обладал немалой силой. Но теперь все это в прошлом. Время его прошло и уже не вернется.

Жизнь показала, как глубоко я заблуждался.

Система фраз, на которую он опирался, не так скоро, как я предполагал, но все-таки и впрямь ушла, канула. Но у Маленького, помимо партийных, были в запасе еще и другие рычаги.

Вот что я прочел в недавно вышедшей и только что подаренной мне автором – Геннадием Красухиным – книжечке его воспоминаний о Булате.

…

Первый год моей работы в «Литературной газете» оказался последним годом пребывания на посту парторга газеты Евгения Дмитриевича Фёдорова, директора библиотеки, бывшего чекиста, который работал в газете еще вместе с Булатом Окуджавой. О

Булате я вспомнил в связи с тем, что он мне о Фёдорове рассказывал, как тот кому-то отозвался о нем: «А я люблю работать с такими, как Окуджава». «Почему?» – спросили его. «У него жилка надорвана: родителей посадили, слегка потянешь за жилку, и он сам тебе в руки падает!» Знал бы Фёдоров, какими канатными были жилы у Булата!

(Геннадий Красухин. Портрет счастливого человека. Книжечка о Булате. М., 2011)

Что-то в Булате старый чекист опытным своим чекистским взглядом разглядел, «верхним» своим собачьи чутьем учуял. Но силу его сопротивляемости недооценил.

«Канатными» жилы у Булата, конечно, не были. Но в убеждениях своих он был тверд, несгибаем. Умел не поддаться никакому давлению, с какой бы стороны на него ни давили.

Часть вторая

Какое б новое сраженье
ни покачнуло шар земной…

Булат
Окуджава

Биографическую книгу не обязательно начинать

днем рождения героя.

Можно начать с рассказа о его родителях или даже предках. Можно пойти еще дальше, погрузившись в глубь веков и даже тысячелетий, как это сделал Горький, начиная свою так им и не написанную биографию Сталина:

…

Иосиф Сталин-Джугашвили родился в Грузии, стране, которую древне-греческие писатели называли Иверия и Георгия… Грузия расположена за хребтом Кавказских гор, по бассейнам рек Чороха, Риона и Куры. Первые две реки впадают в Черное море, Кура – в Каспийское. Греки именовали Рион – Фазисом, и с этой рекой связана древняя легенда о походе аргонавтов за золотым руном. Легенда эта, вероятно, имеет историческое основание: аджарские горы, один из отростков Кавказского хребта, содержат золото, которое греки промывали, пропуская по коже барана, крупинки золота задерживались шерстью, отсюда – золотое руно. Грузины поселились в Закавказье в VII веке до нашей эры, но история их не говорит, откуда они пришли. Исторические ее памятники уничтожены за время бесчисленных нападений и грабежей Грузии парфянами, персами, войсками Александра Македонского, римского полководца, впоследствии императора Помпея, затем – арабов, снова персов и турок. В общем история этой небольшой, но

прекрасной и богатой страны есть история грабежа ее и различных насилий над нею. В конце XVIII в. царь Грузии и дворянство решили просить защиты у России, и в 1801 г. Грузия была присоединена к владениям русского царя. Этот акт неплохо устраивал грузинское дворянство, но, само собой разумеется, ничем не мог облегчить каторжную жизнь крестьян и ремесленников.

(Максим Горький. Неизданная переписка. М., 2000)

У Горького были свои причины, побудившие его так необычно, из такого далекого далека начать: уж больно не хотелось ему писать биографию вождя, и он изо всех сил оттягивал тот момент, когда неизбежно придется приступить к жизнеописанию героя книги. Но в принципе и такой далекий заход возможен.

Возможен и другой, противоположный путь: начать жизнеописание героя не с начала его жизненного пути, а с середины, с самой значимой для всей его жизни даты. Применительно к Окуджаве такой датой мог бы стать год расстрела его отца и ареста матери (1937) или 22 июня 1941 года – дата, определившая судьбу всего поколения, к которому принадлежал Булат.

Дмитрий Быков свою большую (по меркам серии ЖЗЛ, для которой она была написана, даже огромную) биографию Булата начинает совсем другой датой: с октября 1993 года.

Что же такое случилось в этот день, из-за чего автору книги понадобился такой неожиданный сюжетный кульбит?

…

4 октября 1993 года правительственный кризис в России разрешился расстрелом Белого дома – здания парламента России, где засела оппозиция. Итогом долгого противостояния между президентом Ельциным и вице-президентом Руцким (сторону последнего взял парламент

во главе со спикером Русланом Хасбулатовым) стал указ президента от 21 сентября о роспуске парламента. В ответ парламентарии стали вооружать своих сторонников, стекавшихся к Белому дому не менее активно, чем в августе девяносто первого… Командиром гражданского ополчения, собравшегося у Белого дома, был назначен генерал Альберт Макашов, известный откровенным антисемитизмом… Постепенно российский парламент становился центром сопротивления ельцинизму, в каковое понятие включались грабительские реформы, разнузданность демократических свобод и коррупция, все черты российской революции девяностых.

3 октября оппозиция перешла в наступление. Началась перестрелка с охранниками московской мэрии… В ту субботу Москва превратилась в арену настоящей гражданской войны. Армия отказывалась выполнять приказы… Генерал армии Грачёв (год спустя он прославится бездарнейшим «новогодним» штурмом Грозного) лично выехал в войска. Таманская дивизия после нескольких часов уговоров, шантажа и прямого подкупа двинулась на Москву.

К этому времени повстанцы уже осадили Останкино, грузовиком протаранив стеклянный вход. В районе телецентра всю ночь шла перестрелка. Функционировал единственный телеканал – Российское телевидение, созданное за три года до событий. Оппозиция уже поговаривала о походе на Кремль… В то же время в прямом эфире все того же российского телеканала

выступили «прожекторы перестройки» – создатели и ведущие программы «Взгляд» Александр Любимов и Александр Политковский. Они предложили москвичам спокойно лечь спать и не участвовать в уличных боях; с их точки зрения, такое участие превращало людей в заложников политического противостояния двух заведомо нелегитимных и аморальных сил. Эта надсхваточная позиция у многих вызвала недоумение, но впоследствии оказалась самой дальновидной.

(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)

Здесь что ни слово, то злая неправда.

Даже внешний рисунок хода событий в этом изложении сильно искажен. А уж смысл их, самая их суть – те и вовсе бесконечно далеки от реальности.

На самом деле в основе «правительственного кризиса, разрешившегося расстрелом Белого дома», лежало не противостояние между президентом Ельциным и вице-президентом Руцким, а куда более серьезное и глубокое противостояние между президентом и Верховным Советом. Роль вице-президента Руцкого в этом противостоянии была так же ничтожна, как два года назад роль другого вице-президента – Янаева – в путче ГКЧП.

Защитников Белого дома, съехавшихся (преимущественно из Приднестровья), чтобы принять участие во второй (после путча ГКЧП) попытке коммуно-фашистского реванша, не то что неправомерно, а прямо-таки кощунственно именовать «гражданским ополчением».

Возглавивший это «ополчение» генерал Альберт Макашов действительно был известен своим откровенным антисемитизмом. Но не попытку еврейского погрома он возглавил в тот день, а попытку государственного переворота, главной целью которого было восстановление во всей его красе насквозь прогнившего и только что рухнувшего советского режима.

«У нас не будет ни мэров, ни херов!» – орал он, когда на грузовике во главе банды до зубов вооруженных боевиков мчался в Останкино, чтобы захватить телебашню. Я слышал это своими

ушами и своими глазами видел его перекошенную ненавистью морду, пока экран моего телевизора еще не погас.

Тезис Быкова о «политическом противостоянии двух заведомо нелегитимных и аморальных сил» не только ложен, но и лжив. Это я говорю (пока) не об интерпретации, не об оценке (оценки могут быть разные), а только лишь о фактической стороне дела. Легитимность президента была несопоставимо выше легитимности Верховного Совета. Не столько даже потому, что он был «всенародно избранный», сколько по той куда более важной причине, что народ результатами только что прошедшего тогда референдума недвусмысленно высказался «за Ельцина», решительно и категорично поддержав все его реформы, включая экономические (по терминологии Быкова, «грабительские»), на что тогда даже самые ярые сторонники этих реформ не слишком рассчитывали.

На том референдуме я был наблюдателем от партии Гайдара.

Мы с женой пришли на избирательный участок ни свет ни заря. И тут же появилась первая избирательница – совсем простая женщина, сильно пожилая, можно даже сказать, старуха.

– Я за Ельцина, – с ходу объявила она. – Подскажите, что и где мне тут надо пометить.

Я начал было ей это объяснять, но мне не дали. Вся избирательная комиссия встала на дыбы. В один голос они стали орать, что это нельзя, что в день голосования всякая агитация запрещена. Я пытался втолковать им, что мои намерения объяснить старухе, что ей надлежит сделать, чтобы выразить свою волю, никакой агитацией не являются: как – за кого – она хочет проголосовать, она ведь уже сама объявила. Но члены комиссии тупо стояли на своем.

Старуха не в состоянии была вникнуть в юридические тонкости нашего спора, но общий смысл его поняла хорошо. Повернувшись к длинному столу, за которым нахохлившись как сычи сидели члены комиссии, она крикнула им:

– Все равно не выйдет по-вашему! – И, обернувшись ко мне: – Пусть мужик поработает, верно?

Это – о Ельцине.

А когда пришло время подсчитывать бюллетени и их стали выкладывать на стол – налево те, что за Ельцина, направо те, что за Верховный Совет, – и те, что за Ельцина, горой возвышались над тоненькой стопочкой тех, что за Верховный Совет, – один из членов комиссии горько вздохнул:

– Не хочет народ советской власти!

Такие вот были тогда настроения.

Октябрьский путч 1993 года, эта вторая после августовского

путча 91-го (и тоже провалившаяся) попытка коммунистического реванша, изображается Быковым как восстание народных масс против ненавистного большинству граждан России «ельцинизма», в каковое понятие, как он выражается, «включались грабительские реформы, разнузданность демократических свобод и коррупция, все черты российской революции девяностых».

Нет, харизма Ельцина тогда была еще сильна.

На референдум, который должен был

разрешить противостояние Ельцина с Верховным Советом (он состоялся 25 апреля 1993 года), после долгих споров и согласований были вынесены четыре вопроса.

Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину?

Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года?

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации?

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?

На каждый из них надо было ответить только одним словом: «да» или «нет».

Результат был такой.

На первый вопрос (о доверии президенту) ответивших «да» оказалось 58,7 %.

На второй (одобряете ли социальную и экономическую политику президента) – 53 %.

На третий (о необходимости проведения досрочных выборов президента) – 49,5 %.

И на последний (о необходимости проведения досрочных выборов народных депутатов) – 67,2 %.

За переизбрание президента, стало быть, высказалось меньше половины проголосовавших, а за переизбрание депутатов – около семидесяти процентов.

Вердикт, вынесенный гражданами России, был однозначен.

Президент получил от народа *мандат* на проведение своей социально-экономической политики – не слишком считаясь с позицией (оппозицией) Верховного Совета.

Но он этим мандатом не воспользовался.

Строго говоря, он и не мог им воспользоваться. То есть мог, конечно. Но – не считаясь с главным принципом действующей конституции.

Вся загвоздка тут была в том, что страна жила по старой, советской конституции, в которой прямо и недвусмысленно говорилось, что *«вся полнота власти в стране принадлежит Съезду народных депутатов»* . Между съездами – по той же конституции – этой «всей полнотой власти» наделялся Верховный

Совет.

На деле же – как это всегда бывало в России – пресловутая «вся полнота власти» сосредоточилась в руках тогдашнего председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова.

Он тасовал, как ему заблагорассудится, парламентские комиссии и комитеты, изгоняя из них всех неугодных и заменяя их послушными его воле. Разъезжая по стране, «кидал хрусты налево и направо», по собственному хотению распределяя кредиты и субсидии между регионами и отраслями. Устраивал «селекторные совещания» с руководителями муниципалитетов всех уровней, устанавливая некую властную вертикаль. И постепенно вживался в роль маленького Сталина, даже трубку себе завел, которую – не без намека на роль законного преемника «кремлевского горца» – кокетливо демонстрировал телезрителям. О Ельцине же не стесняясь говорил, что роль его должна быть сведена к приему иностранных послов и вручению орденов и медалей.

После того как стали известны результаты референдума, он какое-то время пребывал в некоторой растерянности. Но Ельцин, как уже было сказано, полученным от народа мандатом не воспользовался – медлил, тянул, ничего не предпринимал, на конституцию (хоть она и была советская) не посягал. Он был повязан своим демократическим имиджем. И тем самым дал возможность Хасбулатову собраться с силами. Потянулись до зубов вооруженные боевики, которых Быков деликатно именует повстанцами. И, поскольку Ельцин не реагировал, Хасбулатов стал его провоцировать.

Однажды – я сам это видел на экране телевизора, – заговорив о президенте, щелкнул пальцами около горла: стоит ли, мол, обращать внимание на то, что там болтает этот старый пьяница.

Когда терпение Ельцина лопнуло и он наконец решился на разгон Верховного Совета, момент для этого был им выбран самый неудачный. Все его соратники (включая Гайдара) были тогда против подписания этого указа. Но решение было им уже принято.

Во время августовского путча 1991 года

между Верховным Советом и только что избранным президентом России (тогда еще – РСФСР) были совет да любовь. Ельцина единодушно и горячо поддерживали тогда не только бывшие в то время его ближайшими соратниками Хасбулатов и Руцкой, но и все – до одного – депутаты.

Опьяненные этой новой ролью Верховного Совета в жизни страны, мы стали именовать его «парламентом», депутатов – «парламентариями», а председателя – «спикером». И к этим наименованиям так привыкли, что, когда спустя два года, осенью 93-го, эти «парламентарии» стали путчистами и Ельцину, чтобы подавить новый путч, пришлось прибегнуть к силе, формула «президент расстрелял парламент» далеко не всем тогда резала слух. Она стала общеупотребительной и мелькала даже на страницах демократической печати. Мало кто ощущал тогда, что она насквозь лжива и демагогична: во-первых, потому что Верховный Совет не был парламентом, а во-вторых, потому что, после того как по Белому дому были произведены десять выстрелов – не боевыми снарядами, а болванками (два снаряда были зажигательными, они и вызвали в верхних этажах здания пожар), – ни одни волос не упал с головы ни одного депутата.

И вот теперь, двадцать лет спустя, Дмитрий Быков, что называется, на голубом глазу повторяет – как нечто само собой разумеющееся – эту старую, затасканную, фальшивую формулу.

Что говорить, Ельцин выполнил тогдашнюю свою роль крайне неуклюже. Немало у нас к нему и других, куда более серьезных претензий. Но в тот момент этими своими неуклюжими действиями он спас страну от уже готовой разразиться гражданской войны.

В сущности, Быков тут только подхватил то, что с легкой руки нынешней нашей власти принято теперь поминутно повторять про «лихие девяностые».

Много чего можно было бы сказать по этому поводу. Но развивать эту тему я не буду. Хватит с меня того, что я усердно (и пылко) занимался ею тогда, двадцать лет назад. А сейчас не потратил бы на этот сюжет и тех немногих страниц, которые мне все-таки пришлось ему уделить, если бы он не изображался Быковым как совершенно необходимый для понимания самого главного в жизни и судьбе – не только человеческой, но и поэтической – Булата Окуджавы.

Посмотрим же, как он это объясняет.

Начинает он с того,

что проводит прямую параллель между событиями осени 1993 года и тем, что случилось с Россией осенью 1917-го. И – в соответствии с этим – между той позицией, которую в 1917-м занял Блок, а в 1993-м – Булат Окуджава.

...

В российской двухактной пьесе, заново сыгранной в 1991–1993 годах (предпоследнее представление дано было в феврале – октябре семнадцатого), в роли большевиков, захвативших власть и теперь подавлявших любое сопротивление, выступала главная движущая сила новой революции.

В этой пьесе есть одна из самых трагических ролей – роль Поэта, берущего сторону победившей стороны. В семнадцатом ее сыграл Александр Блок, в девяносто третьем – Булат Окуджава.

В семнадцатом Блок сказал Гиппиус, что видит за большевиками не только силу, но и правду; в восемнадцатом напечатал «Двенадцать», а на анкетный вопрос, может ли интеллигенция работать с большевиками, ответил коротко: «Может и должна»…

4 октября 1993 года Булат Окуджава подписал «письмо сорока двух» с поддержкой и одобрением действий власти…

Мы не случайно начали эту книгу с разговора о последнем ярком общественном событии в жизни Окуджавы. Именно 1993 год предопределил его дальнейшую, да отчасти и посмертную судьбу; этот

год был закономерным итогом его пути, в какой-то мере его венцом, а в какой-то – крахом… Окуджава был своеобразной реинкарнацией Александра Блока.

(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)

Трудно удержаться тут от того, чтобы не вспомнить знаменитую реплику бывшего нашего вождя: «Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна».

Но в наше время ссылки на этого автора годятся только для фельетона. А я пишу не фельетон, и автор книги, о которой идет речь, относится к этой своей концепции так серьезно и уделил рассмотрению ее так много времени и места, что поневоле придется и мне отнестись к ней с подобающей серьезностью.

По мысли Быкова, Окуджава и как поэт был «реинкарнацией Блока». Эту свою параллель он тоже рассматривает подробно, отыскивая и, как ему кажется, находя все новые и новые подтверждения в сопоставлении отдельных стихов и строк, в сладкозвучии, музыкальности и т. п.

Все это тоже представляется мне весьма сомнительным. Но тут влезать в полемику я не стану (я ведь не статью пишу и не рецензию на быковскую биографию Булата).

Остановлюсь на том, в чем Быков видит природу их общей (и Блока, и Окуджавы) общественной и человеческой драмы, приведшей обоих к одному и тому же трагическому финалу:

…

В 1993 году Окуджава в первый и единственный раз в жизни выступил на стороне государства – он, сказавший: «Власть – администрация, а не божество». На этой гражданской войне он и погиб четыре года спустя, отправившись в европейскую поездку и заразившись гриппом от Льва Копелева, который пережил его на две недели. Лет ему было не так уж много по нынешним меркам – семьдесят три; он много болел, но был еще крепок. Надломила

его смерть старшего сына, умершего в сорокатрехлетнем возрасте в январе 1997 года, но надлом чувствовался с октября девяносто третьего – тут ошибиться трудно. Правда, в отличие от Блока, Окуджава продолжал писать стихи. Но эти стихи, написанные с 1993 по 1996 год, не нравились ему самому. Причин было много: возраст, болезнь, ощущение тупика и компрометации всех прежних ценностей.

(Там же)

Получается, что трагическая вина Булата (как и Блока), за которую он (как и Блок) расплатился сперва духовной, а вскоре (как и Блок, через четыре года) и физической гибелью, состояла в том, что он (как и Блок) встал на сторону победителей. («В этой пьесе есть одна из самых трагических ролей – роль Поэта, берущего сторону победившей стороны».)

Надо сказать, что с Блоком тут тоже дело обстояло не так просто. После «Двенадцати», статей, в которых он призывал слушать «музыку революции», и недвусмысленного его ответа на анкетный вопрос, может ли интеллигенция работать с большевиками («Может и должна»), он написал дивные стихи «Пушкинскому дому» и произнес свою гениальную пушкинскую речь. Но что касается Булата, то его уж никак нельзя обвинить в том, что в событиях 1993 года он взял «сторону победившей стороны». Скорее тут можно сказать, что «победившая сторона» была тогда на его стороне и совершила наконец то, чего он хотел, чего от нее требовал.

В апреле, когда было еще совсем не ясно, кто в той схватке окажется победителем, он откликнулся на происходящее такой эпиграммой:

Конечно, я во многом виноват:
ну, проглядел, такой уж я бездарный…
Но если Хасбулатов – демократ,
То лучше уж режим тоталитарный!

И в том же апреле – таким коротеньким стихотвореньицем:

На митинге народных

депутатов,
которым управляет Хасбулатов,
не так все просто сердцу и уму:
шумит толпа уездных корифеев,
не то секретарей, не то лакеев,
и, между прочим, даже не евреев,
и нашенских по духу своему.
Кто ведал, что у кухни коммунальной
такой прицел расчетливый и дальний!
Такой финал почти что криминальный!
А ведь она была совсем одна…
И нам нужны не эти развлеченья
по азбуке марксистского ученья —
а долгое и трудное леченье…
Нам помощь медицинская нужна.

Оказалось, что «медицинская помощь», к которой взывал Булат, не смогла справиться с очередным обострением нашей застарелой национальной болезни терапевтическими средствами: потребовалось хирургическое вмешательство.

Вернемся, однако, к параллели «Блок – Окуджава»

Чем дальше, тем больше обрастает она у Быкова все новыми и новыми фактами и подробностями, подтверждающими не то что сходство, а прямо-таки тождество судьбы обоих поэтов:

...

> *После «Двенадцати» многие перестали подавать Блоку руку. После «письма сорока двух» и интервью, которое дал Окуджава члену московского КСП Андрею Крылову, – понятого многими как одобрение применения силы – на минских гастролях поэту устроили настоящую обструкцию, а прекрасный артист Владимир Гостюхин – человек умеренно-патриотических убеждений – публично сломал и истоптал ногами пластинку его песен.*
>
> *(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)*

Быков прямо не солидаризируется с этим поступком «прекрасного артиста и умеренного патриота», но, безусловно, ему сочувствует. Во всяком случае, относится к нему с пониманием, как если бы речь шла о читателях и почитателях Гамсуна, швырявших под ноги бывшему своему кумиру его книги после того, как тот заявил о своей солидарности с идеями нацизма.

Об интервью, которое Булат дал Андрею Крылову, Быков высказывается с некоторой осторожностью: оно, мол, многими *было понято* как одобрение применения силы. А было ли таковым на самом деле? Бог весть!

Что же касается «письма сорока двух», то насчет него у Быкова нет и тени сомнений. Сколько бы раз ни упоминал он это письмо, смысл его неизменно трактуется им однозначно:

...

4 октября 1993 года Булат Окуджава подписал «письмо сорока двух» с поддержкой и одобрением действий власти.

4 октября – Окуджава подписывает «письмо сорока двух», поддерживающее силовые действия власти против оппозиции. (Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)

Быков письма не приводит, даже в выдержках и отрывках его не цитирует, хотя при известной ловкости рук, наверно, можно было бы изобразить дело так, что весь его смысл, самая его суть состояли в том, чтобы поддержать и одобрить силовые действия власти. Но, чтобы понять истинную цель, которую преследовали написавшие и подписавшие это письмо, надо его прочесть.

Что мы с вами сейчас и сделаем.

...

Нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3 октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости, – фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну, ну а если бы вдруг?.. Нам некого было бы винить, кроме самих себя. Мы «жалостливо» умоляли после августовского путча не «мстить», не «наказывать», не «запрещать», не «закрывать», не «заниматься поисками ведьм». Нам очень хотелось быть добрыми,

великодушными, терпимыми. Добрыми. <…> К кому? К убийцам? Терпимыми. <…> К чему? К фашизму?

И «ведьмы», а вернее – красно-коричневые оборотни, наглея от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать. <…> Что тут говорить? Хватит говорить. <…> Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?

Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровным их палачам переполняет наши (как, наверное, и ваши) сердца. Но… хватит! Мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии и дальше зависела от воли кучки идеологических пройдох и политических авантюристов.

Мы должны на этот раз жестко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали.

1. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента.

2. Все незаконные военизированные, а тем более

вооруженные объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны (с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому обязывает закон).

3. Законодательство, предусматривающее жесткие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти, за призывы к насилию и жестокости, должно наконец заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступлениям, должны незамедлительно отстраняться от работы.

4. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывавшие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одними из главных организаторов и виновников происшедшей трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие как «День», «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия» (а также телепрограмма «600 секунд») и ряд других, должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты.

5. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена.

6. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют «судом над ГКЧП».

7. Признать нелегитимными не только съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образованные ими органы (в том

числе и Конституционный суд).

История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды!

(Известия. 1993. 5 октября)

Совершенно очевидно, что главная цель этого обращения видных деятелей культуры к правительству и президенту состояла не в том, чтобы одобрить и поддержать их «мудрые» действия, а совсем напротив – осудить их за то, что действовали они так нерешительно и неуклюже. А главное – *потребовать* от них не останавливаться на полпути, не повторять прошлых своих ошибок.

И требование это было выражено в самой недвусмысленной и резкой форме:

...

Мы должны на этот раз жестко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали.

К слову сказать, не сделали и потом, «письмо сорока двух» так и осталось гласом вопиющего в пустыне: закоперщики как первого, так и второго путча были амнистированы и как ни в чем не бывало вернулись к прежней своей политической деятельности.

Этот – главный – смысл «Письма сорока двух»,

конечно, не мог быть Быковым не замечен. И если он его игнорирует, то не потому, что хочет придать письму не тот смысл, какой оно в себе несет, то есть исказить его. Тут все дело в том, что этот протестный смысл не меняет отрицательного и даже иронического отношения Быкова к самой идее вмешательства в этот «спор славян между собою»: что на той, что на этой стороне – не все ли равно, одна ведь шайка-лейка.

Что дело обстоит именно таким образом, подтверждает такой – совершено неожиданный – его пируэт:

…

…Его – Булата. – Б.С. – отец вовсе не был партийным догматиком и даже оказался в оппозиции. К осени 1923 года относится роковой для Шалвы Окуджавы эпизод – его участие в дискуссиях вокруг письма Троцкого к ЦК и ЦКК от 8 октября и его декабрьской статьи «Новый курс».

В «Упраздненном театре» и в многочисленных интервью, где Окуджава говорил об отце, об этой истории мы не найдем ни слова. Между тем эпизод был шумный, ключевой для советской истории двадцатых годов. Осень 1923 года показалась Троцкому удобным временем для атаки на Сталина – и он выступил с двумя письмами, содержавшими справедливые упреки, но преследовавшими личные цели. Ослабление собственного влияния Троцкий отождествил с бюрократизацией партии, с прекращением в ней дискуссий, с отсутствием ярких личностей и сильных теоретиков в партийном

руководстве. Очень может быть, что сам он был личностью значительно более яркой, чем большинство партийных вождей; нет сомнений, что как публицист он был талантливее всего ЦК вместе взятого, а как организатор – эффективнее, хотя цена этой эффективности известна. Трудно сомневаться лишь в том, что в случае победы Троцкого свобода дискуссий подверглась бы такому же риску; еще трудней допустить, что «перманентная революция» с ее непрерывным стрессом и непрерывными же репрессиями оказалась бы большим благом для России, чем исподволь проводившаяся Сталиным реставрация империи. Октябрьский объединенный пленум ЦК и ЦКК признал многие обвинения, высказанные Троцким, справедливыми, но само письмо объявил «фракционным». Вскоре появилось и «письмо сорока шести», в котором старые партийцы (Преображенский, Серебряков, Пятаков) поддержали тезисы наркомвоенмора.

Жизненная драма Окуджавы началась – еще до его рождения – с «письма сорока шести» и закончилась «письмом сорока двух»; хоть бы что-нибудь менялось, о Господи!

(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)

Вот как глубоко он копнул.

Не только «реинкарнацией» Блока, оказывается, был Булат, но еще и «реинкарнацией» Троцкого. Подписать «письмо сорока двух» он был обречен уже потому, что *задолго до его рождения* его отец подписал «письмо сорока шести». Это, значит, было тяготевшее над ним *родовое проклятие* .

Но тут возникает такой вопрос.

А как же другие подписавшие «письмо сорока двух»?

Они-то почему его подписали?

Про Беллу Ахмадулину, Юрия Левитанского, Григория Поженяна, Роберта Рождественского, допустим, с некоторой натяжкой, но тоже можно сказать, что и они были в какой-то мере «реинкарнацией» Блока: поэты как-никак! Но ни Даниил Гранин, ни Дмитрий Сергеевич Лихачёв, ни Виктор Астафьев «реинкарнацией» Блока точно не были. Как, впрочем, и «реинкарнацией» Троцкого (или Преображенского, Сокольникова, Пятакова). Их-то почему повело в эту сторону?

У Быкова есть свое объяснение этой загадки.

…

> *В заложниках у власти, так уж получилось, ходила тогда вся российская интеллигенция. Она ела у этой власти с рук (это можно сказать почти обо всех, исключения единичны). Эта власть защищала ее – в том числе и танками. Эта власть фактически купила ее на свободу – слова, печати, совести и отсутствия таковой – и теперь держала на этой свободе, как на вживленном в тело крючке.*
>
> *(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)*

Слово «купила» не кажется мне тут удачным. Но можно сказать и так. Допустим, купила. Но цена – это надо признать – предложена была хорошая.

А что, собственно, еще нужно интеллигентам в этой жизни, если не свобода слова, печати, совести? (Особенно после многовекового отсутствия таковой.) Тут можно было и «купиться».

Но и те, кто «купился», очень быстро в этой власти, которая «держала их на крючке», разочаровались.

В наиболее отчетливой и резкой форме

это разочарование выплеснулось тогда в статье Юрия Буртина «Чужая власть», появившейся 1 декабря 1992 года на страницах «Независимой газеты». Пафос этой статьи как нельзя более точно выразился в ее заглавии: думали, мол, надеялись, что своя, а оказалось – чужая.

Речь в ней шла не столько о власти «нардепов» всех уровней (тут-то все ясно, даже и спорить не о чем), сколько именно об исполнительной власти. О президенте и его ближайшем окружении, о правительстве, тогда еще возглавлявшемся Егором Гайдаром. Именно *эту* власть с искренней болью и горечью автор называл чужой.

Увы, у него для этого было более чем достаточно оснований.

Оперируя множеством неопровержимых фактов, Юрий Буртин доказывал, что, вопреки всем своим уверениям, нынешнее российское руководство своей политикой выражает интересы не народа, а той же привилегированной и наиболее обеспеченной *части* населения страны, интересы которой выражали раньше Горбачев, а до него – Черненко, Андропов, Брежнев…

То, что «мы считали досадными непоследовательностями и ошибками, в чем видели случайность, оплошность, – говорил автор статьи, – есть на самом деле политика. Чужая политика чужой власти».

Особенно спорить с этим не приходилось. Из всех тезисов статьи Юрия Буртина по-настоящему сомнительным мне представлялся тогда только один. А именно – его утверждение, будто никакой принципиальной разницы между так называемым правительством реформ и постоянно атакующим его реакционным Верховным Советом нету и в помине. «И те и другие, – утверждает он, – в сущности, консерваторы, защитники преобладания госсобственности и интересов правящего слоя».

С этим выводом можно было бы и поспорить.

Но не выводы и не политико-экономические рассуждения Буртина вынудили меня вспомнить сейчас ту давнюю статью, а пронизывавшее ее горестное сознание обманутых надежд, вдребезги разбившихся иллюзий.

Само ее название – «чужая власть» —

отнюдь не было спокойной констатацией некоего несомненного факта. Это был горестный вопль обманувшегося в своих ожиданиях человека: «Мы-то верили, что *своя* . А оказалось… Чужая, совсем чужая…» Так говорит обманутый любовник о разлюбившей его женщине. Обида, которая, сродни чувствам обманутого любовника, пронизывала ту статью Буртина от первой до последней строки, от заглавия до заключающего ее пассажа:

…

> *«Чужая власть» не станет вновь «нашей», как бы трогательно и убедительно мы ни просили ее об этом, как бы преданно ни заглядывали ей в глаза.*

О том, что *«наша»* власть *«нам»* изменила, Буртин говорил в тех же выражениях и с той же интонацией, с какой мужчина говорит об измене женщины, еще недавно клявшейся ему в вечной любви и вдруг отдавшей свое сердце другому. И ревность его к тем, с кем новая власть, которую *«мы»* считали своей, *«нам»* изменила, в существе своем неотличима от самой обыкновенной мужской ревности. Вот, например, говоря о холодности и невнимательности властей в запросам и требованиям истинных демократов, Буртин вдруг ревниво уронил:

…

> *Зато сколь внимательна та же власть к солидному молчанию г-на Вольского, как предупредительна и уступчива она по отношению к генеральскому, председательскому и директорскому лобби!*

Этот ревнивый упрек был подобен горестному возгласу Чацкого, терзаемого ревностью к ничтожному Молчалину: «Но, Боже мой, кого вы предпочли!»

Тут эмоции автора были выражены еще не прямо. Пока они еще в подтексте его невеселых размышлений. Но эти упреки то и дело прорывались и в самый текст его статьи. И тут уж автор не скрывал своих чувств, тут он давал себе полную волю, не стесняясь напомнить покинувшей его возлюбленной о прекрасной заре их любви, о пылких клятвах и обещаниях, которые они тогда давали друг другу:

...

> *Вспоминаю августовские дни прошлого года, сначала мучительно тревожные, затем исполненные радостного подъема. Впервые в своей жизни мы испытали тогда чувство полного единения с высшими руководителями России. Мы не хотели вспоминать ничего из того, что прежде ставили им в упрек. Мы любовались, мы гордились ими. Это были наши боевые товарищи, это была – можно ли было сомневаться? – народная, демократическая, наша власть! Такой полнотой общественного доверия не располагало, наверное, ни одно правительство на Руси. И надо же было суметь растратить его за столь короткий срок!*

Этот последний упрек, хоть и нес в себе отчетливый политический смысл, таил все ту же обиду. «Так быстро! Клялась ведь, что наша любовь – навеки! И вот… башмаков еще не износила…»

Мысль, что на самом деле его никто не обманывал, что он *сам обманулся* , потому что *хотел быть обманутым* , ему, как и всякому обманутому любовнику, в голову не приходила.

Эта статья Буртина так сильно меня тогда зацепила,

что я на нее сразу же и ответил. И тот мой ответ так ярко выражает самую суть тогдашних моих мыслей и настроений, что я вряд ли смогу сегодня передать их лучше, яснее и точнее.

«Народ и власть стали друг другу чужими», – цитировал я Буртина. И тут же вцеплялся в него мертвой хваткой:

…

Вся соль тут – в этом коротеньком словечке: ***стали*** *. Раньше, стало быть, совсем недавно, народ и вот эта самая власть были едины в своих стремлениях и надеждах.*

Но так ли это?

Не следует думать, что даже самые активные защитники этой новой власти, рисковавшие, защищая ее, своей жизнью, пришли к Белому дому, чтобы заслонить своей грудью Ельцина, или Хасбулатова, или Руцкого. Они пришли туда, чтобы ***защитить себя*** *. Потому что твердо знали: победа путчистов означала бы возврат к старому. А это было для них (для нас!) – подобно смерти.*

Хочу напомнить, что люди, собравшиеся на митинг у Белого дома утром 20 августа, защищали не только Ельцина, но и Горбачёва. Того самого Горбачёва, которому еще совсем недавно они кидали в лицо (на всех предыдущих митингах) свое яростное: «В отставку! В отставку!» И едва ли не горячее всех защищала тогда Горбачёва Елена Георгиевна Боннэр, которая лучше, чем кто

другой, знала ему цену.

Защищая тогда Ельцина и Горбачёва, мы понимали (а кто не осознавал, тот чувствовал), что находимся в ситуации, поразительно похожей на фантастический кошмар Рэя Брэдбери, когда человек, оказавшийся в далеком прошлом и случайно раздавивший там какую-то бабочку, вернувшись в ***свое время*** *, очутился в совершенно другой, не привычно демократической, а –* ***фашистской стране*** *.*

Для сограждан Рэя Брэдбери это жуткая, неправдоподобная фантасмагория. Для нас, увы, – самая что ни на есть доподлинная реальность.

В ***нормальных*** *странах выбор между тем или иным президентом или премьером собственно для жизни обывателя мало что значит. Выберут Буша или Клинтона, останется премьером Маргарет Тэтчер или им станет Мейджор, в его (обывателя) повседневной жизни это мало что изменит.*

У нас в те «судьбоносные», как тогда говорилось, три дня это был выбор ***между жизнью и смертью*** *.*

Но разве только тогда, между 19 и 21 августа, это было так? Разве не тот же роковой выбор маячит перед нами ***всю дорогу*** *? Победит Бухарин – крестьянам скажут: «Обогащайтесь!» И это значит – жизнь. Победит Сталин – и тех, кого вчера еще приглашали обогащаться, повезут в телячьих вагонах с женами, стариками и малыми детьми на верную гибель.*

Примерно так же и сегодня. Победит Ельцин – сохранится надежда, что хоть когда-нибудь

станем жить как люди. Одержит верх Хасбулатов со всеми этими Бабуриными, Стерлиговыми, Астафьевыми и Аксючицами – окажемся там же, где очутился герой рассказа Брэдбери, воротившийся из своего путешествия в прошлое.

Вот почему мы ***обречены*** *не только сочувствовать власти нынешнего нашего президента, но и всячески ее поддерживать.*

Но сочувствовать и даже поддерживать эту власть – вовсе не значит отождествлять себя с нею и обижаться, когда вдруг – вот те на! – выясняется, что на самом деле она нам ***не своя*** *, не «родная». Тем более что выясняется это вовсе* ***не вдруг*** *. Разве в те роковые «три дня» эта только еще становящаяся на ноги власть так-таки уж была нам* ***своей*** *? Разве не испытали мы острое чувство стыда, когда «народный избранник» Г.Х. Попов предложил присвоить Ельцину звание Героя Советского Союза? И разве не покоробило нас, когда тем же «высоким званием», коего был некогда удостоен Гамаль Абдель Насер, наградили посмертно трех ребят, погибших под танками на улицах Москвы? И разве то, что эта новая власть –* ***чужая*** *нам, не стало особенно ясно уже тогда, когда она расчетливо кинула разбушевавшемуся народу «железного Феликса», бережно сохранив (а потом еще и укрепив) зловещее Феликсово детище? А неоднократные тогдашние уклончивые и даже одобрительные публичные высказывания нового президента об обществе «Память»?*

Вольно было Буртину тогда испытывать «чувство полного, – как он говорит, – единения с высшими руководителями России». На всякого мудреца довольно простоты. Но обижаться теперь ему следует ***на себя*** *. На свое прекраснодушие. На свою наивность, а не на этих «высших руководителей», которые – какими были, такими и остались.*

(Бенедикт Сарнов. И где опустишь ты копыта? М., 2007)

Споры о том, как относиться к власти, следует ли интеллигенту защищать ее, поддерживать, сотрудничать с ней, – эти споры шли тогда во всех московских кухнях, и я неизменно принимал в них самое горячее участие. Едва только вспыхивал такой спор, как я заводился, что называется, с полуоборота. Причем – в любую сторону.

Если мои собеседники доказывали, что сочувствовать власти и поддерживать ее ни в коем случае нельзя, я орал, что в иные исторические моменты, как, например, сейчас, не только можно, но и нужно. И вспоминал Булата, который наслаждался, когда Хасбулатова, Руцкого и Макашова выводили из Белого дома под конвоем. И не уставал повторять, что и сам с наслаждением наблюдал эту картину.

Если же мои собеседники утверждали, что нынешнюю власть нужно не только поддерживать и защищать, но и самим нам «идти во власть», если позовут, я с той же страстью доказывал, что нет, ни в коем случае, потому что «власть отвратительна, как руки брадобрея». И если кто-нибудь говорил (а такие всегда находились), что не понимает смысла этой затейливой мандельштамовской метафоры («при чем тут брадобрей и его руки?»), отвечал, что брадобрей этот им хорошо известен и я даже могу назвать его по имени и отчеству. Снимал с полки том Гоголя, открывал его на заранее заложенной странице и читал:

…

Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «у тебя, Иван

Яковлевич, вечно воняют руки!», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «отчего ж бы им вонять?» – «не знаю, братец, только воняют», говорил коллежский асессор…

(Н.В. Гоголь. Нос. Полное собрание сочинений. М., 1938)

Захлопнув тяжелый гоголевский том, я бережно ставил его на полку и, торжествуя, заключал:

– Вот почему нельзя идти во власть. Потому что власть – всякая власть! – воняет.

Один из таких постоянных наших споров

выплеснулся на газетную полосу. Рубрика, под заглавием которой он был помещен, называлась «Без пиджаков». Придумал эту рубрику работавший тогда в «Литгазете» мой друг Алик Борин. «Без пиджаков» – это означало, что разговор будет свободный, не стесненный никакими церемониями, предельно откровенный, чему немало будет способствовать то обстоятельство, что принимающие участие в нем – старые друзья, которые давно уже на «ты» и не станут скрывать друг от друга самые тайные и даже стыдные свои мысли.

Этих бесед «без пиджаков» в газете появилось всего три. В одной из них Алик разговаривал со своими друзьями Эльдаром Рязановым и Александром Ширвиндтом, в другой – с Гайдарами (отцом и сыном), а в третьей (по счету она была второй) со мною и Войновичем.

Разговор этот мы вели той самой осенью 1993 года, когда тема расстрела Белого дома была еще свежа и нам было ее не миновать.

Но всплыла она не сразу.

То есть – сразу, но не впрямую.

– Идти ли, – начал Алик, – интеллигенту во власть, даже если власть сегодня уже не та, не брежневская, а своя, достаточно близкая тебе, и ты ее принимаешь, ты ей сочувствуешь?

И тут я сразу выскочил первым.

...

Бенедикт САРНОВ. *Между нами и властью всегда существовала дистанция. В самые несвободные времена мы были от этой власти внутренне независимы. Мне, скажем, плевать было, что случится с Брежневым. Как пелось в одной песне: «Ой, позор на всю Европу, срамота-то, срамота! Десять лет лизали жопу, оказалося – не та. Но народ не унывает, смотрит радостно вперед: наша партия родная нам другую*

подберет». Но сегодняшняя власть мне близка. А значит, я уже в игре, я уже не могу глядеть на все это со стороны, как при Брежневе. Во мне уже появляется что-то рабское, появляется несвобода. И вот тут-то таится огромная опасность. Я считаю, что ни при какой погоде, ни при каких обстоятельствах интеллигент не может отождествлять себя с властью, он должен от нее дистанцироваться. Даже от той власти, которая выражает добрые тенденции. Потому что власть есть власть. Мы не имеем права терять свободу критики, свободу скепсиса.

Александр БОРИН. *А идти служить во власть?*

Б.С. *Если идешь служить делу, а не власти – пожалуйста.*

Владимир ВОЙНОВИЧ. *Нет такого человека, который, придя во власть, остался бы самим собой.*

Б.С. *Если хватит ума, самоиронии – останется. Только не воспринимай себя слишком всерьез, не отождествляй себя с властью, сохраняй дистанцию.*

В.В. *Нет, исключено. Знаешь, как это происходит? Подспудно и незаметно. Вот ты приходишь во власть и сразу же становишься всем нужен. Этот просит продвинуть одно очень важное дело, тот – другое. А тут вдруг звонит Сарнов. Он как раз ничего не просит, он просто хочет, как прежде, общаться. Но у тебя уже не хватает ни сил, ни времени на обычные душевные движения. И ты невольно начинаешь возводить барьер между собой и Сарновым. Тебе неудобно сказать: «Знаешь, Бен, мне сейчас не до тебя».*

И ты начинаешь лгать, прятаться, отстраняться.

Б.С. *Считаешь, это неизбежно?*

В.В. *Абсолютно неизбежно. Дальше Сарнов, скажем, приглашает на день рождения. Но у тебя обязательно возникает вопрос: а кто еще там будет? Не окажутся ли там люди, которые начнут обращаться к тебе с разными просьбами? Может, лучше, разумнее не идти? Эти соображения у тебя непременно появятся, и не потому, что ты плохой, а потому, что твое положение заставляет тебя защищать себя некоторой броней. Ну и, наконец, в наших российских условиях тот, кто у власти, само собой, втягивается в коррупцию.*

Б.С. *Взятки, что ли, берет?*

В.В. *Зачем взятки? Просто меняется образ жизни. В 1955 году я вернулся из армии, и один мой знакомый устроил меня инструктором в исполком. Должность маленькая, зарплата нищенская, но все равно власть. Ответственный секретарь исполкома посадил меня в машину и сказал: «Буду вводить тебя в курс дела». И мы отправились. Приезжаем в первый сельсовет. Разговоры о том о сем – и прямо в магазин, в подсобку. Завмаг достает молча бутылку, три стакана, выпиваем и отправляемся в следующий сельсовет. Так объехали все 14 сельсоветов. Мне это не нравилось. Но что я скажу: нет, оставьте, я не такой? Хочешь служить – втягивайся. Положение обязывает. А сегодня, когда аппарат остался, в сущности, нетронутым, разве эта наша отечественная традиция померла? Возвращаясь из*

загранкомандировки, сколько красивых бутылок везешь нужным людям?

Когда я говорил все это, то соглашаясь с Войновичем, то возражая ему, мне казалось, что позиция моя ясна, определенна, внутренне непротиворечива. Но сейчас, отыскав эту старую газету и перечитав ту нашу беседу «без пиджаков», я отчетливо вижу, как мотало меня тогда из стороны в сторону, как трудно (и в конечном счете так и не удалось) было мне совместить, слить в одну эти две несовместимые мои позиции: да, надо идти во власть, если собираешься служить не ей, а делу, в которое веришь, но при этом нельзя, ни в коем случае нельзя отождествлять себя с властью, которая всегда, какой бы «твоей» она тебе ни казалась, «отвратительна, как руки брадобрея».

Поскольку мы – все трое – были единомышленниками, я резонно предполагал, что никакого спора у нас не получится, не может получиться.

Но спор все-таки возник.

…

Б.С. *Мне одинаково отвратительны и готовность интеллигента раствориться во властных структурах, потерять себя, и эдакое чистоплюйство: «Ах, нет, я, интеллигент, не хочу замараться, а потому не пойду во власть». Ничего подобного. Тысячу лет тебя не востребовали. Если сейчас нужны твой интеллект, твои знания – иди. Только ни на секунду не теряй дистанцию… Сто раз подумай, прежде чем что-то получить у власти.*

В.В. *Знаешь, такой идеальный интеллигент, который сто раз подумает, прежде чем взять ему причитающееся, и дня не продержится во власти. Такие там не нужны. Сарнова же никто туда не зовет.*

Б.С. *Нет, ребята, так нельзя. Послушать вас, получается: «Нам там не место, сделать мы ничего не можем, не тратьте, куме, силы, опускайтеся на дно». Если ты интеллигент, художник, сиди, мол, дома и ни во что не лезь… Вацлав Гавел ведь пошел в президенты.*

В.В. *Да, пошел. Но я буду очень удивлен, если, побывав президентом, он когда-нибудь напишет хорошую пьесу. Не верю.*

Б.С. *Почему?*

В.В. *Да потому, что писателя в нем государственный пост обязательно убьет. Выбирай: хочешь оставаться писателем или сделаться политиком. Совместить это не удастся.*

Б.С. *Я уважаю Гавела за то, что он пошел в президенты.*

В.В. *Я его тоже уважаю. Но у него теперь уже совсем другая психология, другие точки отсчета.*

Б.С. *Думаешь, интеллигент не может принять крутое, жесткое решение? Скажем, в случае крайней необходимости отдать приказ стрелять по Белому дому?*

В.В. *Почему? Может.*

Б.С. *И вообще, хватит видеть в интеллигенте этакого сопливого слизняка: ах, нельзя нарушать демократию, закрывать фашистские газеты, применять силу…*

В.В. *Знаешь, каждый мерит по себе. Если бы я оказался на месте Ельцина, я бы тоже, наверное, дал приказ стрелять по Белому дому. Но после этого я бы уже не смог писать книги.*

Б.С. *Почему?*

В.В. *Не знаю. Я бы нанес себе невосполнимый урон. Не вообще, а*

как художник. Точно так же человек, отдавший приказ стрелять, никогда уже не сможет стать священником.

Это высказывание моего друга и всегдашнего единомышленника сильно тогда меня разозлило.

И дело тут было не только и даже не столько в том, что все эти его рассуждения, на мой взгляд, были надуманными, даже фальшивыми. Особенно вот эта последняя его реплика – про священников. Кропить святой водой ракетоносцы с ядерными боеголовками и благословлять солдат, посылаемых властью стрелять в тех, в кого им прикажут, не мешает им оставаться священниками. А необходимость самому отдать такой приказ – помешает. Смешно!

Но главное, чем оттолкнули меня и вызвали резкое мое несогласие эти маловразумительные рассуждения Войновича, было то, что, рассуждая таким образом, он – вольно или невольно – подыгрывал тем, кто осуждал «расстрел Белого дома» и тем самым защищал путчистов. Если и не солидаризировался с ними, то, во всяком случае, уступал им.

Я уже готов был ответить ему, что все это ерунда. Что, окажись я на месте Ельцина, не задумываясь, отдал бы такой приказ, и это ничуть не помешало бы мне потом писать мои книги.

Но сказать это я постеснялся.

Ведь Володя говорил, что, случись ему отдать такой приказ, он (как и Гавел) нанес бы себе непоправимый урон как художник. А ты, мог бы сказать он мне в ответ, не художник. Потому-то с тебя и другой спрос.

мог бы я ответить ему на это. Уж он ли не художник! А ни на миг не усомнился в своем праве громко, вслух сказать, что не только не сокрушался, а прямо-таки ликовал, когда Ельцин решился наконец подавить коммуно-фашистский путч военной силой.

«Письмо сорока двух», которое он подписал, появилось на страницах «Известий» 4 сентября. А интервью, которое Булат дал Андрею Крылову (то самое, которое побудило «прекрасного артиста Владимира Гостюхина – человека умеренно-патриотических убеждений» публично разломать и истоптать пластинку Булатовых песен), было напечатано в «Подмосковных известиях» 11 декабря. То есть – три месяца спустя.

Казалось бы, за эти три месяца, когда накал страстей был уже не тот, он мог бы высказаться и помягче. (Не говоря уже о том, что «Письмо сорока двух» было коллективным, он его только подписал, то есть присоединился к высказанным в нем мыслям, а в интервью высказал свою личную, индивидуальную точку зрения на случившееся, так что некоторый смысловой – и уж, во всяком случае, эмоциональный – люфт между этими двумя документами вполне возможен.) Да, не было бы ничего удивительного, если бы в этом свом интервью он несколько смягчил резкость тех – трехмесячной давности – своих (точнее, их общих) формулировок. Но он не только не смягчил, а даже еще более ужесточил их:

...

– Булат Шалвович, вы смотрели по телевизору, как 4 октября обстреливали Белый дом?

– И всю ночь смотрел.

– У вас как у воевавшего человека какое было ощущение, когда раздался первый залп? Вас не передернуло?

– Для меня это было, конечно, неожиданно, но такого не было. Я другое вам скажу. С возрастом я вдруг стал с интересом смотреть по телевизору всякие детективные

фильмы. Хотя среди них много и пустых, и пошлых, но я смотрю. Для меня главное, как я тут выяснил, – когда этого мерзавца в конце фильма прижучивают. И я наслаждаюсь этим. Я страдал весь фильм, но все-таки в конце ему дали по роже, да? И вдруг я поймал себя на том, что это то же самое чувство во мне взыграло, когда я увидел, как Хасбулатова, и Руцкого, и Макашова выводят под конвоем. Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним совершенно не было. И может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это – заключительный акт. Поэтому на меня слишком удручающего впечатления это не произвело. Хотя для меня было ужасно, что в нашей стране такое может произойти. И это ведь опять вина президента. Ведь это все можно было предупредить. И этих баркашовцев давно можно было разоружить и разогнать – все можно было сделать. Ничего не делалось, ничего!

– А с другой стороны, если бы президент пытался что-то предпринять раньше, демократы первые начали бы заступаться: дескать, душат демократию.

– Вот-вот, у нас есть такая категория либеральной интеллигенции, которая очень примитивно понимает нашу ситуацию. С точки зрения идеально демократического общества – да. Но у нас, повторюсь, нет никакого демократического общества. У нас – большевистское общество, которое

вознамерилось создавать демократию, и оно сейчас на ниточке подвешено. И когда мы видим, что к этой ниточке тянутся ножницы, мы должны как-то их отстранить. Иначе мы проиграем, погибнем, ничего мы не создадим. Ну а либералы всегда будут кричать. Вот Людмила Сараскина, очень неглупая женщина, выступила с возмущением, что, дескать, такая жестокость проявлена, как можно, я краснею. Пусть краснеет, что же делать. А я думаю – если к тебе в дом вошел бандит и хочет убить твою семью? Что ты сделаешь? Ты ему скажешь: как вам не стыдно, да? Нет-нет, я думаю, что твердость нужна…

Все эти хасбулатовы и руцкие – они совершенно о России не думают. Они думают о себе, о своих амбициях, о своих креслах. Ну что Руцкой? Он фельдфебель по уровню своему. Представляете, если бы он был президентом? Или – Хасбулатов? Или – Бабурин? Или вся эта шантрапа. Что это такое было бы! Страшная публика!

Тех, кто обрушился за это интервью на Булата, надо полагать, особенно возмутило слово «наслаждался». Пролилась кровь, а он – либерал, гуманист, – видите ли, наслаждался. (Хотя наслаждался он не тогда, когда Хасбулатова, Руцкого и Макашова «расстреливали», а когда их – живехоньких и нимало не пострадавших, разве только до смерти перепугавшихся – выводили из Белого дома под конвоем.)

Он говорит:

…

Для меня было ужасно, что в нашей стране такое может произойти…

Это вина президента. Ведь это все можно было предупредить… Ничего не делалось, ничего!

Я не идеализирую ни президента, ни его команду…

А услышали только одно: «Я наслаждался».

Ну а что касается проклятого вопроса,

который мы с такой страстью тогда обсуждали – идти или не идти интеллигенту «во власть», то у него на этот счет ни раньше, ни потом не было и тени сомнений.

Свой взгляд на эту проблему со всей определенностью он высказал еще в середине 70-х, когда родилась у него вот эта, сразу меня пленившая песенка:

Что-то дождичек удач падает не часто.
Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,
и, наверно, мне тогда станет легче жить.
Робость давнюю свою я тогда осилю.
Как пойдут мои дела – можно не гадать:
зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,
и на сердце у меня будет благодать.

Услышав ее впервые, я усмехнулся. Подумал: да, Фазилю такой поворот судьбы, конечно, не грозит. А вот «к Юре в кабинет» Булат, если бы захотел, мог заглянуть уже сегодня. Но не захочет.

Имел я при этом в виду общего – тогда уже бывшего – нашего друга Юрия Бондарева. Для меня он был Юрой еще со студенческих времен (в Литинституте мы с ним, можно сказать, сидели за одной партой). А для Булата – со времен «Литгазеты», куда Юра позвал и взял в штат нас обоих.

В описываемое время Юра (для всех давно уже Юрий Васильевич) был одним из главных руководителей фашиствующего Союза писателей РСФСР, и сунуться к нему в кабинет с какой-нибудь личной просьбой ни мне, ни Булату не пришло бы в голову ни при какой погоде.

Я, конечно, понимал, что вызвавшая мою реакцию строка из

новой Булатовой песни подразумевает совсем другого Юру – Левитанского. Но про Бондарева при этом вспомнил не зря. Сразу подумал, что любой из наших друзей, кого ни возьми, случись ему «выбиться в начальство», ко времени этого поворота в своей судьбе был бы уже совсем не тем человеком, какого мы знали и любили.

Наш бывший друг Юра Бондарев был не единственным, с кем это произошло.

Вот, например, Серёжа Наровчатов – в то время уже никакой не Серёжа, а Сергей Сергеевич, первый секретарь Московской писательской организации, а вскоре главный редактор «Нового мира». Не влюбленный в поэзию рафинированный эстет и библиофил, а партийный функционер, отъевший свиноподобную ряшку, неотличимую от морд других таких же партийных функционеров, для полного торжества мимикрии научившийся даже произносить ключевые партийные слова «социализм», «коммунизм» так, как это было принято в их среде: «социализьм», «коммунизьм».

Помню, когда его сделали первым секретарем Московской писательской организации и он держал свою «тронную речь», Наровчатов сказал:

– Перед тем как принять этот пост, я беседовал с одним крупным политическим деятелем. И я сказал ему, что хочу быть не первым среди равных, а равным среди первых.

Я плохо понял тогда, что он имел в виду, хотя понять было нетрудно. Он хотел сказать, что, может быть, впервые на этот высокий чиновничий пост назначают истинного поэта, каким он – не без некоторых оснований – себя считал. Но меня тогда поразило другое: как серьезно относится он и к этому своему назначению, и к тому, кого назвал крупным политическим деятелем. (Как потом выяснилось, это был Гришин: тот еще политический деятель.)

Я хорошо помнил не такие уж давние времена, когда по Москве ходила шуточная (рукописная) поэма, героем которой был молодой поэт, приехавший из провинции завоевывать столицу, и были там – в перечне его первых столичных успехов – такие строчки:

И впервые тогда Наровчатов
Попросил у тебя пять рублей.

Кто бы мог подумать, что Серёжа Наровчатов, этот «гуляка праздный», этот «Моцарт», вдруг так резко изменит свой, как теперь говорят, имидж и надуется начальственной спесью.

Это о нем – и таких, как он, – пел в одной из тогдашних своих

песен Саша Галич:

Уходят, уходят, уходят друзья.
Одни – в никуда. А другие – в князья.

Ушедшие «в князья» были для нас потеряны так же безвозвратно, как и те, кто ушел «в никуда».

Но это – в жизни, в тоскливой, искаженной, изувеченной нашей реальности. А в песенке Булата это была мечта. Наивная, неосуществимая, но – прекрасная. Прекрасная именно этой своей неосуществимостью:

Зайду к Белле в кабинет, скажу:
«Здравствуй, Белла!»
Скажу: «Дело у меня, помоги решить…»
Она скажет: «Ерунда, разве это дело?..»
И конечно, сразу мне станет лучше жить.
Часто снятся по ночам кабинеты эти.
Не сегодняшние, нет; завтрашние, да;
Самовары на столе, дама на портрете…
В общем, стыдно по пути не зайти туда.

Эта «дама на портрете» яснее, чем могла бы сказать нам любая другая деталь воображаемого им интерьера, говорит о том, что на самом деле вовсе не завтрашние кабинеты рисует тут автор. Совсем другим портретам надлежит украшать стены любого начальственного кабинета – что сегодняшнего, что завтрашнего. Начальственный кабинет с «дамой на портрете» может привидеться только во сне. Как, впрочем, и вся эта вымышленная, вымечтанная им ситуация:

Города моей страны все в леса одеты,
Звук пилы и топора трудно заглушить:
Может, это для друзей строят кабинеты —

Вот построят, и тогда станет легче жить.

А это уже – ирония. Откровенная издевка над собой, над глупыми, наивными своими надеждами на то, что его отношения с властью могут измениться в зависимости от того, кто займет все эти властные начальственные кабинеты.

Но тут вот что интересно.

В этой воображаемой, вымечтанной им реальности, где несбыточное оказывается возможным, в начальственном кабинете может расположиться даже Фазиль. Даже такое небесное, неземное создание, как Белла, он может представить себе в числе тех, кто «выбьется в начальство». Кого угодно. Но только не себя!

Даже в этой фантастической, немыслимой, невозможной, воображаемой ситуации себя он может представить только в одной – все той же, неизменной своей роли *просителя* . И – мало того! – чтобы заглянуть в кабинет, где в начальственном кресле восседает кто-нибудь из самых близких его друзей, он должен будет осилить всегдашнюю, давнюю, неизменную свою *робость* , которую ему и тут не избыть.

Этому своему отношению к «вхождению во власть» Булат оставался верен до последнего дыхания. Звучит несколько выспренно, но это действительно так, иначе тут не скажешь. Подтверждением тому может служить последнее его стихотворение, написанное за месяц до смерти. Называется оно – «Впечатление»:

Вниз поглядишь – там вздыхает Париж,
именно он, от асфальта до крыш.
Вверх поглядишь – там созвездие крыш:
крылья расправишь и тут же взлетишь.
Вот я взлетаю на самую крышу.
Что же я вижу? Что же я слышу?
Вижу скрещение разных дорог.
Слышу знакомый Москвы говорок.
Там проживает Миша Федотов,
там отдыхает, день отработав,
там собираются время от времени

стайки гостей из российского племени
передохнуть от родимого бремени,
вдруг залетевшие в этот Париж,
где не захочешь, да воспаришь.
Ну а вокруг, теплых чувств не тая,
Маша и дети. Семья как семья.
Что им внушает эта квартира?
Лучше котлетки из козьего сыра.
Лучше в Париже ютиться на крыше.
Что еще слаще? Что еще выше?
Лучше в парижском этом гнезде,
а не в Конституционном
суде.

Под стихотворением стоит дата его создания: 19 мая 1997. А умер Булат чуть меньше месяца спустя (13 июня) – в том самом Париже, гостя вот у этого самого Миши Федотова.

Но тут надо объяснить, кто такой этот Миша Федотов, как и почему он с семьей оказался в Париже и при чем тут Конституционный суд.

Михаил Александрович Федотов – наверно, первое, что нужно о нем сказать, – это человек, которому мы обязаны тем, что вот уже два десятка лет живем без цензуры, без этого на протяжении всего советского периода нашей истории проклинаемого нами Главлита.

Без разрешающего клейма Главлита в СССР не могла быть отпечатана типографским способом ни одна, даже самая ничтожная – и по размеру, и по смыслу – бумажка. И многие поколения советских людей даже и помыслить не могли, что может быть иначе. Виза Главлита, магическое слово «залитовано», было для нас таким же непременным и неизменным условием нашего существования, как то, что граница нашего государства всегда «на замке» и пересечь ее могут лишь немногие счастливцы.

В начале 90-х Михаил Александрович стал одним из авторов российских законов «О печати и других средствах массовой информации» (1990), «О средствах массовой информации» (1991), «Об издательском деле» (1991). В том, что законы эти должны быть существенно мягче тех, которые действовали в Советском

Союзе, не было сомнений ни у одного из соавторов Михаила Александровича: для того ведь они все это и затеяли. Но мысль, что цензуру, вот эту самую обязательную визу Главлита, можно просто-напросто взять и отменить, пришла в голову только ему. И, когда он высказал ее вслух, соавторы просто подняли его на смех: «Ишь чего захотел! Да мыслимое ли это дело! Да нешто это возможно!»

Оказалось, что возможно.

Тогда же, в начале 90-х, Михаил Александрович стал министром. Департамент, который он возглавил, назывался Министерством печати и информации России.

Но долго на этой министерской должности он не удержался: назначение получил в декабре 1992-го, а в конце августа 1993-го – не прошло и года – уже подал в отставку. Сделал он это в знак протеста против попытки, предпринятой тогдашним Верховным Советом, взять под свой контроль телевидение: для этой цели был учрежден Федеральный наблюдательный совет. В противовес ему тогдашний президент России создал свой Федеральный информационный центр, управляющий всеми местными государственными телекомпаниями. Федотов не пожелал принимать участие в этом противостоянии двух властных структур, предпочел отставку.

Он называл себя «глубоко беспартийным человеком» и действительно не вступил ни в одну из существовавших тогда в России политических партий. Был, правда, короткий период, когда он входил в состав федерального совета партии «Союз правых сил». Но демонстративно из этой партии вышел, когда ее руководство отказалось поддержать Ирину Хакамаду в ее намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента.

В сентябре 1993 года Михаил Александрович был назначен постоянным представителем России при ЮНЕСКО в Париже. В декабре следующего года ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Это была давно уже применявшаяся в таких случаях почетная ссылка. В связи с этим своим назначением Михаил Александрович дал интервью, которое появилось в печати под таким недвусмысленным заголовком: «Меня послали, я посол».

На этом послужной список Михаила Александровича Федотова не кончается, но перечислять все государственные должности, которые ему случалось занимать, я не стану. Упомяну только еще одну, поскольку именно она неожиданно всплыла в заключительной строке посвященного ему Булатова стихотворения.

Это была должность представителя президента Российской Федерации в Конституционном суде. Судебные заседания, в которых он принимал участие, были посвящены законности роспуска КПСС в 1991 году, по делу о роспуске оргкомитета Фронта национального спасения, а также по делу о введении Съездом народных депутатов РФ наблюдательных советов на государственном телерадиовещании.

Сама его должность предполагала, что по всем этим вопросам он будет защищать и отстаивать позицию президента, что, разумеется, ни в малой степени не противоречило его собственным убеждениям.

Ни в малой степени это не противоречило и тогдашним политическим предпочтениям Булата. И ельцинский закон о роспуске КПСС, и ельцинский закон, защищающий от «верховников» свободу слова, он и сам готов был поддержать. Так что ничего осудительного в исполнении Михаилом Александровичем этой его должности в Конституционном суде он, конечно, не видел и видеть не мог. Мог даже, не кривя душой, считать, что там, в этих заседаниях Конституционного суда, его дружок Миша Федотов представлял и отстаивал не только президентскую, ельцинскую, но и его, Булата, точку зрения.

И – тем не менее:

Лучше в Париже ютиться на крыше.
Что еще слаще? Что еще выше?
Лучше в парижском этом гнезде,
а не в Конститу-
туционном
суде.

Смысл этого дружеского совета прост и однозначен: подальше, подальше, дорогой Миша, надо тебе держаться от коридоров власти. Не огорчаться, что тебя «послали», а радоваться. Уходи в частную жизнь: «Маша и дети. Семья как семья… Что еще слаще? Что еще выше?..»

Михаил Александрович не внял этому совету друга. Он и сегодня, как говорил Зощенко, «кавалер и у власти»: советник президента и председатель совета при президенте РФ «по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека». Как у нас теперь обстоит дело с правами человека и развитием институтов гражданского общества, объяснять не надо. Только что из этого возглавляемого М.А. Федотовым совета демонстративно вышли самые достойные его члены, публично заявив, что дальнейшее свое пребывание в нем

считают не только бессмысленным, но и вредным. Но Михаил Александрович свой пост не покинул, пытается слепить новый состав совета, из последних сил судорожно цепляется за эту последнюю свою властную должность, хоть и знает, что на самом деле никакая она не властная: не за власть цепляется он, а за *кабинет* .

Но это – его дело, его выбор, и я не собираюсь его за это осуждать. Я ведь пишу не про него, а про Булата. И во всем этом деле меня интересует только Булат.

Коллективное письмо, подпись под которым вменялась в вину Булату,

вместе с ним подписали люди известные. Назову лишь некоторые имена из тех сорока двух, что под ним стояли:

Алесь Адамович, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Василь Быков, Даниил Гранин, Юрий Давыдов, Юрий Карякин, Александр Кушнер, Юрий Левитанский, академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Юрий Нагибин, Лев Разгон, Роберт Рождественский, Юрий Черниченко, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки, Виктор Астафьев.

Из тех, кто решился громогласно осудить расстрел Белого дома, известностью, да и авторитетностью, могли с ними сравниться только двое – Андрей Донатович Синявский и Владимир Емельянович Максимов.

Как на грех, оба эмигранты.

Быков на этом обстоятельстве построил целую теорию:

...

В семнадцатом Блок сказал Гиппиус, что видит за большевиками не только силу, но и правду. <…> На рубеже семнадцатого и восемнадцатого он написал и опубликовал «Интеллигенцию и революцию» и «Культуру и революцию» – две наиболее принципиальные свои статьи, в которых утверждал простую и внятную истину: «Жалкое положение: со всем сладострастием ехидства подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг сухие полешки, стружки, щепочки, а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя) – бегать кругом и кричать: ах, ах, сгорим!»

Эта цитата, пожалуй, наиболее принципиальна. Речь идет не о том,

чтобы признать правоту большевизма. <…> Речь о том, чтобы разделить ответственность. Подкладывали щепки, подгребали стружки? Будили народное самосознание? Разговаривали о свободе, ругали власть, ждали перемен? Получите. Признайте свою вину в происшедшем. Не отрекайтесь от того, что сами же и накликали, – даже если никакое знамя и пламя не мерещилось вам в самых кошмарных снах, а желали вы всего-навсего свободы собраний и отмены цензуры. <…>

И Блок, и Окуджава свой выбор сделали и прожили после этого по четыре года. Почему они поступили так, а не иначе – логически объяснить невозможно. Зато очень легко объяснить от противного, почему они не могли поступить иначе.

Иной выбор предполагал бы попытку снять с себя историческую ответственность. А Окуджава, как и Блок, знал, что он «подгребал стружки». Знал, что эти танки защищали его. И не прятался от этого факта, в отличие от десятков русских интеллигентов, осудивших расстрел Белого дома. Впрочем, были среди них и люди, имевшие на такое осуждение полное моральное право: Андрей Синявский, Владимир Максимов. Они не были ничем обязаны ельцинской власти и не несли перед нею никакой ответственности.

(Дмитрий Быков. Булат Окуджава. М., 2009)

Зыбкая теория эта от первого же легкого щелчка рассыпается как карточный домик. О Максимове и Синявском с куда большим

основанием, чем о Булате и всех, кто вместе с ним подписал «письмо сорока двух», можно сказать, что они подгребали стружки, чтобы разжечь тот костер. А уж Максимов не то что «стружки подгребал», а прямо-таки бикфордов шнур запаливал, чтобы полыхнуло. И ельцинской власти они были обязаны уж никак не меньше, чем Булат, или Белла Ахмадулина, или Виктор Астафьев. Хотя бы тем, что благодаря этой власти получили возможность свободно приезжать на родину и не издалека, из Парижа, через вой глушилок, а прямо тут, в Москве, свободно и громогласно высказывать свою точку зрения, – каковой возможностью тут же и воспользовались.

Хорошо зная их обоих, я иначе объясняю причину того выбора, который Владимир Емельянович Максимов и Андрей Донатович Синявский сделали в тот критический момент нашей истории.

Часть третья

Как вожделенно жаждет век
проделать брешь у нас в цепочке…

Булат
Окуджава

Если бы подписи под «Письмом сорока двух» собирались не в такой спешке,

подписавших его оказалось бы не сорок два, а не меньше восьмидесяти, может быть, даже и больше. Во всяком случае, подписи всех, кто на картине Биргера, вспомнившейся Булату, сидел «рядком, и красные бокалы у каждого из нас – в изогнутой руке», уж точно бы там красовались.

Но в лихорадочной спешке организаторы этой акции обзвонили только тех, кого в тот момент успели вспомнить, и вышло так, что в числе подписавших этот исторический документ оказались Таня Бек, Андрей Дементьев, Александр Иванов, Эдмунд Иодковский, Татьяна Кузовлёва и Римма Казакова, но не оказалось ни Фазиля Искандера, ни Войновича, ни Льва Копелева, ни Олега Чухонцева, ни Эдисона Денисова, – не говоря уже о самом Биргере, который, если бы к нему обратились, конечно, как и все мы, без колебаний поставил под этим письмом свою подпись. Как – наверняка – и те его модели, которые запечатлены на других его полотнах: Вася Аксёнов, Коля Панченко, Игорь Виноградов, Алла Демидова, Игорь Кваша, Григорий Поженян.

Не умри он пятью годами раньше, конечно же, – у меня нет в этом сомнений! – поставил бы свою подпись под этим письмом и Юлик Даниэль. Даже если бы пришлось ему при этом поссориться со своим другом и однодельцем Андреем Синявским. А может быть – не исключаю и такой вариант, – Юлику удалось бы удержать Андрея от его намерения вступить в постыдный альянс с Максимовым.

Все мы были, как говорится, люди одного круга, и все в тот момент были на стороне Ельцина.

Но прошло немногим более двух лет – и арифметика была уже совсем другая.

В 1993-м из людей «нашего круга» только двое (Максимов и Синявский) осудили Ельцина.

А в 1996-м из всех нас только двое не отступились от него, продолжали его поддерживать: Вася Аксёнов и Мариэтта Чудакова.

Причиной того, что все, кого мы считали «своими» (за исключением этих двоих), от него отшатнулись, стала чеченская война.

В 90-м, оказавшись в Америке (в Вашингтоне),

мы с женой познакомились с известным нам до того только по радиоголосам югославским философом-диссидентом Михайло Михайловым. Он сразу же стал для нас Мишей и в этом качестве оставался все последующие годы.

В 92-м Миша приезжал в Москву, и мы с ним радостно обнялись, как друзья и единомышленники.

Единомыслие наше и в эту нашу встречу не было омрачено никакими серьезными разногласиями. Лишь в одном пункте оно было нарушено.

Миша очень болезненно воспринял кровавый распад его родной Югославии. И уверял, что и нам не миновать такого же страшного и кровавого распада. Если маленькая Югославия, распадаясь на части, не обошлась без гражданской – межнациональной – войны, то как можно предполагать, что гигантскую сталинскую империю зла чаша сия минует. «Нет, и не надейся! – говорил он мне. – Горькую чашу эту и вам придется испить до дна».

Я возражал. Говорил, что Ельцин довольно ловко провел наш неуклюжий корабль через все угрожающие нам рифы. Одобрял многими тогда осуждавшуюся его формулу-обращение к малым народам, входившим в состав России: «Возьмите себе столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Говорил, что именно благодаря этой счастливо им найденной формуле ему удалось мирно сохранить в составе России бурливший и уже готовый к отпадению от Федерации Татарстан.

Развязанная Ельциным чеченская война нанесла этому моему прекраснодушию сокрушительный удар.

Не прошло и года после того, как он спас страну от гражданской войны, которую чуть было не развязала банда Хасбулатова, Руцкого и Макашова, и вот сам же нас теперь в нее и ввергает.

От такого неожиданного поворота событий все, кого я назвал людьми «нашего круга», были в шоке. И единодушно этот новый ельцинский политический курс осудили.

И вот – дело было уже в 1996-м, накануне приближавшихся новых выборов президента – появляется в «Московских новостях» статья Васи Аксёнова, в которой я читаю:

...

От правозащитников вы сейчас не услышите критики в адрес коммунистов, они все заняты защитой Дудаева. Юлий Ким ведет свою «сотню интеллигенции» и требует от правительства капитуляции перед горским паханом. <…> За огромным большинством сообщений из Первомайского, как и за большинством оценок, стоит пламенная страсть: добить Ельца.

Не в последнюю очередь именно это неожиданное заявление моего старого друга (а в политических симпатиях и предпочтениях всегдашнего единомышленника) и толкнуло меня тогда выступить со статьей на эту жгучую политическую тему.

Статью эту я сочинял не один, а с Аликом Бориным. Называлась она «Меньшее зло?» – именно вот так, в иронических кавычках и с ироническим вопросительным знаком в конце фразы, – и появилась в той же «Литературной газете», на страницах которой не так давно мы выступали «без пиджаков».

Начиналась эта наша запальчивая статья прямой атакой именно на Аксёнова:

...

Начнем с того, что никто из нас не взывает к капитуляции. Хотя мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что немедленный выход из войны в нынешних условиях многими будет воспринят именно как капитуляция огромной России перед маленькой Чечнёй. Но почему «перед паханом», а не перед народом, защищающим свою жизнь и свободу? И почему капитуляция России, а не бездарного, безмозглого военно-политического руководства, втянувшего нас в эту позорную, никому не нужную, гибельную войну?

Аксёнов может возразить: что же это за народ, который уголовного пахана превратил в своего национального лидера? Но в том-то и дело, что в лидера всего чеченского народа Дудаева превратила мудрая политика нашего президента. Пахан уже качался. Едва ли не половина нации от него отвернулась. Но, как только первый российский танк пересек границу Чечни, как только первая бомба, сброшенная с российского самолета, обрушилась на мирное население чеченской столицы, Дудаев тотчас же стал общенациональным вождем. «Защита конституционного порядка» по методу генерала Грачёва разбудила историческую память маленького народа, у которого к карательной политике метрополии (и старой, и новой – от Ермолова до Сталина) был свой, давний счет.

Мы знаем, что есть сторонники – в том числе и занимающие высокие государственные посты – другого решения чеченской проблемы. Единственно возможным выходом из тупика, в котором мы оказались, им видится немедленная и окончательная победа. Неужели Аксёнов с ними? Не видит он разве, как блистательно владеют наукой побеждать наши замечательные полководцы, герои Самашек и Первомайского? Да и какой ценой он готов оплатить эту призрачную победу? Еще тысячами искалеченных и убитых? Новыми триллионами рублей, сжигаемых в огне этой бесперспективной войны? Последними надеждами на успех реформ? Крахом демократических преобразований? И в итоге – уж безусловно! – приходом

к власти столь ненавистных – и ему, и нам – коммунистов?

Пламенной страсти «добить Ельца!» Аксёнов противопоставляет свою пламенную страсть: спасти и сохранить его.

От кого же Аксёнов и некоторые другие авторы, выступившие в последнее время, бросились вдруг так пылко защищать Ельцина?

(Бенедикт Сарнов, Александр Борин. Девяностые)

На этот вопрос, вторя Аксёнову, отвечала (в парижской газете «Русская мысль») Мариэтта Чудакова.

Защищать Ельцина, объявила она, ей приходится от демократически настроенной интеллигенции. Потому что не власть оттолкнула от себя интеллигенцию, а наоборот – демократическая интеллигенция сама оттолкнула от себя власть. Оттолкнула, потому что не сумела, не научилась, не захотела с ней сотрудничать.

По этой статье Мариэтты мы с Аликом и нанесли в той нашей статье свой второй удар.

Вася, как уже было сказано, принадлежал к узкому кругу давних моих друзей.

С Мариэттой друзьями мы не были. Но были коллегами, связанными общими интересами и вкусами (она писала про Зощенко и Булгакова, и я тоже). Дарили друг другу свои книги с уважительными, почтительными и лестными дарственными надписями. Ну а уж что касается политических наших симпатий и взглядов, то она – как и Вася, – конечно же, была мне *своя* .

Странная поэтому получилась тогда у нас с Аликом статья.

Выходило, что главный ее полемический запал в точности совпадал с знаменитой поэтической формулой Межирова: «Артиллерия бьет по своим». И как тут было не вспомнить (многие тогда и вспоминали) горестное восклицание поэта:

Надо все-таки бить по чужим,
А она – по своим, по родимым.

То, что ударили мы в той нашей статье «по своим», отчасти вышло случайно. Но – не совсем.

Если угодно, это был мой главный тактический и стратегический принцип.

Я всегда считал, что неизжитые имперские амбиции —

это главная наша беда, главная угроза будущему историческому существованию России. И поэтому меня особенно больно ударила громко прозвучавшая однажды реплика Анатолия Чубайса, что Россия, на его взгляд, должна быть *либеральной империей* .

От кого угодно я готов был услышать такое, но менее всего от Чубайса.

Очень хотелось ответить на это опасное высказывание Анатолия Борисовича. И в самой резкой и нелицеприятной форме.

Но кто я такой, чтобы ввязываться в спор с одной из самых влиятельных фигур тогдашнего политического истеблишмента?

Ответить Чубайсу, казалось мне, должен кто-нибудь из, как тогда принято было выражаться, политических тяжеловесов. И сделать это, как мне тогда представлялось, мог – и должен был – только один человек: Егор Гайдар.

Но не лезть же мне к нему со своими непрошеными советами!

Случай, однако, представился. Гора сама пришла к Магомету.

Егор Тимурович как раз закончил тогда свою книгу «Гибель империи. Уроки для современной России». И, прежде чем отдать ее в печать, разослал друзьям и единомышленникам с просьбой высказать ему свои замечания.

В числе тех, к кому он с этим обратился, оказался и я. И среди многих других замечаний, некоторые из которых казались мне важными, а некоторые не очень, я высказал и это, представлявшееся мне наиболее существенным. Высказал, как мне это казалось, в предельно деликатной форме:

...

На 2 стр. «Введения» Вы приводите слова Путина, а после них ссылаетесь на Белковского, Проханова, Дугина. Правильнее, мне кажется, было бы начать с них – откровенных апологетов империи, а потом уже перейти к Путину… И потом я бы не преминул отметить:

«И даже А.Б. Чубайс, в либеральных и демократических взглядах которого не приходится сомневаться, – и тот произнес свои печально знаменитые слова о том, что Россия должна быть либеральной империей».

У А. Б. это высказывание носило, конечно, откровенно популистский характер, но это, пожалуй, самое яркое свидетельство того, насколько заразительно это безумие, и пренебрегать таким свидетельством было бы нерасчетливо.

Кстати, в моем кругу многие не могут простить А. Б. эту злополучную фразу. Во всяком случае, высказав эту сомнительную идею, он, я думаю, потерял больше, чем приобрел.

Ознакомившись с моим письмом, Егор Тимурович, как человек вежливый, позвонил мне. Поблагодарил за мои замечания. Сказал, что со многими согласен, и подробно перечислил – с какими именно.

Но о Чубайсе – ни звука.

Я, понятное дело, спрашивать его, как он отнесся к этому моему предложению, не стал.

Но, когда книга вышла и была мне подарена, прежде всего отыскал в ней тот абзац, в который предлагал вставить реплику про Чубайса.

И вот что я там прочел:

...

Сегодняшние сторонники восстановления империи обращаются к наследию, идущему от царской России через период советской истории к сегодняшнему времени.

Примеров апелляции к постимперской ностальгии в современной России не счесть. Приведем лишь некоторые из них.

Приближенный к Кремлю политтехнолог С. Белковский: «В 2004–2008 гг. должны быть заложены основы российской нации. У нашей нации есть единая судьба – имперская». Писатель А. Проханов: «Вот почему великие империи прошлого выше великих республик. Они несли в себе замысел объединенного человечества, способного услышать и воплотить замысел Бога. Вот почему сегодняшняя либеральная, омерзительная Россия хуже, ублюдочней великого Советского Союза, который был империей и был безрассудно нами потерян». Геополитик А. Дугин: «Советское государство воспринималось народом как строительство "Новой Империи", "царства Света", "обители духа", а не как создание наиболее рационального устройства администрирования и управления количественными единицами». Представления о крахе Советского Союза как о крушении последней мировой империи в XX веке широко распространены в литературе, посвященной этому периоду. Президент России В. Путин в Послании Федеральному собранию (2005 г.) назвал крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века.

(Егор Гайдар. Гибель империи. Уроки для современной России. М., 2006)

Мой совет начать не с Путина, а с Белковского, Проханова и Дугина Егор Тимурович, стало быть, принял. А предложение упомянуть в этом контексте своего друга Чубайса – проигнорировал.

Я, конечно, понимал, что поминать имя Чубайса рядом с

черносотенной швалью типа Проханова и Дугина ему было противно. И все-таки мне казалось, что зря он тогда не воспользовался возможностью подтвердить свою верность древнему, вечному принципу «Платон мне друг, но истина дороже».

В том нашем споре с Васей Аксёновым и Мариэттой Чудаковой

весь сыр-бор, в общем-то, разгорелся вокруг одного, главного, ключевого вопроса: голосовать ли за Ельцина на предстоящих президентских выборах или отдать свой голос кому-нибудь другому из уже определившихся к тому времени претендентов.

Но это – в перспективе, хотя и не такой уж далекой. А пока опять во весь рост встал перед нами все тот же проклятый вопрос, который мы обсуждали в той, трехгодичной давности нашей беседе «без пиджаков»: идти или не идти интеллигенту «во власть»?

Для нас этот вопрос был решен уже тогда, а Мариэтте еще только предстояло его решить. И для нее он звучал несколько иначе: не *идти ли* во власть, а – *оставаться или не оставаться* «во власти». Потому что в то время, когда мы схлестнулись с ней на страницах «Литературной газеты», она «во власти» уже была.

Мариэтта – дама амбициозная, и амбиции ее издавна простирались не только на литературу.

Проявлялось это в самых разных ситуациях.

Вот, например, такой случай.

В Малом зале ЦДЛ был вечер памяти Аркадия Белинкова. Среди выступавших была Мариэтта. И вдруг, уж не помню сейчас, в какой связи, она сказала:

– В советские времена был такой тост: «За успех нашего безнадежного дела». Так вот! Когда провозглашался этот тост, я никогда не пила. Демонстративно ставила бокал на стол. Потому что я никогда не считала наше дело безнадежным.

Как возник этот тост, я помнил очень хорошо. Его провозгласил однажды Эмка Мандель. И я сразу вспомнил, как мелькнули веселые искорки в его глазах, когда родилась у него – это был чистый экспромт – эта печальная острота. Ну а потом этот на моих глазах родившийся тост стал постоянным на всех наших тогдашних сборищах.

Если бы я был в зале, мне бы, конечно, и в голову не пришло просить слова и выходить к микрофону, чтобы возразить Мариэтте. Но вышло так, что сидел я в тот раз не в зале, а на председательском месте. И воспользовавшись этим преимуществом, прервал ее недоумевающей, удивленной репликой.

– Мариэтта, – сказал я. – Но ведь это был иронический тост. Его придумал Коржавин, и…

Я не успел закончить. Из зала кто-то выкрикнул:

– Да о чем тут говорить! Это был диссидентский тост!

Мариэтта не нашлась что на это ответить, и вышло так, что последнее слово в тот раз осталось не за ней.

Другой вспомнившийся мне сейчас эпизод был еще выразительнее.

Когда перед президентскими выборами 1996 года возникла угроза прихода к власти коммунистов и Володя Войнович в разговоре с Мариэттой высказал опасение, что угроза эта вполне реальна, она сказала ему:

– Можешь не волноваться. Я этого не допущу.

Рассказывая мне об этом (в лицах), Войнович смеялся. Посмеялся и я.

Да, свои возможности Мариэтта, конечно, сильно преувеличивала. С полной уверенностью сказать, что не допустит прихода к власти коммунистов, в то время не мог бы и сам Ельцин, хотя возможностей для этого у него было все-таки побольше, чем у Мариэтты. Но какая-то возможность влиять на ход исторического процесса, как ей казалось, у нее была. А казалось ей это потому, что в то время она была членом так называемого Президентского совета.

О том, что это был за совет, каковы были его значение и роль и какие царили там нравы, я был слегка наслышан.

Юра Карякин (он тоже заседал в том совете) со смехом рассказал мне однажды, что один из его членов, страстно желавший сидеть на заседаниях поближе к президенту, сулил ему какие-то немыслимые материальные компенсации, если он согласится поменяться с ним местами. Но Юра на эти уговоры не поддался и, рассказывая мне об этом, прямо дал понять, что стул, на котором ему досталось сидеть в том совете, ценит выше любых материальных благ.

А Саша Чудаков (муж Мариэтты), когда мы с ним однажды разговорились на эту тему, к этому карякинскому рассказу добавил, что да, действительно, многие члены Президентского совета заискивают перед чиновником, определяющим, кому там где сидеть, и тоже сулят ему разные жизненные блага в обмен на место поближе к президенту.

Саша, правда, при этом пояснил, что место поближе к президенту многими членами (в том числе, конечно, и Мариэттой) ценится не из карьерных соображений, а исключительно ради возможности *быть услышанным президентом* , то есть оказать благотворное влияние на какие-то принимаемые им решения.

Может, оно было и так. Но я, слушая эти рассказы, вспоминал

знаменитую реплику Павла I. «В России, – сказал он, – вельможа тот, с кем я говорю, и только в то время, пока я с ним говорю».

Карякин, рассказывая мне о том, как и почему не захотел уступать коллеге свое место, посмеивался. А Мариэтта к возможности быть услышанной президентом относилась серьезно и даже трепетно. Я сужу об этом не только по той тональности, с какой Саша тогда говорил со мною об этом, но и по только что прочитанной мною записи в его дневнике, недавно опубликованном в приложении к новому изданию его романа «Ложится мгла на старые ступени»:

...

1994. 28 сентября .

Вчера слушал речь Ельцина в ООН. Есть пара фраз из текста Л. (этим инициалом Саша в своем дневнике обозначал Мариэтту. – Б.С.). Она: «Если осталась пара фраз – уже много!» (Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. М., 2012)

Много ли было толку от того, что в речи Ельцина в ООН осталась пара фраз, подсказанных ему Мариэттой, – не могу сказать, не знаю. Честно говоря, думаю, что немного. Но, как говорится, чем бы дитя ни тешилось.

А вопрос о том, оставаться или не оставаться ей в Президентском совете, встал перед Мариэттой в январе 1996 года, когда разыгрались драматические события в селе Первомайском.

10 января 1996 года группа боевиков под прикрытием живого щита

на девяти автобусах двинулась из Кизляра (Дагестан) по направлению к Чечне, но была остановлена федеральными войсками в районе села Первомайское. Там боевики захватили блокпост новосибирского ОМОНа, взяв в плен 36 милиционеров, и вошли в село.

15 января начался штурм Первомайского с применением вертолетов, танков и бэтээров.

16 января в турецком порту Трабзон террористами во главе с одним из сподвижников Басаева был захвачен паром «Аврасия» с преимущественно российскими пассажирами на борту. Требованиями террористов были снятие блокады села Первомайское и вывод федеральных войск из Северного Кавказа.

Утром 17 января в близлежащее от Первомайского село Советское со стороны Чечни прорвалась новая группа боевиков и уничтожила автомобиль УАЗ с дагестанскими омоновцами.

В конце концов основным силам боевиков удалось вырваться из окружения и вернуться в Чечню. Боевиков, участвовавших в этом рейде, было 256 человек, которые передвигались на семи грузовиках КамАЗ. Захвачено было ими 3700 заложников.

Вся эта военная операция, которой командовал первый заместитель директора ФСБ М. Барсуков, велась крайне бездарно. И кончилось дело тем, что федералы понесли большие потери, а боевикам удалось благополучно уйти в Чечню. Из захваченных ими заложников многие погибли.

Такое развитие событий нетрудно было предвидеть, и в самом начале четыре члена Президентского совета послали президенту телефонограмму:

...

Уважаемый Борис Николаевич,

призываем Вас в разрешении ситуации с заложниками настоять прежде всего на спасении их жизней. Очередной провал военного руководства, допустившего нападение на Кизляр, привычно толкает его, как на протяжении всей

чеченской войны, к тому, чтобы жертвовать невинными людьми. Между тем верными действиями федеральных и дагестанских властей в первые два дня была создана возможность достойного выхода из ситуации.

Не упустите эту возможность – все мало-мальски разумные люди России оценят ваше решение как не только единственно приемлемое морально, но и политически успешное.

Члены Президентского советаЕ. Гайдар, С. Ковалев, О. Лацис, М. Чудакова12 января 1996 г., 21 ч 45 мин

Мариэтта в той своей статье, с которой мы полемизировали, привела текст этой телефонограммы (оттуда я сейчас его и взял) и коротко сообщила о том, что за ней последовало:

...

Ответа – в какой-либо форме – мы не получили. 17 января, после замечательного заявления отвечающего за связи ФСБ с общественностью Александра Михайлова о том, что заложников в Первомайском «практически» не осталось… мы, не сомневаясь в том, что генерал лжет, снова пытались действовать. Но все было предрешено.

Три члена Президентского совета из четырех отправивших эту телефонограмму – Е. Гайдар, С. Ковалёв и О. Лацис – сделали соответствующий вывод: вышли из президентских структур.

Мариэтта такого вывода для себя не сделала, предпочла остаться в президентской команде.

Эту свою позицию она объясняла так:

...

*В последние два года наша общественность, к сожалению, показала, что она не в силах структурироваться, чтобы помочь спасти так и не окрепшую российскую демократию. В сущности, она не решила еще и главного вопроса: **как** строить мост – поперек реки или вдоль?*

Сама она, конечно, этот вопрос уже решила: надо «создавать *группы давления».* Группы эти, давя на власть, будут способствовать ее постепенному очеловечиванию, и – раньше или позже – все образуется. И чем ближе к президенту будут эти «группы давления», тем больше оснований надеяться, что к их голосу президент прислушается.

Но ведь только что из ее же рассказа мы узнали, что довольно резкий демарш такой «группы давления» не произвел на президента никакого впечатления. Он просто начихал на это давление. Полностью его проигнорировал.

Почему же в таком случае она не сделала для себя тот же вывод, какой сделали входившие в ту «группу давления» ее коллеги? Почему не решилась вместе с ними объявить о своем выходе из состава Президентского совета?

...

Хотелось бы – писали мы об этом в той своей статье, – чтобы она все-таки объяснила, почему финал этой рассказанной ею красноречивой истории не разуверил ее в том, что давление, оказываемое на президента, так сказать, изнутри, способно стать более действенным, чем старания других общественных «групп давления», к созданию которых она так пылко нас призывает. А так, честно говоря, создается впечатление, что все эти ее призывы – не что иное, как

попытка оправдать свое нежелание отказаться от лестного и престижного титула члена Президентского совета.

Я, конечно понимал, что эта последняя фраза звучит обидно, и не сомневался, что Мариэтта на нее обидится. Но не ожидал, что обида будет такой глубокой.

Она перестала со мной здороваться и при случайных встречах демонстративно от меня отворачивалась.

Однажды на какой-то, как тогда говорили, тусовке, оказавшись случайно с нею рядом, я сказал:

– Мариэтта, не пора ли вам перестать на меня дуться?

– Об этом не может быть речи, – гордо вскинула она голову. – Вы оскорбили мою честь и достоинство.

Ну что ж. Нет так нет.

В том, что мы так резко выступили тогда против «своих»,

я не раскаивался. И ни тогда, ни потом себя в этом не упрекал. А вот что касается самой статьи, особенно конечного ее вывода, то он и тогда, когда мы с Аликом эту статью сочиняли, представлялся мне не очень разумным.

...

Да – писали мы там, – нас тоже охватывает ужас при мысли о надвигающейся на нашу страну угрозе коммунистического реванша. И нам понятна отчаянная попытка вцепиться в Ельцина как в последнюю соломинку, за которую хватается утопающий. Ситуация и впрямь тупиковая. И мы не исключаем, что, когда подойдем к краю, к 16 июня, если и в самом деле в финал выйдут Зюганов и Ельцин, мы тоже малодушно проголосуем за Ельцина, как ни претит нам это и этически, и, простите, даже эстетически. Но надо ли сегодня, когда еще многое не ясно и не решено, когда ситуация меняется буквально с каждым днем, когда впереди еще множество непредсказуемых заранее комбинаций и вариантов, – надо ли уже сейчас отрезать для себя все другие возможности и пути, руководствуясь бодрым советом: «Не тратьте, куме, силы, опускайтеся на дно!»

Недавно по телевизору нам показали Ельцина 91-го года. Того Ельцина, которого мы тогда горячо поддерживали. (И не жалеем, что поддерживали!) Он стоял на трибуне, а из зала ему кинули вопрос:

как он считает, есть ли сейчас у страны альтернатива Горбачёву? Борис Николаевич ответил:

– Стыдно было бы, если бы в такой великой стране, как наша, не нашлось альтернативы Горбачёву.

Вот и сегодня тоже. Стыдно будет, если в такой стране, как Россия, не найдется Ельцину другой альтернативы, кроме Жириновского и Зюганова.

Стыдно не стыдно – но дело обстояло именно так. И 16 июня мы как миленькие проголосовали за Ельцина, – что не так уж трудно было предвидеть. Да и сочиняя ту нашу статью, я почти не сомневался, что дело кончится именно этим.

Но как можно было за него голосовать,

если был он в то время, выражаясь деликатно, уже не вполне адекватен. Что ни день, нес всякую чепуху.

15 января, когда уже было очевидно, что военная операция против чеченских боевиков в Первомайском позорно провалилась, Ельцин высказался о ней так:

...

Операция очень и очень тщательно подготовлена. Скажем, если есть тридцать восемь снайперов, то каждому снайперу определена цель, и он все время видит эту цель. Она, цель, постоянно перемещается, и он глазами перемещается постоянно – вот таким образом.

А несколько дней спустя, 19-го, после захвата чеченцами у входа в Босфор парома «Аврасия», высказал сожаление, что у нас на Черном море нет подводных лодок. Ну а если бы были? Что, он отдал бы тогда им приказ торпедировать захваченный боевиками паром и потопить его вместе с заложниками?

Тут, конечно, нельзя не сказать, что знали и помнили мы и совсем другого Ельцина.

Когда его однажды спросили, считает ли он себя демократом, он ответил:

– Вы же знаете, кем я был, откуда я. Как же я могу считать себя демократом? Я *учусь* быть демократом.

И действительно учился.

Вот что недавно рассказал об этом Сергей Адамович Ковалёв.

Заявлением, что он более не считает для себя возможным оставаться членом Президентского совета, он тогда не ограничился. Громогласно объявил:

...

Я не могу больше работать с президентом, которого не считаю ни сторонником демократии, ни гарантом прав и свобод для граждан моей страны.

И написал еще одно заявление, уже прямо и непосредственно обращенное к президенту, в котором в совсем уже резкой форме объяснял ему, почему не может и не хочет с ним работать и слагает с себя и другую свою государственную должность – омбудсмена.

И вот как ответил на это его заявление Борис Николаевич:

…

Уважаемый Сергей Адамович, мотивы Вашего решения понятны. Позвольте поблагодарить Вас за совместную работу и пожелать всяческих успехов в Вашей дальнейшей работе.

С уважением,

Ельцин

За три месяца до выборов

у меня уже не было никаких колебаний: я твердо решил, что голосовать буду за Ельцина. А ведь альтернативой Ельцину были тогда не только Жириновский и Зюганов. В тех выборах принимали участие Явлинский, Горбачёв, генерал Лебедь.

Я тогда чуть было не поссорился с одним из самых близких своих друзей – Володей Корниловым: он объявил, что будет голосовать за Явлинского, к которому я относился едва ли не хуже, чем к Зюганову. Даже посвятил ему одну из самых язвительных статеек:

...

Всякий раз, как я вижу на экране телевизора Григория Явлинского, у меня в памяти всплывает один старый рассказ Хемингуэя.

Рассказ такой.

За столиком в маленьком кафе сидит человек. К нему подходит девушка-официантка. Спрашивает:

– Что вы желаете, сэр?

Он отвечает:

– Вас.

Девушка возмущена. Но он спокойно, как ни в чем не бывало продолжает свою игру:

– Если вы подниметесь со мной наверх, я вам дам сто франков. (Герой рассказа – американец, но дело происходит в Швейцарии.)

Девушка уходит, но через несколько минут возвращается.

Мужчина говорит:

– Двести франков.

Девушка возмущается еще громче. Отходит, снова возвращается.

Следует новое предложение:

– Триста.

«Вот урод, – думает тем

временем про него официантка. – Урод, да еще какой противный. Триста франков за такой пустяк. Сколько раз я это делала даром. Да и негде тут. Если бы у него была хоть капля соображения, он был понял, что тут негде».

Но в конце рассказа выясняется, что мужчина, предлагавший девушке сперва сто, потом двести, а потом аж триста франков «за такой пустяк», был совсем не глуп. Он не раз уже бывал в этом кафе и прекрасно знал, что там наверху никакого помещения нет. «Он был очень расчетлив, и женщины его не интересовали», – замечает автор. И заключает: «Он ничем не рисковал».

Рассказ забавный, скажете вы. Может быть, даже и не только забавный, но и открывающий некоторые тайны мужской психологии. Но при чем тут Григорий Явлинский?

Сразу это и в самом деле не сообразишь. Но если вдуматься как следует в постоянную линию поведения Григория Алексеевича, окажется, что он тут очень даже при чем.

Вспомните! Сколько раз предлагали ему войти в правительство. И не просто войти, а занять там самый высокий пост – первого вице-премьера, отвечающего за экономику. Григорий Алексеевич от всех этих предложений неизменно отказывался. И всякий раз объяснял, что в такой стране, как наша, политик, желающий реализовать свою программу, провести ее в жизнь, должен быть не меньше – чем президентом. Ведь не то что первого зама премьер-министра, но и самого

премьера президент у нас может отправить в отставку одним росчерком пера. Поэтому тут может быть только один путь: самому стать президентом. Другого не дано.

Это, может быть, и не так глупо. Но ведь Григорий Алексеевич прекрасно знает, что президентом Российской Федерации ему не стать. Никогда. Ни при какой погоде. Нет у него тут ни одного, самого маленького шанса. И вот в этом-то как раз и состоит его сходство с персонажем припомнившегося мне рассказа. Как и хемингуэевский персонаж, играя свою игру, он ***ничем не рискует*** *.*

Тот, как вы помните, женщинами вовсе не интересовался, а был очень расчетлив. Вот и Григорий Алексеевич тоже: на то, чтобы стать президентом, он не только не рассчитывает, он, я думаю, к этому даже особо и не стремится. Зачем ему взваливать на свои плечи такую ответственность? Куда соблазнительнее, ни за что не отвечая, быть вечным лидером вечной, постоянно действующей, самой оппозиционной парламентской фракции. Критиковать, высказывать разнообразные идеи – одна другой краше – и покорять таким нехитрым способом сердца доверчивых избирателей, которые слушают, развесив уши, как умно, и тонко, и умело он стал бы себя вести, случись ему стать президентом, и – отдают ему свои голоса.

Эта моя статья (собственно, даже не статья, а фельетон) называлась «Болтуны, политиканы и люди дела». И о Явлинском я там прямо и даже грубо, что обычно мне было не очень

свойственно, сказал, что он давно уже из экономиста превратился даже не в политика, а – в *политикана* .

На эту грубость меня толкнул такой эпизод.

В какой-то из телевизионных программ его свели с главным его тогдашним противником, с которым он боролся за голоса избирателей, – Егором Гайдаром. И ведущий задал им обоим – сперва одному, потом другому – такой вопрос:

– Егор Тимурович, – обратился он к Гайдару. – Ведь вы с Григорием Алексеевичем оба – либералы, сторонники рыночных реформ. Не за место же под солнцем вы сражаетесь. Если бы вам предложили объединиться с тем, что Григорий Алексеевич при этом станет президентом, а вы – председателем совета министров. Пошли бы вы на это?

Гайдар без колебаний ответил «да».

– А вы, Григорий Алексеевич? – повернулся ведущий к Явлинскому. – Согласились бы на такой вариант? Чтобы Егор Тимурович был президентом, а вы возглавили правительство. И вместе, вдвоем, рука об руку, делали бы одно общее дело.

Григорий Алексеевич ответил на этот провокационный вопрос туманно. Что да, мол, конечно, один из этих вариантов возможен, но, прежде чем дать определенный ответ, он должен посоветоваться со своими товарищами по партии.

А на другой день уже твердо объявил, что – нет, никакое объединение с Гайдаром для него невозможно.

Этот эпизод словно бы повторил коллизию знаменитого суда Соломона, на котором царю предстояло решить, кто из двух женщин, претендующих на обладание ребенком, настоящая мать, а кто – самозванка. Царь предложил разрубить ребенка пополам и каждой претендентке на материнство отдать по половинке. И тогда одна из них в ужасе крикнула: «Нет!.. Нет!.. Отдайте его ей!..» И царь понял, что именно она, а не та, другая, была матерью младенца.

Нет, голосовать за Явлинского я бы не стал ни при какой погоде.

Тем более что к этой давней моей антипатии к нему добавлялось еще одно важное соображение: отказываясь снять свою кандидатуру, Явлинский отрывал голоса у Ельцина и тем самым увеличивал шансы Зюганова. Возникала (так тогда казалось) реальная опасность, что Ельцин не сможет даже пройти во второй тур, и выбирать нам тогда придется уже не между Ельциным и Зюгановым, а между Зюгановым и Лебедем, который, судя по социологическим опросам, с каждым днем набирал все больше очков.

Возможность проголосовать за Лебедя

в нашей среде даже не обсуждалась. Среди моих – не то что друзей, но даже знакомых – не было ни одного, кто выразил бы готовность голосовать за генерала.

Хотя – нет! Один такой знакомый у меня был.

Заочно с Григорием Чухраем мы были знакомы давно. А встретились и впервые обменялись рукопожатием совсем недавно.

Чухрай был близким другом Эмки Манделя. И когда у Эмки благодаря горбачевской «перестройке» появилась возможность раз в год наезжать из своего Бостона в Москву, в квартиру друзей, у которых он тогда останавливался, что ни день набивалась новая компания его московских друзей и знакомых, желающих с ним встретиться, обнять его, сказать ему, как они его любят. Я – на правах самого старого и близкого Эмкиного друга – оказывался в каждой из этих компаний. И в каждой из них непременно оказывался и Чухрай.

Вот тут мы по-настоящему и познакомились. И – разговорились.

Заочное мое знакомство с ним было слегка омрачено одним моим выпадом против него, о котором он не мог не знать.

В конце 60-х, или в самом начале 70-х он снял документальный фильм о Сталинграде. Основные события фильма, однако, происходили не в Сталинграде, а… в Париже.

По замыслу Чухрая главная изюминка фильма должна была состоять в том, что группа советских кинематографистов с камерой подходит на какой-нибудь из центральных улиц Парижа (лучше всего – на площади Сталинграда) к одному парижанину, к другому, к третьему и задает им всем один и тот же вопрос: знают ли они, что такое Сталинград? Ни один парижанин, естественно, ответить на этот вопрос не может. Мораль: вот, дескать, мы их спасли от гитлеровской чумы, а они даже не помнят название легендарного города на Волге, где решалась, между прочим, и их судьба тоже.

Если вдруг среди прохожих оказывался какой-нибудь дотошный француз, готовый ответить на этот провокационный вопрос правильно, съемочная группа мгновенно теряла к нему всякий интерес. Говорят, что некоторые парижане были этим крайне обескуражены, а самые настырные из них даже бежали за странными русскими репортерами, пытаясь все-таки донести этот

свой правильный ответ до зрителя будущего фильма.

Так или иначе, фильм был отснят и даже смонтирован. И тогда Чухрай обратился к Эмке с просьбой написать текст для закадрового голоса. Не избалованный литературными заказами, почти начисто отлученный от печатного станка, Эмка охотно взялся за эту халтуру.

Фильм вышел на экраны.

И тут наш Эмочка, привыкший к почти подпольному существованию и вдруг оказавшийся одним из создателей произведения, получившего некоторый как бы даже государственный резонанс, сильно возбудился и стал приглашать всех своих друзей, приятелей и знакомых (а их у него было пол-Москвы) сперва на премьеру, а потом и на все другие официальные просмотры.

Это его возбуждение дошло до такой высокой точки, что некоторых наиболее покладистых приятелей он стал даже приглашать по второму кругу. И тут я не выдержал и сказал ему:

– Эма! Тебе Чухрай дал слегка подзаработать, и я очень за тебя рад. Но ты все-таки должен понимать, что гордиться этой своей творческой продукцией тебе особенно нечего. В сущности, ты ведь принял участие в довольно-таки блядском мероприятии.

– То есть как? – обиделся он.

– А вот так, – сказал я. – Ты сообрази: *откуда* твой Чухрай со своей киногруппой приехал в город Париж? Явились, понимаешь, из фашистского государства к свободным людям и учат их высокой нравственности…

– А-а, – сказал Эмка. – Это конечно. Это я Чухраю и сам говорил. Я даже соответствующее название для этого фильма придумал: «Репортаж из жопы». И даже эпиграмму сочинил… Погоди… Вот!

И он прочел:

Мы о том, что вся Европа —
Это полное говно,
Репортаж ведем из жопы,
Где находимся давно.

Эту историю я рассказал (примерно вот так, как сейчас) в своей книге «Перестаньте удивляться!», и до Чухрая она, как я понял, дошла. И он, естественно, был ею слегка – а может быть, даже и не слегка – обижен.

Он со мною на эту тему никогда не заговаривал. А о том, что обида была, я узнал от Эмки, который мне эту обиду (не столько свою, сколько чухраевскую) в один из своих наездов в Москву и высказал.

– Последнего варианта ты не видел, – сказал он. – Чухрай потом все переделал, и фильм получился очень хороший. И вообще, почти ничего, о чем ты там говоришь, в фильме не было. Все это ты сочинил.

– Да? – ехидно спросил я. – А стишок про «репортаж из жопы» тоже я сочинил?

Отрицать, что стишок сочинил он, Эмка не мог и не стал. На том наш разговор на эту тему тогда и закончился.

Чухрай, как я уже сказал, в наших разговорах эту болезненную тему никогда не затрагивал. А я – тем более. Ведь я говорил с ним как со *своим* . Как же иначе? Он был другом – и близким другом – моего друга Эмочки. А это уже само по себе было *знаком качества.* И не только качества, но и *направления ума.*

Но даже и без этого знака… Чтобы считать его *своим,* мне было довольно уже одного того, что первым самостоятельным фильмом Чухрая был фильм «Сорок первый», снятый им в 1956 году по некогда знаменитому, а тогда уже совсем забытому рассказу Бориса Лавренёва.

…

> *Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха-Отрок.*
>
> *А стал первым на счету девичьей радости. Выросла в Марюткином сердце нежная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини.*
>
> *От нее, от сини этой, светлела жизнь.*
>
> *(Борис Лавренёв. Избранное. Л., 1935)*

Случилось это потому, что попавший в плен к красным поручик и назначенная ему конвоиром на последнем его пути «в штаб Духонина» красногвардейская девушка Марютка волею обстоятельств оказались вдвоем – как Робинзон и Пятница – на крошечном необитаемом островке. И тут случилось то, что не могло не случиться. И возникла между ними не только физическая, но и – как ни дико это звучит – духовная близость.

Поручик изливает Марютке свою душу, делится с ней самым сокровенным, исповедуется перед ней так, как там, в той жизни, из которой их выбросило на этот необитаемый остров, не стал бы и перед самым близким другом:

...

– Я тебе вот что хотел сказать, Машенька: очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи и злобищи. Не с пеленок же я солдатом стал. Была когда-то и у меня человеческая, хорошая жизнь…

Поручик криво и зло усмехнулся.

– А война доконала. Своими руками живое сердце свое человеческое на всемирном гноище, в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее, как в невесту… А она… Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину. За погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. А за погоны и драться не стоит. И вспомнил настоящую, единственную человеческую родину – мысль. Книги вспомнил, хочу к ним уйти и зарыться, прощения у них выпросить, с ними жить, а человечеству за родину его, за революцию, за гноище чертово – в харю наплевать.

(Борис Лавренёв. Избранное. Л., 1935)

Открывая ей свою душу, он не сомневается, что девушка,

нашедшая с ним свое первое девичье счастье, конечно же, поймет его и разделит эти его чувства.

Но – не тут-то было:

…

– Так!.. Значит, земля напополам трескается, люди правду ищут, в кровях мучаются, а ты байбаком на лавке за печью будешь сказки читать?

(Там же)

И на этом – кончается, взрывается их короткий «классовый мир»:

…

– Исполать тебе, царица амазонская. Пятница моя любезная. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно, поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли!

– Что? Неужели в самом деле поумнел?

– Поумнел, голубушка! Поумнел! Спасибо – научила! Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уже до конца…

(Там же)

Не могу передать, какой отклик в зрительном зале вызывал

этот монолог поручика – тогда, в 1956 году. Только что выслушавшие доклад Хрущёва и узнавшие из него, какой страшной правдой обернулись эти пророческие слова героя чухраевского фильма, зрители – все до одного – сочувствовали белому поручику, были в этом споре на его, а не на Марюткиной стороне. Предвидеть такой эффект было нетрудно, тем более что на роль Говорухи-Отрока Чухрай взял актера редкого не только мужского, но и человеческого обаяния, Олега Стриженова. Уже один только выбор актера говорил о том, что этот эффект не был непроизвольным, непреднамеренным, случайным, что именно таков был его, Чухрая, режиссерский замысел.

Хорошо помня все это, мог ли я теперь, тридцать лет спустя, в 1996-м, не считать Чухрая *своим* ?

И мудрено ли, что, едва только мы с ним сошлись, познакомились и стали разговаривать, первым моим вопросом, обращенным к нему, был вопрос об этом его фильме.

Это был даже не вопрос, а целый ливень вопросов.

Как и когда возник у него этот замысел? Был ли он его собственным или кто-то ему его подсказал? Много ли было препятствий на пути к его осуществлению (я не сомневался, что много) и как он ухитрился их преодолеть?

Оказалось, что страстное желание снять этот фильм возникло у него еще в студенческие годы. И когда после защиты диплома он оказался на первой своей штатной работе (это была Киевская студия), сразу объявил тамошнему начальству, что для первого своего самостоятельного фильма предлагает «Сорок первого» Лавренёва.

Начальство встретило это его предложение с нескрываемым и неприязненным недоумением («Зачем нам на Украине верблюды?»). Но тут ненадолго приехал в Киев любимый вгиковский учитель Чухрая – Михаил Ильич Ромм. И Чухрай поделился этой своей мечтой с ним.

Выслушав его, Ромм ничего на это не сказал, никак и ничем не обнадежил. Но через несколько дней после его возвращения в Москву Чухраю пришла телеграмма от Пырьева (он был тогда директором «Мосфильма»), смысл которой сводился к одному короткому слову: «Приезжай».

Чухрай приехал. И Пырьев, запершись с ним в своем кабинете, сразу взял быка за рога: задал ему один совсем не банальный вопрос.

Он спросил:

– Если бы ты был царь, какой фильм ты хотел бы снять?

Сам по себе вопрос был вроде банальный. Небанальной была только его форма. Но именно в ней, в этой форме, состояло

главное его содержание: говори, мол, как на духу, не оглядываясь на реальность, выкладывай самое заветное, самое несбыточное из своих желаний.

Чухрай ответил, что если был он был царь, хотел бы снять фильм по рассказу Бориса Лавренёва «Сорок первый».

– Но ведь такой фильм уже был?

Да, в 1927 году фильм по мотивам этого лавренёвского рассказа снял Яков Протазанов. Но был он плоский, примитивный. Весь мир там делился на своих и чужих, красных и белых, друзей и врагов, и красноармейка Марютка, застрелившая белого поручика, которого имела несчастье полюбить, в полном соответствии с этой схемой была представлена там героиней, а белый поручик Говоруха-Отрок – фигурой сугубо отрицательной. Я, сказал Чухрай Пырьеву, вижу этот сюжет совсем по-другому. И после двухчасового подробного рассказа о том, как видится ему этот сюжет, Пырьев сказал: «Будешь снимать!»

Ну а что касается второго моего вопроса (трудно ли проходил фильм по инстанциям – уже не мосфильмовским, а министерским), то представить себе мне это было нетрудно: ведь я к тому времени уже почти четверть века состоял в редколлегии сначала одной, а потом другой студии, входивших в состав «Мосфильма», и хорошо знал, как это там у них бывало.

Но некоторые подробности, которые припомнил в том нашем разговоре Чухрай, все-таки меня поразили. Я все-таки думал, что в 56-м, в разгаре хрущёвской оттепели, если не чиновники, не мосфильмовское начальство, так уж, во всяком случае, худсовет поймет актуальность «социального заказа», толкнувшего молодого режиссера выбрать для своего первого фильма такой труднопроходимый сюжет.

Но весь худсовет стеной встал против этого чухраевского замысла. Все члены совета – кто «страха ради иудейска», а кто искренне желая Чухраю добра – советовали ему отказаться от его безумной затеи, заведомо обреченной на неудачу. Говорили, что тут – тупик, из которого нет выхода. Если поручик будет у него отрицательным, фильм выйдет плоским, антихудожественным. А если он будет вызывать симпатию зрителя, фильм окажется идейно порочным.

Дело опять решил Пырьев. Подводя итог этому бурному обсуждению, он жестко сказал:

– Всё! Вопрос решен! Чухрай будет ставить «Сорок первого»!

Но, как только был показан первый отснятый материал, против Чухрая взъярился и Пырьев.

– Ты снимал по сценарию? – грозно спросил он.

Чухрай честно сказал, что нет, снимал как хотел, как считал

нужным в соответствии со своим художественным замыслом.

Отклоняться от сценария было строжайше запрещено: ведь он был *утвержден* . И когда Чухрай признался, что нарушил этот запрет, Пырьев топал ногами и орал на него:

– Я тебя вызвал с Украины, я взял на себя ответственность, поручил тебе сложный фильм, лучшие люди кинематографа утвердили тебе сценарий. А ты, мать-перемать, уезжаешь в пустыню и снимаешь не по сценарию? Вон из кабинета!

Чухрай сказал:

– Не уйду, пока вы не посмотрите материал.

– Ну ты упрямый хохол…

Но отснятый материал все-таки посмотрел. А посмотрев, молча обнял Григория, поцеловал, затащил в свой кабинет, открыл ящик стола и достал оттуда сложенную вчетверо бумажку:

– На! Храни как документ величайшей человеческой подлости.

Выйдя из кабинета, ничего не понимающий Чухрай развернул бумажку и прочел: «Под этой грязной белогвардейской стряпней я не поставлю своего честного имени. Г. Колтунов».

Григорий Колтунов был автором того самого сценария, с которым Чухрай, снимая фильм, не пожелал считаться.

Выслушав этот рассказ (там были и другие, еще более впечатляющие подробности), я окончательно уверился, что Чухрай (Гришка, как любовно называл его Мандель) – *наш человек.*

Еще больше укрепился я в этой своей уверенности,

когда в другом нашем разговоре Чухрай – на этот раз тоже по моей просьбе – подробно рассказал, как он боролся за то, чтобы первый приз на московском кинофестивале был присужден фильму Федерико Феллини «Восемь с половиной».

О том, что вокруг этого идет яростная борьба, я знал. Но – издали. В основном от Эмки, который ежедневно доносил до нас вести с поля сражения.

Однажды он при этом обмолвился, что самому Чухраю фильм Феллини не больно нравится, но, поскольку он на десять голов выше всех других, представленных на премию, не удостоить его высшей награды было бы позором. Это сообщение не слишком расположило меня тогда к Чухраю. Но я подумал, что Эмка тут необъективен: ярый антимодернист, он, быть может, отчасти приписал Чухраю свое отношение к не укладывающемуся в его эстетические категории феллиниевскому фильму.

В моем разговоре с Чухраем сразу выяснилось, что все именно так и было: Феллини и тогда уже был для него звездой первой величины, режиссером номер один в мировом кинематографе, а «Восемь с половиной» он считал великим фильмом.

Чухрай на том фестивале был председателем жюри, и, если бы не он, не его твердая позиция, Феллини ни за что не удостоился бы первого приза. Начальство в самой категорической форме требовало, чтобы первый приз был присужден советскому режиссеру. В качестве лауреата предлагался ленинградский режиссер – не помню его фамилии, но название фильма помню очень хорошо. Он назывался «Знакомьтесь, Балуев!».

Запомнил я его потому, что у нас на «Мосфильме» тогда рассказывали, что Стэнли Крамер (он был одним из членов жюри) об этом предложении высказался так:

– Я, – будто бы сказал он, – считал, что сделал в жизни все что мог и дальнейшее мое существование уже не имеет смысла. Но теперь благодаря московскому фестивалю моя жизнь вновь обрела смысл. Теперь я твердо знаю, что остаток жизни посвящу одной цели: борьбе с такими фильмами, как «Знакомьтесь, Балуев!».

Скрипя зубами кинематографическое начальство отступилось от этого своего плана. Но при том непременном условии, что первый приз получит какой-нибудь другой советский режиссер.

Неважно какой. Важно, чтобы он был советский.

Но об этом не могло быть и речи. Фильм Феллини так разительно отличался от всех других, выставленных на премию, что сама мысль о том, чтобы присудить первый приз кому-нибудь другому, казалась нелепой.

Один из членов жюри сравнил его с самолетом, а все другие фильмы, которые выставлялись на премию, с телегами.

Московский фестиваль считался тогда престижным, и на него съезжались звезды мирового кино: Ив Монтан и Симона Синьоре, Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор, Николь Курсель и Марина Влади. Приезжали не только знаменитые актеры, но и виднейшие режиссеры мира: Джузеппе де Сантис, Стэнли Крамер, Радж Капур…

И на этот раз тоже в жюри входили актеры и режиссеры с мировым именем. И все они, при разном отношении к фильму Феллини, говорили, что альтернативы этому фильму на фестивале нет.

На этом настаивали Жан Маре и тот же Стэнли Крамер.

Крамер, с усмешкой вспомнил Чухрай, высказался так:

– Я не думаю, что «Восемь с половиной» – лучший фильм Федерико Феллини, но это лучший фильм фестиваля. Я не хочу выяснять, почему не все хотят это признать, но, господа, я мужчина и каждый день вынужден бриться. При этом я смотрю в зеркало. Так вот, чтобы мне не было стыдно смотреть на свою рожу, я хочу заявить: меня не было на этом фестивале… Желаю вам успехов!

Поднялся и ушел.

Еще несколько зарубежных режиссеров заявили, что уезжают. Кто-то из них при этом сказал, что никогда больше не пришлет в Москву ни одного своего фильма.

Чешский режиссер Ян Прохазка говорил о фильме Феллини с восторгом, но кончил свое выступление неожиданно:

– Фильм замечательный, но голосовать за него мы не можем…

– Почему? – вскинулся кто-то из иностранных членов жюри. – Вам запретили?

Прохазка в смятении молчал. Но всем было ясно, что из ЦК идет бешеное давление не только на своих, советских, но и на членов жюри из стран соцлагеря.

И главному давлению подвергался председатель жюри – Чухрай.

В ЦК, куда его что ни день вызывали на ковер, ему было сказано, что, если первый приз фестиваля получит Феллини, это будет выстрел в самое сердце партии. И когда Чухрай сказал, что

не понимает почему, беседовавший с ним высокий партийный начальник доверительно ему объяснил:

– Потому что Никита Сергеевич уснул на этом фильме.

– Что ж, – ответил на это Чухрай. – Устал, наверно. У него много другой работы.

– Ты эту демагогию брось! – возмущенный таким кощунством, заорал большой начальник. – Хватит! Будешь делать то, что тебе говорят, или положишь партийный билет!

Но и эта угроза, страшнее которой в те времена не было, не помогла.

Чухрай не подчинился приказу, и первый приз на том фестивале, несмотря ни на что, получил Феллини.

Вот и судите, мог ли я, слушая все эти чухраевские рассказы, усомниться в том, что он – *свой* .

Но стоило только нам от этих – тогда уже исторических – сюжетов обратиться к современности, как сразу же стало ясно: нет, все-таки *не свой* . Не из нашего, из другого, как принято было у нас тогда выражаться, профсоюза.

Это выяснилось сразу,

как только впервые было произнесено в тех наших разговорах имя Гайдара.

О Гайдаре и его экономической реформе Чухрай говорил не то что с неприязнью, а прямо-таки с ненавистью.

Такое отношение к гайдаровским реформам было тогда делом обычным даже в среде убежденных и горячих сторонников демократических перемен, люто ненавидящих тупую и давно обанкротившуюся, а сейчас совсем уже исчерпавшую последние свои возможности советскую экономическую систему.

На словах все мы были убежденные рыночники. Но многие при этом говорили, что к рынку надо было переходить не таким грубым рывком, как это сделал Гайдар. А некоторые даже готовы были повторять доводы ярых сторонников и защитников советской системы, упрекая Гайдара в холодности, бесчувственности, с которой он обрек миллионы стариков на голод и нищету, обесценив их последние денежные накопления, включая и так называемые гробовые, то есть отложенные на похороны.

Примерно так же высказался тогда и Чухрай, и особенно удивляться тут вроде было нечему.

Но менее всего я ожидал услышать такие речи от него.

И вот почему.

Расставаясь с моей любимой «Литгазетой»,

я полагал, что ухожу на вольные хлеба, и, признаться, с некоторым страхом примеривался к ожидавшей меня вольной жизни (боялся, что не смогу кормить семью одними гонорарами, без постоянной зарплаты). Но вышло так, что без зарплаты – хотя и крошечной – я не остался. Меня тут же пригласили членом редколлегии (сперва внештатным, а потом и штатным) на «Мосфильм».

«Мосфильм» состоял тогда из нескольких (сперва шести, потом четырех) более или менее автономных киностудий. Одна из них именовалась *писательской* , другая *актерской* . Та, в которой выпало работать мне, называлась «Юность». Все они мало чем отличались друг от друга. Но одна из них стояла особняком. И это было заявлено уже в самом ее названии: *экспериментальная* .

Создал и возглавил эту экспериментальную студию Григорий Чухрай. А экспериментальной она называлась не потому, что отличалась от других какими-то творческими – режиссерскими или актерскими – экспериментами, а потому, что строилась на совсем особой, непривычной, можно даже сказать, неслыханной в сложившейся советской системе хозяйствования экономической основе.

На словах этот эксперимент как будто укладывался в узаконенную советскую схему, обозначаемую примелькавшимся и потому никого не шокирующим советским словечком «хозрасчет». Но на деле это был даже не эксперимент, а – по тогдашним советским условиям – самая настоящая революция.

В разработке этого задуманного и осуществленного им революционного эксперимента участвовали социологи, психологи, экономисты, юристы, математики. Но чтобы уяснить, в чем состояла самая его суть, нет нужды погружаться в эти научные дебри. Достаточно воспроизвести коротенький эпизод из автобиографической книги Григория Чухрая «Мое кино»:

...

Совет Министров с подачи Госкино утвердил нам 34 штатных единицы. Когда об этом узнали

экономисты Госкино, они долго смеялись и потирали руки от удовольствия.

– Через неделю приползешь к Косыгину на брюхе и будешь просить увеличить штат втрое!

А у нас в штате работало только 19 человек!

Однажды я зашел в бухгалтерию. Было уже поздно, а они все еще работали.

– А что вы не идете домой? – спросил я.

– Работы много навалилось.

– Может быть, вам прибавить работника?

Все дружно отказались.

– Не надо. Это сегодня мы запарились, а вообще мы вполне справляемся.

Я понимал: лишний сотрудник уменьшит доход каждого.

(Григорий Чухрай. Мое кино. М., 2002)

Но кто же позволил Чухраю ввести все эти – революционные по тем временам – новшества? Кто разрешил ему самостоятельно решать, сколько работников должно быть в штате его студии и сколько из них должно быть занято в бухгалтерии?

Не только мосфильмовское начальство, но и сам министр (председатель Госкино) не полномочны были ему это позволить. Только одна инстанция, а точнее – только один человек мог дать добро на проведение этого рискованного чухраевского эксперимента.

Этим человеком был тогдашний Председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин.

Одержимый своей идеей, Чухрай пробился к нему на прием и сумел заинтересовать его своим проектом.

Поначалу Косыгин слушал его недоверчиво, даже с раздражением. Сказал: «Тут крупные специалисты сколько времени бьются, ничего не могут придумать, а вы там у себя все уже решили?» Но чем дальше, тем все больше заинтересовывался чухраевским проектом и в конце концов согласился дать ему возможность попробовать. Оформлено это его согласие было

специальным Постановлением Совета министров СССР об организации Экспериментальной творческой киностудии.

Тут надо сказать, что не красноречие Чухрая подвигло Косыгина, самого жесткого и прижимистого из тогдашних руководителей страны, поощрить чухраевский эксперимент. Говоря о «крупных специалистах», которые уже давно бьются над решением этой проблемы (как вывести страну из экономического тупика, в который ее загнала теория «развитого социализма»), Косыгин имел в виду харьковского профессора Либермана, двумя годами раньше выдвинувшего свои предложения на этот счет, вокруг которых сразу же разгорелась тогда бурная экономическая дискуссия. В конце концов была принята так называемая косыгинская реформа (на Западе ее звали «либермановской»), дававшая надежду на серьезные экономические перемены.

Когда основные принципы этой реформы были утверждены и обнародованы (это случилось в том самом 1965-м, когда Косыгин поддержал экономический эксперимент Чухрая), многие мои приятели восприняли ее чуть ли даже не с энтузиазмом.

Хорошо помню разговор на эту тему с главным редактором нашей студии, известным тогда драматургом Александром Хмеликом.

Человек он был очень даже неглупый, но на косыгинские посулы, что называется, купился. И был очень удивлен, когда на его радостные ожидания я ответил фразой из анекдота: «Съисть-то он съисть, да кто ж ему дасть!»

– Кто может запретить главе правительства, – горячился Саша, – делать то, что он считает разумным и что уже одобрено и утверждено коллективным руководством!

– Ну сам подумай, – говорил я ему. – Деятельность каждого руководителя предприятия жестко регламентирована двумя непреложными законами. Один называется «фонд заработной платы», а другой «штатное расписание». Косыгин вроде как предлагает сохранить первый и отменить второй. То есть дать директору завода право уволить половину своих рабочих, вдвое увеличив зарплату тем, кого он оставит. Или даже уволить три четверти, увеличив остальным зарплату не вдвое, а вчетверо. Могут *они* на это пойти?

– А почему бы и нет? – уже начиная кое-что понимать, не совсем уверенно вопросил он.

– Да ты представь, что будет, если осуществить это в масштабе всей страны. Миллионы, десятки миллионов безработных!..

– Да, – поскреб Саша затылок. – Пожалуй, ты прав.

И, посмеиваясь, мы с ним вспомнили расхожую тогдашнюю

ироническую формулу: мол, все мы делаем вид, что работаем, а начальство делает вид, что нам за это платит.

А я к тому же вспомнил анекдот, скорее всего придуманный, а может быть, и основанный на реальном факте. Приехавший в СССР секретарь ЦК американской компартии посетил будто бы в Ленинграде Путиловский завод. И какой-то рабочий будто бы спросил его, сколько у них там, в Америке, долларов в месяц получает рабочий, скажем, токарь на таком же вот большом заводе, как наш. И главный коммунист Америки ему на это в раздражении будто бы ответил:

– Такой, как вы, ничего не получает!

То, что Саша Хмелик понял не сразу, Чухрай представлял себе очень ясно.

Экспериментальной студии он отдал десять лет жизни. И искренне считал этот свой эксперимент удавшимся. Гордился не только экономическими, но и художественными его результатами.

Но, когда генеральный директор «Мосфильма», вдохновленный его успехами (прежде всего экономическими, конечно), сказал, что всерьез подумывает, не стоит ли весь «Мосфильм» перевести на эту чухраевскую экономическую систему, Григорий пришел в ужас:

...

В это время директором «Мосфильма» был Николай Трофимович Сизов, человек деятельный и неглупый. Он зачастил на нашу студию, задавал вопросы. А я рассказывал ему о свойствах нашей системы, стараясь получить поддержку в нашей борьбе с Госкомитетом. Однажды он пришел к нам в приподнятом настроении.

– Что если завтра я отдам приказ по «Мосфильму» на переход на вашу систему? Что будет?

– Будет хаос, – не задумываясь, ответил я.

(Григорий Чухрай. Мое кино. М., 2002)

И вот теперь Гайдар не одно какое-нибудь предприятие, а *всю страну* перевел на новую экономическую систему.

Мудрено ли, что начался хаос?

Да, в отношении Чухрая к Гайдару и его реформам

была своя логика. Но в других тогдашних его высказываниях на политические темы всякая логика начисто отсутствовала. Там у него просто не сходились концы с концами.

Воспроизвести дословно тогдашние его реплики (кроме одной, о которой позже), а тем более монологи я не смогу. А тут надо – дословно. Поэтому обращусь к его публичным, печатным высказываниям на эти темы.

С наибольшей откровенностью и определенностью те свои мысли и чувства он выразил в одном случайно попавшемся мне на глаза газетном интервью.

Без труда отыскав его сейчас в Интернете, некоторые наиболее выразительные отрывки из него я сейчас приведу.

Выразительным было уже само его заглавие: «Я живу в чужой стране».

Начал он со своих военных воспоминаний:

– Нас бросили на задание, которое было сорвано немцами, ребят уже в воздухе расстреляли, от 14 тысяч осталось 240 человек… Это был такой кошмар…

– Мы вообще никогда не считались с человеческими потерями… – вставляет сочувственную реплику берущая у него интервью журналистка.

И тут он вдруг вскидывается:

…

– Это неправда. То, что сейчас говорят, что мы не умели воевать, а просто завалили своими трупами всю Европу, – полная чушь. Запад еще тогда хотел отнять у нас нашу победу, преувеличивая роль союзных войск. Но ведь под Сталинградом, переломившим ход войны, умирали одни русские, и до Берлина союзники «не дошли» умышленно, опять предоставив умирать нам, штурмовавшим хорошо укрепленный город. Зато, когда в семидесятые я

снимал документальную картину «Память», задавая респектабельным господам в Париже и Лондоне один-единственный вопрос – что они знают о Сталинградской битве? – все пожимали плечами.

Вот оно, значит, как!

Значит, тот его фильм, о котором я говорил Манделю, что участием в его создании ему не стоит гордиться, и который он (Мандель) сам охарактеризовал как «репортаж из жопы», не был для Чухрая случайной обмолвкой. Значит, именно такова была его взвешенная, продуманная, убежденная авторская установка?

Да, именно так.

Вскоре он еще раз подтвердил это в одной из двух своих автобиографических книжек:

…

Я поехал по разным странам. И начал – тогда еще это было не принято – с микрофоном в руках брать интервью на улицах. Я спрашивал прохожих: «Что вы знаете о Сталинграде?» И оказалось, что во всех странах, которые в боях не участвовали, люди ничего толком об этом не знали. «Ха-ха, хи-хи-хи… Да-да… что-то там было, еще при Наполеоне…» <…> В основном это были мужчины – которые, пряча глаза, раздраженно отмахивались или на бегу с плохо скрываемой злостью коротко говорили: «Не знаю!» <…>

Когда я снимал свой фильм, холодная война была в самом разгаре. Она была и кровавой и страшной, под стать «горячей» войне. Моей задачей не было подлить масла в огонь и продолжать ссорить нас с нашими бывшими союзниками. Я лишь предупреждал зрителя:

западная пропаганда успешно убедила своих граждан, что только они, наши союзники, победили во Второй мировой войне. Они хотят, чтобы люди забыли о наших жертвах и победах. Они фактически узурпировали наши заслуги и нашу славу.

(Григорий Чухрай. Мое кино. М., 2002)

А в другой, тоже автобиографической, мемуарной своей книге он эту любимую свою мысль еще и развил, углубил и расширил, доведя ее уже до полного исторического абсурда:

…

Вторая мировая война только на первый взгляд была войной антигитлеровской коалиции против германского фашизма, по существу она была задумана и осуществлена как война капиталистического Запада против Советского Союза.

(Григорий Чухрай. Мое кино. М., 2002)

О переменах, происходивших в нашей стране на пороге 90-х, в своем газетном интервью Чухрай высказался коротко, одной фразой:

– Мне кажется, что я живу в чужой стране. Чужая жизнь, чужой народ…

В книге он эту свою ностальгию по нашему советскому прошлому выразил еще прямее, еще откровеннее:

…

Недавно мы с женой заговорили о нашей жизни. Сколько светлых надежд и сколько разочарований! И все «во имя светлого будущего». Сегодня вера в «светлое будущее» убита. И нас уверяют, что мы не в

то верили, не то строили, не за то воевали. И вообще «это было наваждение дьявола»…

(Там же)

Какие-то концы с концами он все-таки свести пытается. Но трудно, трудно это ему дается.

…

Заслуги Сталина в победе в Великой Отечественной войне были ничтожны по сравнению со значением героизма и силы духа нашего народа. Но главное – они были ничтожны в сравнении с виной Сталина. Виной в том, что война эта с нашей страной вообще началась, и виной в том, чем эта война для нас обернулась!

Я рассказывал о преступно неразумных действиях Сталина накануне войны, о том, какие он вытворял фокусы. Ведь именно в результате цепи его нелепых поступков мы оказались абсолютно не готовы к наступлению немцев, понесли столько потерь и потерпели столько поражений, особенно в самом начале войны.

Но в своей картине мне было очень важно сказать всю правду о происшедшем, какой я ее знал. Поэтому в финале я сказал и такие слова: «Все это было. Но мы победили. И другого Верховного Главнокомандующего у нас не было».

(Там же)

Получается, что как ни плох – и даже ужасен – был Сталин, но и он все-таки тоже кое-что сделал для нашей победы. И, умолчав об этом, нельзя было сказать *всю правду* о той нашей большой войне.

Нет, не сходятся у него концы с концами. Никак не сходятся:

...

Жизнь наша состояла не только из ГУЛАГа, как представляют себе современные правдолюбы. Она была полна высоких и честных стремлений, уважения к женщине, к труду, желания сделать людям добро. Не получилось. Не их в этом вина. Они погибли за то, чтобы жила их страна, жил народ, чтобы совершенствовалась и делалась справедливее власть в стране. Трагическая и славная судьба!

(Григорий Чухрай. Моя война. М., 2001)

«Современные правдолюбы» – это из словарного запаса самых вульгарных советских пропагандистских штампов. И в эту стилистику – силой инерции – он впадает все чаще и чаще:

...

О кровавых преступлениях Сталина я, как многие мои сверстники, узнал только в зрелости, после XX съезда. Это было шоком для моего поколения.

Мы мечтали смыть с нашей истории грязь и кровь сталинизма. Это была наша страна, мы любили ее. Мы шли за нее на смерть и делали все, что от нас зависело, чтобы жизнь в ней становилась свободнее, богаче, справедливее. Потом наше знамя антисталинизма перехватили диссиденты. <…> Запад поддерживал их в конечном счете разрушительную работу, способствовал их популярности, делал героями страны, борцами за правду.

(Григорий Чухрай. Моя война. М.,

2001)

В разговорах наших – тогда, у Манделя – он так не высказывался. Понимал, что в нашей компании, сплошь состоявшей их тех самых «правдолюбов» и «диссидентов», сочувствия этим своим мыслям не найдет. Только однажды проговорился, подведя итог одному из наших разговоров на эту тему такой грустной репликой:

– Вы, диссиденты, хотели разрушить советскую власть, а разрушили Россию.

– И поэтому, – поддел я его, – вы будете голосовать за Зюганова?

– Нет, – покачал он головой. – За Зюганова я голосовать не буду.

И после короткого раздумья (говорить, не говорить?) решил все-таки признаться.

– Я, – сказал он, – буду голосовать за генерала Лебедя. Знаю, вы сейчас скажете, что он – полковник Скалозуб…

– Ну что вы, – сказал я. – Какой он Скалозуб! До Скалозуба ему еще расти и расти. Он – тот фельдфебель, которого Скалозуб собирался дать «в Вольтеры» московским «либералистам» (по-нашему, по-сегодняшнему говоря, диссидентам): «Он в две шеренги вас построит, а пикнете – так мигом успокоит».

А насчет Горбачёва мне случилось тогда

вступить в более бурную и развернутую дискуссию. Чуть ли даже не с ним самим. Во всяком случае, в его присутствии.

Вышло это так.

Мне надо было передать какой-то мой текст Олегу Хлебникову. Мы с ним хорошо сработались еще в ту пору, когда он был заведующим отделом литературы в «Огоньке», главный редактор которого Виталий Коротич на заре перестройки охотно меня печатал. Коротичевский «Огонек» к тому времени уже давно прекратил свое существование, но мое сотрудничество с Олегом продолжалось в разных других изданиях, в которых ему случалось работать. (Продолжается оно и сейчас в «Новой газете».)

Сговариваясь, где бы нам пересечься, мы с Олегом быстро установили, что одинаково удобным для нас обоих местом встречи может стать здание Фонда Горбачёва, располагавшееся неподалеку от моего дома: чтобы добраться до него, мне нужно было только перейти подземным переходом через Ленинградский проспект. А почему Олегу удобно было встретиться со мною именно там, я не спросил.

Оказалось, что на будущих, по срокам уже вплотную приблизившихся к нам президентских выборах Олегу предстоит выступить в роли *доверенного лица* Михаила Сергеевича Горбачёва. И как раз вот сегодня, сейчас, в то самое время и в том самом месте, где он назначил мне встречу, намечалось провести какое-то важное предвыборное мероприятие. Михаил Сергеевич будет встречаться… С кем? Со своими *доверенными лицами* ? Нет, не только… Ну, в общем, с общественностью. С самой влиятельной частью своих… Единомышленников?.. Нет, не только… Ну, в общем, всех, кто захочет с ним встретиться и от него самого услышать, с какой программой он идет на выборы, зачем и почему решил выставить свою кандидатуру.

Отдав Олегу свою рукопись, я собрался уходить, но Олег уговорил меня остаться. Уговорить меня ему было нетрудно: мне и самому было любопытно увидать Михаила Сергеевича вблизи и послушать, что он скажет.

Когда я вошел в зал заседания, странная открылась моему взору картина. Доверенные лица, или представители общественности, или… не знаю, как их следовало называть, сидели по обе стороны длинного заседательского стола. Было их

там не менее полусотни, но – «узок был круг этих революционеров». Узок не потому, что их было мало, а потому что все они были мне хорошо знакомы. И все – все до одного – были «из нашего профсоюза», то есть, по моим понятиям, должны были, как и я – деваться некуда! – голосовать за Ельцина. (Как вскоре выяснилось, так оно и было.) Какая же нелегкая их сюда занесла?

Но самым странным в той открывшейся моему взору картине было не это.

На председательском месте, естественно, восседал Михаил Сергеевич. А бок о бок с ним одесную – мой друг Эмка, а ошуюю – Андрей и Марья Синявские.

Тут, впрочем, правильнее было бы сказать не «Андрей и Марья», а «Марья и Андрей», потому что Андрей сидел тихий как мышь, а речь – и от своего, и от его имени – держала Марья. Так это у них было заведено. Андрей, когда кто-нибудь выражал ему по этому поводу свое недоумение, а нередко даже и недовольство, неизменно отвечал давно заготовленной на этот случай репликой: «Если человек завел себе собаку, это избавляет его от необходимости самому лаять». Такая вот была у них «шутка юмора».

Итак, Андрей помалкивал, а Марья… Марья бушевала.

Когда я вошел, она схлестнулась с Манделем, который имел неосторожность сказать, что в России народ искони привык уважать генералов и поэтому, чтобы к власти не пришли опять коммунисты, не лучше ли всем нам отдать свои голоса генералу Лебедю.

– Ну да! Ну да! – саркастически отвечала ему Марья. – Я люблю Ваню, но замуж выйду за Петю… И что это вы все так боитесь коммунистов? Я жила при коммунистах и не вижу в них ничего страшного… Ну, придут коммунисты… Ну и что? Опять заведут страну в тупик и через четыре года, на следующих выборах, провалятся и вынуждены будут уйти.

Уже с порога я углядел себе свободное место за тем длинным столом – не слишком далеко от председательского, но и не очень к нему близко – и уютно на нем пристроился, твердо решив, что ни в какие дискуссии влезать не буду.

Но, услышав эту Машину речь, не выдержал и с ходу ввязался в драку. Сказал, что если коммунисты на этих выборах возьмут власть, то не для того, чтобы через четыре года опять отдать ее. Если уж они придут, то не на четыре года. Мы, чай, тут не в Европе живем, знаем, как с ними это бывает.

И – тоже не без сарказма – добавил: хорошо, мол, тебе, Маша, так рассуждать, живя в Париже. А мы, живущие здесь, такую

роскошь позволить себе не можем.

Ну и, поскольку моя реплика поневоле превратилась в маленькую речь, в заключение сказал, что, при всем моем уважении к Михаилу Сергеевичу, голосовать за него я не буду, потому что, отдавая ему свои голоса, мы тем самым ослабляем и без того слабую позицию Ельцина и усиливаем и без того достаточно прочную позицию Зюганова.

Как тут же выяснилось, эту нехитрую мысль уже до меня, а потом и после меня высказывали многие, чуть ли не все сидящие за тем длинным столом. И после каждого такого выступления Марья повторяла эту свою, видимо, очень понравившуюся ей реплику:

– Ну да! Ну да! Я люблю Ваню, но замуж выйду за Петю.

Эту же шпильку воткнула она и в меня после той моей маленькой речи.

И тут я разозлился и сказал, что не люблю ни Ваню, ни Петю и замуж не собираюсь ни за того ни за другого. И уже в более раздраженном и даже агрессивном тоне посоветовал Михаилу Сергеевичу уже сейчас сойти с беговой дорожки, то есть самому снять свою кандидатуру.

Михаил Сергеевич на это ничего не ответил, сказал только, что сперва всех послушает, а уж потом, как он выразился, даст свой анализ.

Этим же словом он потом и заключил свою – не очень длинную – речь, повторив еще раз:

– Таков мой анализ.

Ничего, кроме этой заключительной реплики, я из той его речи не запомнил.

Хотя – нет, запомнил еще одну. О Ельцине.

– Вы, – сказал он, – Бориса Николаевича только теперь увидали во всей его красе. А мне пришлось узнать его раньше.

Но тут же добавил, что, если выборы состоятся, если президент их не отменит (такой вариант тогда рассматривался как вполне вероятный), то он этим заслужит (или вернет себе – точно не помню) наше уважение.

Когда заседание кончилось, я подсел к Андрею и высказал ему свое возмущение по поводу заявления Марьи о том, что ее ничуть не страшит опасность коммунистического реванша. И снова повторил: легко так рассуждать, имея квартиру и даже собственный дом в Париже.

Говоря ему все это, я надеялся, что он ответит в том роде, что ладно, брось, что ты, Марью не знаешь? На самом деле ни она, ни я так, конечно, не думаем.

Но он ничего такого не сказал. Отреагировал только на мою

реплику про дом в Париже, церемонно и даже с некоторым пафосом произнеся: «Двери моего дома для тебя всегда открыты». А от обсуждения существа дела – уклонился.

Я все-таки остался тогда при убеждении, что, случись ему самому всерьез и публично высказаться на эту тему, ничего похожего на то, что тогда брякнула Марья, он бы нипочем себе не позволил.

Но оказалось, что это не так.

Не только позволил, но и развернул крикливую Марьину реплику в целую политическую программу:

…

Меня часто спрашивают: «Почему вы не боитесь Зюганова? Вы же сами пострадали при коммунистах. Неужели вы забыли про то, как сидели в лагере за свои литературные произведения?»

Я ничего не забыл, и коммунистическая доктрина мне так же чужда, как тридцать лет назад, и за Зюганова я голосовать не намерен. Но товарищ Ельцин мне не менее отвратителен, и я убежден, что для России сегодня это еще большее зло, чем нынешние коммунисты. Почему? Да потому что когда 30 процентов населения в результате ельцинско-гайдаровских реформ оказались за чертой бедности, им ничего не оставалось, как потянуться к оппозиции, то есть к коммунистам. Они-то и составили основной электорат Зюганова. Таким образом, именно ельцинская политика привела к росту прокоммунистических настроений в России, которые будут только расти, если Ельцин останется на второй срок. А теперь рассмотрим систему запугивания.

РЕПРЕССИИ. Кого могут репрессировать коммунисты?

Чахлого интеллигента за вольное слово? Но ельцинский режим так девальвировал это слово, так наглядно показал, что вы можете кричать о чем угодно, а мы все равно будем делать что хотим (Чечня, например), что вряд ли скоро вернется его стоимость.

ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ. Да какой криминалитет это позволит? Ведь реальная власть в стране – это не президент, а неизвестные молодые (или не очень) воровские авторитеты, которые стоят за этой фикцией. В стране слишком много оружия, чтобы передел награбленного при Ельцине стал вероятным.

КОММУНИСТЫ. Нынешние коммунисты давно уже не фанатики, готовые погубить себя и других за высокую идею, а резвые ребята, рвущиеся к государственному пирогу, которым очень нужны все вольности последнего десятилетия: и поездки за границы, и порнофильмы, и циркуляция денег туда-сюда, и дети в Гарварде, и виллы во Флориде. И вряд ли они обменяют сегодняшние возможности ВЛАДЕТЬ на когдатошнее право только УПРАВЛЯТЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАХА. С начала перестройки прошло 11 лет. Тем, кому в 85 году было 10–12 лет, сегодня 21–23. Они выросли уже достаточно свободными от страха политических репрессий. И я не верю, что эта молодежь так просто откажется от права думать и говорить.

Более того, победа коммунистов на выборах заставит ту часть интеллигенции, которая не пойдет

им служить, сплотиться в оппозицию, и наконец-то в России появится широкая оппозиция, а не только ничтожная группка смельчаков-диссидентов. К тому же не следует забывать, что за любым шагом зюгановцев будет следить с опаской весь мир, тогда как Ельцину все прощается – и расстрел Верховного Совета, и Чечня.

Стариков, правда, жалко. Тех, кто от обездоленности, от нищеты отдаст голоса Зюганову, а хлеба все равно не получит.

Мы только что провели три недели в Москве, где встречались с представителями и поклонниками разных кандидатов, и даже приняли участие в предвыборной поездке Горбачёва в Волгоград. Наш сын, когда узнал, что мы едем с Горбачёвым, кричал по телефону из Парижа: «Мама! Если будут стрелять, не вздумай прикрывать его собственным телом – для этого есть охрана в бронежилетах!» До стрельбы не дошло, но встреча с избирателями начиналась грозными криками, которые через 5 минут перешли в острейший разговор, а еще через 10 минут разговор стал спокойным и доброжелательным, а потом Горбачёва не отпускали и хотели говорить с ним еще и еще. Самое характерное, что все беды ельцинского правления народ перекладывает на Горби – и гайдаровскую реформу, и роспуск Союза, и Горбачёву все время приходилось доказывать, что он не Ельцин, а совсем наоборот. <…>

А Горбачёв мне понравился. Я люблю смелых людей, и меня привлекает человек, который не

побоялся раскачать свое тяжелое генсековское кресло (а мог сидеть в нем долго-долго), осмелился вернуть Сахарова из ссылки, а диссидентов из лагерей, рискнул дать стране свободу слова и выборы, а главное – не боится сегодня выходить на выборы под крики старых коммунистов («Иуда!») и презрительные смешки некоторых интеллигентов: дескать, отработанный пар, пройденный этап. Как человек западного склада, Горбачёв понимает, что политик – это навсегда, чего не могут осознать наши русские умы, для которых политик – это пока не скинули.

Пока что это единственный лидер, уже сделавший что-то доброе для страны и для всего мира.

(Андрей Синявский. Предвыборные страхи и ужасы России. Нью-Йорк таймс, 1996. Май)

Высказанное в этой декларации отношение Андрея к Горбачёву я с грехом пополам еще мог бы понять.

Я не меньше, чем он, ценил (и ценю) все, что сделал М. С. Горбачёв для страны и мира. Я тоже считал (и считаю) его фигурой исторической. Именно ему мы в первую очередь обязаны тем, что наконец-то рухнула, развалилась ненавистная нам окаянная, насквозь прогнившая, тупая советская система.

Но Горбачёв в какой-то момент стал тормозом на пути им самим развязанных перемен. И именно Ельцин, как к нему ни относись, сделал следующий шаг. Именно он – и призванный им для этого и до поры поддерживаемый им Гайдар – сделали все, что было в их силах, чтобы довершить то, на что Горбачёв оказался не способен: похоронить экономику сталинско-брежневского социализма, сменив ее другой, хоть и уродливой, но все-таки тяготеющей к рынку формой собственности.

Мне казалось, что Андрей не мог этого не видеть, не понимать. И всему этому не сочувствовать. Ведь совсем недавно – буквально только что – он так позиционировал себя и свои политические взгляды:

...

В диссидентском движении (в особенности на эмигрантской почве) в последнее время происходит очевидный раскол. Это раскол на два крыла или направления, которые условно можно обозначить как авторитарно-националистическое крыло, во-первых, и либерально-демократическое, во-вторых. <…> Сам я принадлежу к либерально-демократическому крылу. Не потому, что я верю в скорую победу свободы и демократии в России. Напротив, в такую победу я совсем не верю. Во всяком случае, я не вижу такой перспективы в ближайшем, обозримом будущем. Но в условиях советского деспотизма русскому интеллигенту подобает, на мой взгляд, быть либералом и демократом… Пускай, допустим, у демократии как социально-государственного устройства нет никакого будущего в России. Все равно наше призвание – оставаться сторонниками свободы.

(Абрам Терц. Путешествие на Черную речку. М., 1999)

И вдруг – такое:

…

Коммунистическая доктрина мне так же чужда, как тридцать лет назад… Но товарищ Ельцин мне не менее отвратителен, и я убежден, что для России сегодня это еще большее зло, чем нынешние коммунисты.

(Там же)

Такой поворот на сто восемьдесят градусов, казалось, должен был вызвать у меня недоумение. И так, наверно, оно бы и было,

если бы тремя годами раньше он не выступил – в паре с Максимовым – с публичным заявлением против Ельцина, разогнавшего коммунистический Верховный Совет и силой подавившего попытку очередного коммуно-фашистского реванша.

После этого Андрей уже ничем не мог меня удивить.

А вот документ, написанный (во всяком случае – подписанный) им совместно с Владимиром Максимовым, не то что удивил, а прямо-таки изумил меня. Можно даже сказать – потряс.

Но об этом мне еще предстоит рассказать. А сейчас пришло время свести вас с еще одним персонажем этого моего причудливого повествования.

Часть четвертая

Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь, как человек.

Булат
Окуджава

В 90-м или 91-м позвонил мне приехавший из Парижа в Москву Володя Максимов

Вводить в повествование нового героя вообще-то полагается не так.

Лучше, наверно, было бы начать с рассказа о том, как и когда мы с ним познакомились; может быть, даже попытаться набросать его портрет.

Последнее тут было бы особенно уместно, и соблазн хоть попробовать был велик: уж больно колоритная была фигура. Но для этого мне не хватало изобразительных средств, так что нечего было даже и пытаться. Однако и отказываться от этого я не хотел. И вдруг вспомнил, что такой портрет уже нарисован, и нарисован мастерски, и тут же, не раздумывая, решил вставить его в свой текст.

...

С Максимовым я познакомился в начале шестидесятых.

Как-то пришел в «Литературную газету», там сидели Инна Борисова, темноволосая, с большими серыми глазами, и рыжеватая Ира Янская. Занимались выискиванием среди знакомых стукачей, может быть, даже не очень понимая, что это значит. Ира рассказывала, что вчера встретила Толика.

– Какого Толика? – перебила Борисова. Рассказчица назвала известного поэта.

– Он стукач? – спросила Инна.

– Откуда я знаю? Я знаю, что он дружит с Журавлёвым.

– Значит, стукач.

– Почему ты так думаешь?

– Потому что сам Журавлёв стукач…

В другом несветлом углу комнаты за большой пишущей машинкой горбился молодой человек с красным мрачным лицом. Одним пальцем он выстукивал на машинке какой-то текст, и по ярости, с какой он это проделывал, было видно, как он ненавидит то, что описывает. Вдруг он с грохотом отодвинул стул и забегал по комнате, размахивая правой рукою и говоря неизвестно кому:

– Позвольте, господа, вы утверждаете, что я очерняю действительность. А вы давно не были в провинции? А вы не пили спотыкач в пристанционном ларьке? А вы не видели, как работают женщины на лесоповале? Я всего этого насмотрелся и не вижу никакой разницы между вашими Бабаевским и Казакевичем.

Инна спросила:

– Вы знакомы?

– Нет, – сказал я.

Молодой человек сунул мне руку и, кося глазом в сторону, буркнул сквозь зубы:

– Мсимов.

– Как? – переспросил я.

– Володя Максимов, – сказала Инна. – Ты же читал «Тарусские страницы».

– Да, конечно.

Рука у него была покалечена, пальцы собраны в щепоть, как складывают их таджики, когда едят плов.

(Владимир Войнович. Автопортрет. Роман моей жизни. М., 2012)

Примерно вот так же произошло и мое знакомство с Володей Максимовым. В то же самое время, при сходных обстоятельствах

и – это уж точно! – в той самой комнате.

Комната эта была моя. Точнее – моя и той самой «темноволосой с большими серыми глазами» Инны Борисовой, которая познакомила Войновича с Максимовым.

Наши громоздкие письменные столы (мой и Инны) стояли один против другого. Но при всей их громоздкости в комнате еще оставалось много свободного пространства. Это была самая большая и самая светлая комната на нашем шестом этаже, и все другие сотрудники литературного отдела, ютившиеся в своих тесных клетушках, нам с Инной завидовали.

Но при всех несомненных достоинствах и преимуществах этого роскошного – моего и Инны – кабинета был у него один существенный недостаток.

В нем постоянно толпился народ.

Все друзья и любимые авторы не просто заглядывали к нам на минутку-другую, а появлялись в нашей комнате с самого утра, и каждый – эта шутка стала у них чем-то вроде пароля – с порога объявлял, цитируя Ильфа и Петрова, что он к нам «пришел навеки поселиться». И поселялся.

Кто-то – как Максимов – сидел в углу за старой пишущей машинкой и творил свою вечную «нетленку». А в другом углу угнездились шахматисты, и оттуда постоянно доносились одни и те же выкрики: «Я тебе в начале партии вернул ход или не вернул?.. А-а, забыл… Ну так вот вспомни!»

В общем, это был не рабочий кабинет, а клуб.

Разберединв эти воспоминания, я совсем было уже настроился – вслед за Войновичем – припомнить не только обстоятельства моего знакомства с Максимовым, но и всю историю наших отношений. Но – удержался: уж слишком далеко это бы меня увело.

За тридцать лет, пролетевших со дня знакомства до начала 90-х, у меня с ним бывало всякое. Но до его отъезда «за бугор» отношения у нас были не скажу чтобы очень близкие, но – вполне товарищеские. Одно время даже дружеские.

В последние годы он, правда, начал меня слегка раздражать. Ударившись в православие, стал регулярно поздравлять меня – по телефону, конечно, – со всеми православными праздниками.

Ничего худого он при этом, наверно, в виду не имел. Скорее наоборот: имел в виду одно только хорошее. Как тот пахан в камере, о котором любили рассказывать нам Юлик Фрид и Валерик Дунский. Однажды на Пасху он, поклонившись сокамерникам, произнес традиционное: «Христос воскресе, православные!» А потом, обернувшись к лежавшим в своем углу Юлику и Валерику, поклонился им тоже – и сказал:

– И вам, жиды, добрый вечер!

Регулярно поздравляя меня с православными праздниками, Володя Максимов, наверно, был движим теми же добрыми чувствами. Но пахан, про которого нам рассказывали Юлик и Валерик, – надо это признать – был душевно тоньше, деликатнее Володи: он чувствовал, что обратить свое «Христос воскресе» к жидам было бы неуместно, а может быть, для них, жидов, – кто их знает? – даже и оскорбительно. Вот и нашел свою, как ему казалось, необидную для жидов, деликатную формулу поздравления.

Что же касается Володи Максимова, то он, при всем его уме и таланте, не понимал, что эти его поздравления мне не только не нужны, но даже слегка меня коробят своей подчеркнутой нарочитостью.

А впрочем, может быть, он искренне верил, что раньше или позже я тоже обращусь к истинной вере, как это случилось с нашим общим дружком Феликсом Световым.

Как бы то ни было, до отъезда Максимова в эмиграцию отношения у нас сохранялись вполне дружеские.

Иногда (не слишком часто) он звонил мне и из Парижа, всякий раз заканчивая разговор предложением опубликовать что-нибудь в его «Континенте». Теми его предложениями я не воспользовался, но разговоры были вполне дружелюбные. А вот на московский его звонок я отвечал довольно холодно. (Почему – станет ясно из дальнейшего.)

Однако закончил я тот разговор – наверно, желая слегка смягчить свою холодность – умиротворяюще. Сказал:

– Ладно, Володя. Авось как-нибудь, Бог даст, еще свидимся. В Москве или в Париже…

И тут он сказал:

– Но ведь ты был в Париже.

Сказал – со значением. С нажимом на слове «был».

Смысл этой его реплики был такой: «Был и не захотел со мною увидеться, даже не позвонил».

Так оно на самом деле и было. Но не позвонил я ему тогда и не пожелал с ним встретиться не «страха ради иудейска», как он, наверно, подумал, а совсем по другой причине.

Но сперва – о том, как это вдруг получилось, что я оказался в Париже

Я уже упоминал, что до перестройки был, как это у нас называлось, *невыездной* .

Но началась перестройка, и все изменилось. Во всяком случае, начало меняться. И в один прекрасный день (дело было осенью 1988-го) позвонила мне Ирина Эренбург и огорошила:

– Вы едете в Париж?

Я рассмеялся:

– Бог с вами, Ирина! Откуда вы это взяли?

– Я только что встретила Володю Корнилова, и он мне это сообщил. А когда я сказала, что ничего про это не знаю, усмехнулся: «А-а, значит, он даже от вас это скрывает!»

Я позвонил Корнилову и выразил ему свое «пфе». Он сказал, что ему эту новость сообщила Олеся Николаева, которая тоже едет.

Я позвонил Олесе, и она подтвердила: да, действительно, она была на днях в иностранной комиссии Союза писателей, читала список включенных в делегацию поэтов и критиков и, безусловно, видела в том списке мою фамилию.

Не слишком веря, что все это происходит наяву, а не во сне, я все-таки заглянул в иностранную комиссию. И фантастическая эта новость полностью подтвердилась.

Да, действительно, во Францию отправляется большая, представительная делегация. На две недели: неделя в Гренобле и неделя в Париже. Едут: Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Давид Самойлов, Александр Кушнер, Анатолий Жигулин, Евгений Рейн, Олжас Сулейменов, Геннадий Айги, ленинградский критик Адольф Урбан, молодые поэты Иван Жданов, Олеся Николаева, Михаил Яснов… Конечно, конечно, и вы тоже. Почему вы узнали об этом случайно, окольным путем? Ну… Просто мы никак не могли до вас дозвониться… Вот и с Самойловым тоже никак не можем связаться. Кстати, вы не могли бы нам в этом помочь?

В то, что они не могли до меня дозвониться, я, конечно, не поверил. Тем более что до Самойлова я дозвонился в тот же день и без всяких сложностей.

Дезик, правда, ехать во Францию категорически отказался, как я его ни уговаривал. Говорил, что устал, плохо себя чувствует и вообще не больно это ему интересно. Но больше никто из того

списка не выпал, и спустя какой-нибудь месяц, а может быть, даже и месяца не прошло, мы все уже были в Гренобле.

Узнав, с кем мне предстоит лететь во Францию,

я особенно радовался, что в составе нашей так называемой делегации будет Булат. Помимо других, естественных причин этой моей радости тут было еще одно, дополнительное, важное для меня обстоятельство.

После того как я узнал, что Дезик не поедет, выходило так, что Булат был бы там единственным близким мне человеком. Из всех остальных, с кем мне предстояло отправиться в Гренобль, а потом в Париж, я, по существу, если не считать Вознесенского, никого не знал. С Кушнером был знаком шапочно, с Жигулиным, Сулейменовым и Айги и вовсе не был знаком, а про Рейна даже и не слыхал. Не знал тогда о существовании такого поэта.

Отказ Дезика лететь с нами был для меня первым ударом. А перед самым отлетом меня ждал второй, еще более сильный удар: ни в аэропорту, ни в самолете, ни в Гренобле, когда мы туда прибыли, Булата с нами не оказалось.

Он появился на другой день: что-то там у них с Ольгой случилось, из-за чего они не смогли лететь вместе с нами.

Он возник на пороге кантины, где мы обедали. Оглядел ее маленький зал, увидал меня:

– Бен? Рад тебя видеть. Когда мы уезжали, прошел слух, что тебя опять не пустили. А где Славка?

– Как это – где? – удивился я. – Дома.

– А почему ты ее с собой не взял?

– Интересно, как бы я мог это сделать, – усмехнулся я.

– Очень просто, – сказал Булат. – Я всегда им говорю, что без жены никуда не езжу.

– Ну, знаешь, если бы я им такое сказал, они бы решили, что я спятил. И только обрадовались бы: не хочет ехать без жены, пусть сидит дома.

На это Булату возразить было нечего. Но он не мог стерпеть, чтобы последнее слово осталось не за ним.

– Ну, не знаю, не знаю, – сказал он и двинулся к своему столику, за которым уже сидела Ольга.

Это его любимое присловье («не знаю, не знаю»)

было мне хорошо знакомо чуть ли не с первых дней нашего знакомства.

Не могу тут не рассказать, при каких обстоятельствах я услышал его впервые.

На посту заведующего отделом поэзии в «Литературной газете» Булат сменил Валю Берестова. Тот в один прекрасный день объявил нам, что работа в газете, да и вообще всякая служба, – не дело для поэта и он решил уйти на вольные хлеба. Авось как-нибудь проживет.

При этом он не скрывал, что главной причиной его решения, огорчившего всех нас, да в немалой степени и его самого, был неиссякающий поток графоманских рукописей, на которые он должен был отвечать. Он просто тонул в них и предрекал, что Булат в них тоже утонет и рано или поздно признает, что служба эта и ему тоже не только не по нутру, но и не по силам.

Но Булат не утонул. К общему нашему удивлению, он с этим потоком расправился легко.

Но тут мне придется объяснить, в чем состояла главная трудность, и, пользуясь этим поводом, я не могу удержаться и не рассказать один выразительный анекдот – а лучше сказать, притчу – из собственного моего опыта на этом поприще.

Одно время я кормился при «Новом мире»,

отвечая на рукописи. В основном это был так называемый *самотек* . За каждый ответ платили какую-то ерунду, но я брал свое количеством, благо поток самотека был неиссякаем.

И вот однажды, принеся и сдав очередную пачку своих ответов, уже на выходе, я услыхал голос вахтерши. Она говорила с кем-то по телефону.

– Полу´чите, – говорила она. – Обязательно получите… Когда вы сдали ваши стихи? Месяц назад? Ну вот, скоро, значит, и получите… Все что надо вам напишут… Как, вы говорите, ваша фамилия?.. Булыга?.. Не волнуйтесь, товарищ Булыга, обязательно будет вам ответ… Какой ответ?.. Отрицательный…

Тут я остановился и с интересом стал слушать.

Среди авторов рукописей, ответы на которые я принес, был и Булыга (фамилия довольно редкая, поэтому я хорошо ее запомнил). Отзыв мой на его стихи действительно был отрицательный.

– Это уж я не знаю. Не могу вам сказать, – продолжала меж тем тетя Паша. – Это вам все подробно напишут. А я только знаю, что отрицательный…

Когда разговор был закончен и трубка повешена, я спросил:

– Тетя Паша! А откуда вы знаете, что ответ ему будет отрицательный?

Тетя Паша объяснила:

– А у нас положительных не бывает.

Она была совершенно права. Положительных отзывов на самотек быть не могло, потому что стихи, выходившие на журнальную или газетную полосу, приходили в редакцию другим путем, не из самотека. А смысл (и главная трудность) ответов сводился к тому, чтобы найти форму для более или менее вежливого отказа.

В более разумно устроенной системе мироздания можно было, конечно, найти не такой трудоемкий и дорогостоящий способ. Скажем, просто объявить, что стихи (или рассказы, или романы), авторы которых не получили от редакции никакого ответа, журналу (или газете), в которые они были посланы, *не подошли.* И все тут.

Но встать на этот путь ни одна редакция ни одного печатного органа в необъятной нашей стране не могла.

Дело в том, что в какие-то незапамятные времена было

принято специальное постановление ЦК и Совета министров, согласно которому ни одно из «писем трудящихся», в какие бы инстанции оно ни было направлено, не должно остаться без ответа. И графоманские стихи, рассказы, повести и романы подпадали под эту рубрику, то есть были приравнены к многомиллионным жалобам трудящихся на самые разнообразные несправедливости и тяготы их нелегкой жизни.

Ни для кого не было секретом, что штатные сотрудники редакций справиться с этим потоком не смогут. Поэтому в каждой редакции был выделен специальный фонд для внештатных сотрудников. (Вот таким был и я в «Новом мире».)

В «Литгазете» при нашем отделе литературы кормились три таких утвержденных редколлегией, то есть имеющих официальный статус внештатных, литконсультанта: будущий редактор «Континента» Владимир Максимов, будущий автор повести «До свидания, мальчики!» Борис Балтер и начинавший помаленьку вылезать из своего подполья в легальную печать Эмка Мандель (в то время уже Коржавин).

Максимов и Балтер отвечали графоманам-прозаикам и с делом этим справлялись легко: у них за плечами был большой опыт. А с Манделем была просто беда.

Ответы его доходили до полуметра в длину: он подклеивал каждый новый листок к предыдущему, так что получалась длинная бумажная лента-простыня. Эти свои «простыни» он то и дело терял и бродил по редакционным кабинет в поисках неведомо где оставленного письма. Но главная его беда состояла в том, что за каждым письмом *он видел человека.* И к каждому обращался индивидуально, делясь с ним своим – тоже сугубо индивидуальным и совсем не банальным – пониманием природы поэтической формы. Это был гибельный путь.

Чтобы справиться с должностью литконсультанта и получить за свой труд в кассе хоть какие-то гроши, надо было иметь в запасе какие-то штампы, готовые клише, ими и оперировать.

На этом пути тоже были свои трудности, случались разные казусы, возникали обиды.

Опять не могу удержаться, чтобы не рассказать еще одну

историю из собственного моего литконсультантского опыта, которой я время от времени забавляю разных своих друзей и знакомых.

Самой надежной и выгодной кормушкой для нашего брата литконсультанта-внештатника было еще в пору моего студенчества создавшееся при Союзе писателей специальное учреждение «Литературная консультация».

При этой литературной консультации одно время кормился и мой сын. Сперва – под моим именем, а потом, когда он уже достаточно набил себе руку, и под своим собственным.

Обучая его своему нехитрому ремеслу, я однажды дал ему такой совет:

– Никогда не обрушивай сразу на несчастного графомана все, что у тебя там накипело. Для начала скажи ему что-нибудь поощрительное. Какой-нибудь комплимент… А уж потом…

– А если ничего хорошего в его стихах нет? – возразил сын. – Ну просто не за что ухватиться! Ни одной живой строки…

– Ну, – посоветовал я, – тогда сперва напиши, что стихи его грамотные, гладкие. Что стихотворная речь дается ему легко. Но это, однако, еще не делает его вирши поэзией. Объясни разницу между нехитрым умением складывать слова в рифму и истинным призванием поэта…

Сын внял моему совету и пустил эту мою идею на поток. И вот однажды на один из его ответов пришла жалоба.

«Чтоб Сарнову так легко икалось, – писал в ней оскорбленный в лучших своих чувствах графоман, – как мне легко дается стихотворная речь!»

Без штампов, без готовых клише в этом деле,

как я уже сказал, было не обойтись. Но эти штампы и клише должны были быть разными, и всякий раз надо было соображать, какой из них пустить в ход, в зависимости от того, к кому обращаешься.

У меня в запасе было четыре таких штампа, четыре готовых клише.

Графоманам совсем беспомощным я объяснял, что такое рифма и стихотворный размер. А чуть более продвинутым рекомендовал читать книжку Исаковского о поэтическом мастерстве и статью Маяковского «Как делать стихи».

Графоманам, уже научившимся рифмовать, и даже довольно ловко, я отвечал в духе того совета, который дал сыну: «Стихотворная речь дается вам легко, но…» И т. д.

Третий случай – профессионалы, то есть графоманы, уже печатавшиеся, в числе которых было немало и членов Союза писателей. Им я писал, что при всех достоинствах присланных ими стихов опубликовать их не представляется возможным, поскольку их уровень не соответствует тем высоким требованиям, какие мы предъявляем к стихам, достойным появления на страницах нашего издания.

Ну и, наконец, последний, четвертый, самый трудный вариант – когда отказывать приходилось человеку известному, а порой даже и именитому. В этом случае я писал (апробированная, трижды проверенная, самая надежная формула), что «наш редакционный портфель переполнен», так что в обозримом будущем протолкнуть стихи имярека, при всем уважении к его заслугам, на газетную полосу мне вряд ли удастся, но я со своей стороны сделаю все от меня зависящее, чтобы ускорить этот процесс, дав с ними ознакомиться двум-трем членам редколлегии.

Со всей этой нехитрой механикой я ознакомил Булата, но он сказал, что для него это слишком сложно и вдаваться в такие тонкости он не станет. А отвечать всем будет просто: «Извините, Ваши стихи не вызвали у нас интереса, и опубликовать их на страницах нашей газеты не представляется возможным».

Так он и стриг всех под одну гребенку.

При такой облегченной системе ответов он не мог рано или поздно не нарваться на какую-нибудь мину. И – нарвался.

В этой своей размашистой, разухабистой манере ответил на

цикл стихов, присланный почтенным старым поэтом Всеволодом Рождественским.

Тот был фигурой, можно сказать, реликтовой – один из немногих уцелевших сподвижников Гумилёва, Ахматовой и Мандельштама по «Цеху поэтов».

Получив высокомерный ответ Булата, Всеволод Александрович направил на имя главного редактора газеты разгневанное письмо, в котором писал, что с таким хамским отношением к себе не сталкивался ни разу за полвека своей жизни в литературе, что разговаривать с ним о его стихах в таком тоне не позволял себе даже Николай Степанович, который, как известно, нередко бывал весьма суров в своих оценках.

– Как же это, брат, ты так обмишулился? – сказал я Булату.

И тут выяснилось, что он знал только одного Рождественского – Роберта, а о существовании еще одного русского поэта с такой фамилией даже и не подозревал.

Кратко поведав ему, какого заслуженного человека он обидел, я для убедительности добавил:

– Да и поэт он совсем недурной.

– Да? – недоверчиво спросил Булат

И предложил мне – если это действительно так – прочесть наизусть хоть одно стихотворение этого совсем недурного, как я смею утверждать, поэта. Предложил не без ехидства, не сомневаясь, что сделать этого я не смогу.

Но я смог.

И прочел:

В этой комнате проснемся мы с тобой.
В этой комнате, от солнца золотой.
Половицы в этой комнате скрипят,
Окна низкие выходят прямо в сад.
А в буфете есть вчерашнее вино
Под часами, замолчавшими давно.
Слышишь, травами пахнуло и росой,
Побеги скорее по саду босой.
В эту яблоню все сердце окуни,
Осыпаются под ветром наши дни.

Облетает захмелевшая душа,
А сама-то ты, как яблонь, хороша.

То, что я проявил такую исключительную эрудицию, продемонстрировав, что могу прочесть наизусть стихотворение одного из забытых и далеко не первостепенных поэтов Серебряного века, было чистой случайностью.

Объяснялось это тем, что стихотворение это пел Вертинский. А Вертинского я обожал и мог прочесть наизусть текст любой его песни, хоть разбуди меня среди ночи.

Стихотворение это – не в пример многим другим, которые входили в репертуар Вертинского, – мне действительно нравилось. И я не сомневался, что оно понравится и Булату. Ему, как мне представлялось, особенно должен был прийтись по душе его изысканный, старинный (слегка даже стилизованный под старину) слог: «яблонь» вместо «яблоня». Он и сам ведь был склонен к этой нарочитой архаике: «На твои упадают плеча…»: «упадают», а не «падают», «плеча», а не «плечи».

А тут еще и Вертинский, кровного своего родства с которым Булат не стыдился и не скрывал. И не только как с основоположник ом жанра: у него с Вертинским были даже и прямые лексические, словесные совпадения.

Вспомните:

Как поет в хрусталях электричество,
Я влюблен в вашу тонкую бровь.
Вы танцуете, ваше величество!
Королева любовь.

Это Вертинский.

А вот – Булат:

Тьмою здесь все занавешено
И тишина, как на дне.
Ваше величество, Женщина,
Да неужели – ко мне?
О, ваш визит, как пожарище!
Дымно, и трудно дышать.
Ну, проходите, пожалуйста,
Что ж на пороге стоять.
Кто вы такая? Откуда вы?
Ах, я смешной человек!
Просто вы дверь перепутали,

Улицу, город и век.

Не только по этому его стихотворению судя, но и по многим другим – он и сам тоже перепутал «улицу, город и век».

В общем, по всем статьям выходило, что прочитанное мною стихотворение Всеволода Рождественского должно прийтись ему по душе.

Но реакция его была другая. И совсем для меня неожиданная.

– Не знаю, не знаю, – недовольно пробурчал Булат. – «А в буфете есть вчерашнее вино…». Что это значит – вчерашнее вино? Я грузин, я этого не понимаю. Если в буфете есть вино, его надо выпить сегодня.

А слух о том, что меня «опять не пустили»,

как вскоре выяснилось, возник не на пустом месте.

В Париж мы прилетели днем, а вечером в посольстве по случаю прибытия нашей делегации был устроен банкет. Ну, не банкет – скажем так, праздничный ужин.

Звенели бокалы, произносились тосты.

За длинным банкетным столом мы сидели вперемешку с посольскими.

С сидящей рядом со мной посольской дамой мы как-то сразу нашли общий язык и щебетали легко и непринужденно, как будто не впервые только что увидали друг друга, а знакомы тысячу лет.

Вдруг она сказала:

– Хотите увидеть ночной Париж?

Конечно, я хотел.

Она встала и властно сказала:

– Пойдемте.

Вывела меня к машине, села за руль. Я сел рядом. И мы помчались.

Ночной Париж был прекрасен. Но запомнились мне от этой поездки только мелькающие на ночном небе огни и смутный силуэт Триумфальной арки. И главное, конечно, – ощущение «праздника, который всегда с тобой», пьянящее сознание: Париж, Париж! Какое чудо! Я – в Париже!

Через полчаса мы уже опять сидели на наших местах за банкетным столом (нашего короткого отсутствия, кажется, никто не заметил) и как ни в чем не бывало продолжали нашу легкую и непринужденную светскую беседу. О чем говорили – не помню. Помню только, что вдруг ни с того ни с сего она вздохнула и пожаловалась на то, как им трудно теперь стало работать.

– Трудно? – удивился я.

Мне-то казалось, что теперь, после перемен, происшедших в стране в последние три года, работать им должно быть не в пример легче, чем в прежние, догорбачёвские времена.

– Да? – сказала она, посмотрев на меня в упор. – Знали бы вы, чего мне стоило добиться, чтобы ваша фамилия сохранилась в списке приглашенных!

Я был ошеломлен.

Вот оно, значит, как! Этот банкет, и тосты, и звон бокалов, и волшебная поездка по ночному Парижу – это все, значит, только парадная сторона. А за ней – все то же, хорошо мне знакомое.

Какие-то темные закулисы, где кто-то из сидящих сейчас за этим банкетным столом и произносящих красивые тосты во что бы то ни стало хотел вычеркнуть меня из списка приглашенных на этот праздник.

– Ну что ж, – сказал я, – спасибо, что сумели меня отбить. Что благодаря вам и вашим усилиям я в Париже.

Сказал с полной искренностью, не кривя душой, хоть и подумал, что если и следует мне за это кого-то благодарить, то начинать надо не с нее, а с Михаила Сергеевича Горбачёва.

В Гренобле на одном из первых наших заседаний

произошел такой инцидент.

Входивший в нашу делегацию Олжас Сулейменов позволил себе довольно гнусную выходку. Поспорив о чем-то с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, он заговорил с ним «как русский царь с евреем». Точнее – как советский человек с отщепенцем, невозвращенцем, предателем.

Подробностей и деталей я сейчас уже не помню. Помню только, что в этой своей отповеди Олжас назвал Эткинда *бывшим профессором* .

Запомнилась мне именно эта замечательная формулировка, я думаю, потому, что она поразила меня тогда своей очевидной нелепостью.

«Бывший профессор» был тогда профессором Сорбонны, и это новое его профессорство было уж никак не менее весомым, чем то, которого его лишили в Советском Союзе. Но главным было даже не это. Формулировка была комична сама по себе, и комизм этих привычных для нас советских оборотов обнажил в свое время еще Булгаков в своей «Зойкиной квартире»:

…

Сегодня – рассказывает там у него «бывший граф» Обольянинов – ко мне в комнату является какой-то длинный бездельник в высоких сапогах, с сильным запахом спирта, и говорит: «Вы бывший граф…» Я говорю – простите… Что это значит – «бывший граф»? Куда я делся, интересно знать? Вот же я стою перед вами. <…> А дальше я еду к вам в трамвае мимо Зоологического сада и вижу надпись: «Сегодня демонстрируется бывшая курица». Меня настолько это заинтересовало, что я вышел из трамвая и спрашиваю у сторожа: «Скажите, пожалуйста, а кто она

теперь, при советской власти?» Он спрашивает: «Кто?» Я говорю: «Курица». Он отвечает: «Она таперича пятух». <…> У меня все перевернулось в голове, клянусь вам. Еду дальше, и мне начинает мерещиться: бывший тигр, он теперь, вероятно, слон. Кошмар!

Пока я развлекал себя этими веселыми ассоциациями, событие приняло несколько неожиданный оборот.

Напоминаю, что заря перестройки тогда еще только-только забрезжила, и выходка Сулейменова была вполне в духе сохранявшей всю свою мощь советской официальщины. И хотя эта его выходка возмутила (я думаю) всех присутствующих, в первую минуту никто не нашелся: все сидели как оплеванные.

И тут встал Булат.

Холодно, сдержанно, по форме вполне вежливо, но по существу предельно резко и даже презрительно он высказал Олжасу все, что думает не только о неприличном тоне, но и о самой сути его высказывания.

Олжас ничего не ответил. Тем вроде дело и кончилось.

Но, когда вечером того же дня все мы собрались в кантине за обычным нашим общим то ли поздним обедом, то ли ранним ужином, Олжас вдруг встал и в мгновенно наступившей тишине публично принес Ефиму Григорьевичу свои извинения.

Не знаю, какая там работа перед этим происходила в его мозгу. То ли ему и в самом деле стало неловко, то ли вдруг до него дошло, что времена уже не те и зря он так оскоромился. Как бы то ни было, неприличную свою выходку он решил загладить. И извинился.

В Гренобле мы провели неделю

А следующую неделю – в Париже.

Там – помимо того что Париж – это «праздник, который всегда с тобой» – меня ожидало много впечатляющих встреч, главной из которых была встреча с Синявскими. Они встретили меня как родного, повели в ресторан, угощали какой-то редкостной дрянью – улиткой, которую надо было извлекать из ее скорлупы какими-то специальными щипцами. («Дадим еврею съесть улитку», – сказала злоязычная Марья, заказывая для меня это экзотическое блюдо.)

Потом чуть ли не всю ночь мы гуляли по Парижу, а остаток ночи провели у меня в номере: говорили, говорили – не могли наговориться.

Главной темой этих наших разговоров сразу стала история появления на страницах иерусалимского журнала «22», редактором которого был наш друг Шурик Воронель, сенсационных разоблачений Сергея Хмельницкого.

Меня эта история потрясла.

Не столько даже сама история, сколько давно уже мучивший меня вопрос, на который я не мог найти ответа: зачем Шурик это сделал? Что толкнуло его предоставить страницы своего журнала человеку, которого он ненавидел, для клеветы на человека, которого любил?

Шурик был близким другом Юлика Даниэля (он в свое время нас с ним и познакомил), а значит, и Андрея. С Андреем, правда, он был не так близок, как с Юликом, но и его тоже Воронели числили среди самых близких своих друзей. И вдруг – такой пассаж!

Мне не терпелось узнать: что же произошло? Какая кошка вдруг между ними пробежала?

Но это мое любопытство так и не было удовлетворено. Мне было только сухо сказано, что на самом деле никакой близости между ними (Синявскими) и Воронелями никогда не было.

Зато сама история появления на страницах воронелевского журнала разоблачительных мемуаров Серёжи (так они его называли) Хмельницкого и последовавших за этими разоблачениями событий была рассказана мне так откровенно и подробно, что той ночи для этого рассказа нам не хватило: возвращались мы потом к этой теме еще не раз, и с каждым днем она обрастала все новыми и новыми подробностями, для Андрея и Марьи, да и для меня тоже, очень важными.

Постараюсь сейчас все это припомнить. Но сперва надо

рассказать о том, кто такой был этот Серёжа Хмельницкий и какую роль выпало ему сыграть в судьбе Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Это было в самую раннюю пору нашего знакомства с Воронелями

Шурик и Неля приехали к нам на стареньком, уже в то время устаревшей первой модели, «москвиче», которым владели пополам со своим другом Мишей Гитерманом, что не мешало им время от времени приглашать нас отправиться с ними в какую-нибудь очередную автомобильную прогулку. Иногда целевую, а иногда и совсем бесцельную – просто покататься.

Будучи людьми безлошадными и легкими на подъем, мы всегда были готовы принять каждое их приглашение. А на этот раз, судя по их возбужденным лицам, нас ожидал сюрприз. Не было сомнений, что нас собираются пригласить на какое-то необычное и, по-видимому, представляющее особый интерес мероприятие.

Так оно и оказалось.

Блестя глазами, Неля сказала, что они сейчас едут на защиту диссертации. Диссертант – их хороший знакомый. Друг? Нет, не друг. Скорее – враг. А особый интерес, который вызывает у них эта защита, состоит в том, что там им предстоит стать свидетелями грандиозного скандала. Как им стало известно, на защиту явятся два человека, которых диссертант в свое время посадил. Каждый из них по его доносу получил «десятку», но отсидел только «пятерку» (умер Сталин, и их сперва сактировали, а вскоре и полностью реабилитировали). И вот теперь они собираются сорвать диссертанту праздник, публично разоблачить его, предъявив ему свой счет. Не хотим ли мы поехать с ними, чтобы получить и свою долю удовольствия от предстоящего торжества справедливости?

Мы не захотели. И чем там дело кончилось, я тогда так и не узнал: то ли жертвы доноса раздумали являться на эту защиту и устраивать публичный скандал, то ли им помешали провести эту акцию, но предвкушаемый Воронелями скандал вроде не состоялся. А может быть, все-таки состоялся? Так ли, сяк ли, но от всей этой истории в памяти моей тогда осталось только имя доносчика-диссертанта: Серёжа. Серёжа Хмельницкий.

Эти имя и фамилию я потом слышал от Воронелей часто: они много рассказывали нам об этом своем бывшем друге. А однажды мне случилось даже его увидеть.

Я сидел рядом с Шуриком

уже не в стареньком, а в только что купленном новом «москвиче». Куда мы с ним тогда отправились и зачем, мне сейчас уже не вспомнить. Помню только, что ехали мы по кольцу бульваров в сторону Покровских ворот. И, как это обычно с нами бывало, бурно что-то обсуждали. Шурик вел машину легко и свободно, и обязанности водителя не мешали нашим никогда в ту пору не прекращавшимся спорам. Нередко он даже отрывал руки от руля, чтобы подкрепить какой-нибудь свой тезис сильным и выразительным жестом, что вызывало постоянные нарекания его жены Нели, смертельно боявшейся, что из-за этих его фокусов мы попадем в аварию и вдребезги разобьемся.

Но на этот раз Нели с нами не было, и мы с Шуриком могли без помех наслаждаться нашим спором, чем всю дорогу и занимались. Спорил Шурик всегда азартно, но лицо его при этом всегда выражало предельную степень доброжелательства: этим он словно подчеркивал, что, как бы велики ни были наши разногласия, на наших добрых отношениях они ни в коей мере не отразятся.

И вдруг – сперва я это как-то почувствовал, но сразу же и увидел, – это добродушное, благожелательное выражение его лица резко сменилось другим – жестким, ненавидящим, гневным. Челюсть его выдалась вперед, а глаза источали такую испепеляющую ненависть, что мне стало просто страшно: никогда – ни раньше, ни потом – не случилось мне больше видеть его таким.

Он рванул машину к самой кромке тротуара и включил свой автомобильный гудок на полную мощность, вложив и в него тоже всю силу своей ненависти. И тут я наконец увидел того, на кого эта его ненависть была направлена.

По тротуару шагал плотный, коренастый, коротконогий человек с высоко поднятой головой. Эта высоко поднятая голова и подчеркнуто уверенная, гордая походка словно бы говорили, что шествует он с сознанием своей правоты. Во всяком случае, не признает за гневно сигналящим ему Шуриком никакого права выражать ему свое осуждение.

Был момент, когда мне казалось, что Шурик вот-вот резко повернет руль своего «москвича» и въедет прямо на тротуар с намерением сбить – не только морально, но и физически уничтожить этого ненавистного ему пешехода.

А тот как ни в чем не бывало продолжал гордо вышагивать по тротуару, высоко держа свою голову и сохраняя такое же, как у

Шурика, гневное выражение лица, словно соревнуясь с ним в своем – таком же праведном – гневе.

Но Шурик как-то быстро остыл, успокоился, прибавил скорость, и мы оставили этого гордо вышагивающего позади: пусть себе вышагивает.

И я даже не попросил Шурика объяснить мне смысл этой короткой сцены. Не надо было мне тут у него ничего спрашивать: без всяких расспросов я сразу понял, кто это был. Ну конечно он! Тот самый Серёжа Хмельницкий!

Имя это, как я уже сказал, в наших разговорах с Шуриком всплывало постоянно. Но из всех его рассказов о нем особенно запомнился мне один. Скорее всего, из-за ярко выраженной сюжетности.

Впоследствии Шурик этот свой рассказ записал и даже опубликовал, так что у меня есть возможность привести его тут не по памяти, а в первозданном, во всяком случае авторизованном, варианте.

Вот он.

…

Гости съезжались на дачу. Поздоровавшись с Еленой Михайловной и скинув шубы, проходили к столу, где янтарного цвета чай, заваренный в лучшей манере, разлитый в тонкие стаканы с подстаканниками, напоминал о старинном московском гостеприимстве, дореволюционной интеллигентности и сегодняшнем неустройстве. Впрочем, к чаю были и коржики, скромные, но изысканные.

Гость, ворвавшийся позже других, с мороза раскрасневшись, не мог сдержать возбуждения. Торопливо выкрикнув: «Что я сейчас слышал! Что слышал…» – и, обеспечив себе таким образом всеобщее внимание, он жадно уткнулся в горячий чай. Переведя дыхание, сообщил: «Только что… По автомобильному приемнику… Радио

“Свобода”… Потрясающая повесть… “День открытых убийств”… Какой-то Николай Аржак… Невероятно… Невообразимо талантливо… Вся наша жизнь…»

Увлечены были все. Но с одним гостем определенно творилось что-то неладное. Сергей Хмельницкий краснел, бледнел, задыхался и, наконец, вскочил и заорал: «Да ведь это Юлька! Я – я сам – подарил ему этот сюжет. Больше никто и не знал. Больше никто и не мог. Больше некому. Конечно, это Юлька…»

Я не знаю на самом деле, как подробно он это обосновал. Я также не знаю, сколько стукачей присутствовало среди гостей, спустя сколько времени они доложили об этом случае и как подробно. <…> Но я знаю, что чай у Елены Михайловны не простыл, когда Юлию Даниэлю уже доложили, что он выдан с головой.

(Александр Воронель. Право быть услышанным. Континент. 1992. № 71)

То, что друг Воронелей Серёжа Хмельницкий был сексотом (секретным сотрудником органов), выяснилось довольно скоро. Но лежит ли на нем какая-то толика вины за арест Юлика и Андрея – так и осталось за семью печатями. Об этом можно было только гадать, и те, кто гадал, ни к какому определенному выводу так и не пришли.

…

Юлий отказался встречаться с Серёжей. Мы обсуждали две возможности: или Серёжа искренне и невольно выдал Юлия в этом смертельно опасном деле, или… он сознательно воспользовался

ситуацией, изобразив эмоциональный взрыв, чтобы распределить между случайными гостями ответственность за неминуемый арест Юлия, который тогда вскоре должен последовать. Это второе предположение включало, что Серёжа давно и обдуманно следит за Юлием и Андреем. К такому выводу неумолимо толкала логика партизанской войны, <…> Тут и всплыли слухи о том, что произошло пятнадцать лет назад с Ю. Брегелем и В. Кабо. Ведь они тоже были близкими друзьями Серёжи. <…> Мы уже не могли чувствовать себя друзьями (не только с Серёжей, но и между собой), пока не узнаем всю истину об этом мрачном деле.

(Там же)

Всю истину они так и не узнали – ни тогда, ни потом. Но Хмельницкий был ими единодушно осужден и подвергнут остракизму. Заложил ли он Андрея и Юлика? На этот вопрос у них не было ответа. Но им довольно было и того, что он заложил двух других своих друзей – Юрия Брегеля и Володю Кабо, которые – этого он и сам не отрицал – по его вине оттрубили в сталинских лагерях свою «пятерку».

…

Мы разыскали Брегеля и Кабо. Мы узнали эту печальную истину прежде, чем она превратилась во всеобщее достояние. Мы опередили события не намного. Брегель и Кабо сами пошли навстречу общественности. Они задумали небывалый в советском обществе поступок и мужественно осуществили его. Воспользовавшись буквой закона, позволяющей любому человеку свободно высказаться о

личности диссертанта во время его защиты, Ю. Брегель в апреле 1964 г. на защите Хмельницкого публично зачитал заявление от своего и В. Кабо имени, вскрывающее роковые подробности дела. Он объяснил при этом, что не хочет никоим образом повлиять на голосование о присуждении ученой степени С. Хмельницкому, а только вынужден воспользоваться этой трибуной за отсутствием в советском обществе всякой другой. <…>

Сережа диссертацию защитил. <…> Но он столкнулся с молчаливым бойкотом на всех уровнях. <…>

Широко известному благодаря западной прессе процессу Синявского и Даниэля, организованному властями, предшествовал общественный, так сказать домашний, процесс Хмельницкого, организованный его собственным дружеским кругом и известный далеко не так широко. Этот круг подверг С. Хмельницкого остракизму, оказавшемуся, однако, не менее эффективным, чем возможное осуждение властей, и соперничавшему в сознании современников с репрессиями КГБ. Срок приговора к тому же оказался более длительным, чем сроки, которыми располагала советская власть. Это произошло в мае 1964 г. И сегодня еще нельзя сказать, что эта история кончилась.

Факт состоял в том, что, уже будучи опозорен и заклеймен, он собрал нас всех не для того, чтобы покаяться, а для того, чтобы оправдаться. <…> Нам было мучительно стыдно слушать его (тоже вымученный) лепет, но он ни

разу не обратился к нам как к друзьям. Он воспринимал нас как преследователей. <…>

Юлий совершенно извелся. Он сам не мог понять, приближает ли собственную (и Андрея Синявского) гибель или защищается. Напрасно ли мучит Сергея (потому что я чувствовал, что он что-то знал о Серёже и раньше) или восстанавливает попранную справедливость. Что мне кажется ясным, мы все убедились после этого судилища, что за Юлием и Андреем он не следил и к их делу был действительно непричастен. <…>

Сергей остался без работы, без друзей в Москве, которая превратилась для него в пустыню. В результате его оправданий все друзья получили дополнительную уверенность не только в правоте заявления Брегеля, но и в том, что сам Сергей этой правоты не сознает, не раскаивается и, следовательно, заслуживает своей участи. В кругах, непосредственно с Сергеем не знакомых, он превратился чуть ли не в пугало. Людям вообще легче объединяться на основе чувств отрицательных.

С. Хмельницкий уехал в Душанбе, оставив у московской интеллигенции приятное чувство, что порок наказывается при жизни, а добродетель торжествует. <…>

Итак, мы вычеркнули Сергея из нашей жизни. <…> Но он неожиданно возник на страницах романа А. Синявского «Спокойной ночи». Конечно, мы узнали его <…> И вот он сам прислал нам рукопись «Из чрева китова», которая, хотя и носит литературный характер,

является человеческим документом. Мы не чувствуем себя вправе его игнорировать.

(Александр Воронель. Право быть услышанным. Континент. 1992. № 71)

Всё это Воронель написал, объясняя, почему он решил опубликовать в своем журнале ответ Сергея Хмельницкого Андрею.

Не рискну утверждать, что, если бы он этого не сделал, Хмельницкий не нашел бы какого-нибудь другого издания, в котором – раньше или позже – опубликовал бы этот свой ответ. Может быть, и нашел бы. Но менее всего можно было ожидать, что его опубликует тот самый Шурик Воронель, который, сидя рядом со мной в своем «москвиче», испепелял гордо шагающего по тротуару Сергея ненавидящим взглядом.

Тем не менее сделал это именно он. И сделал на свой страх и риск, воспользовавшись (как я потом узнал) отсутствием двух членов редколлегии возглавляемого им журнала, которые, будь они поставлены им в известность, совершить этот демонстративный акт ни за что ему бы не позволили.

Совершая его, он, конечно, предвидел – не мог не предвидеть, – что за это его осудят и навсегда от него отвернутся ближайшие друзья. И все-таки он на это пошел.

Зачем? Почему?

Неужели только потому, что для его нравственного самочувствия важно было утвердить ту истину, что и самый нераскаянный грешник имеет, как это было сказано в заголовке его предисловия к той публикации, *право быть услышанным* ?

Я готов был бы в это поверить,

если бы Сергей Хмельницкий в том своем ответе Андрею защищался, объяснялся, оправдывался, исповедовался, каялся.

Но он не оборонялся. Он – нападал.

Хотя какие-то нотки самоосуждения там у него были:

...

> *С чувством законной гордости должен признать, что я не ангел. У меня скверный характер, и к окружающим меня людям, среди них и очень близким, я часто отношусь несправедливо и плохо. На моей совести много грехов, среди них по крайней мере один – неискупимый. В разные годы жизни я совершил немало нелепостей и глупостей – вспоминая о некоторых сейчас, испытываю стыд, доводящий до судорог. Должен с прискорбием сознаться, что именно я познакомил когда-то А. Д. с Ю. Даниэлем (что вышло последнему боком) и с его нынешней супругой Майкой (ныне Марьей) Розановой-Кругликовой. Словом, я признаю, что число моих недостатков и слабостей, возможно, превышает среднестатистическое количество этого добра на одну человеческую душу.*
>
> *(Сергей Хмельницкий. Из чрева китова // 22, 1986, № 48)*

Была даже и попытка повиниться, покаяться. Но – как-то поспешно, скороговоркой, словно он понимал, что эту тему ему не обойти, но стремясь как можно скорее от нее отделаться и перейти наконец к главному:

...

За этот грех я расплачивался, расплачиваюсь и буду, конечно, расплачиваться до конца моих дней. Будь я в том году постарше, поопытней да поумнее, – меня, возможно, не так парализовала бы угроза неминуемой гибели: к несчастью, тогда я еще не знал, что смерть – не самое страшное в жизни. Теперь вот знаю – давно уже, – да изменить ничего не могу. <…>

Я купил свободу и, может быть, жизнь ценой свободы двух моих товарищей, ни в чем, конечно, не повинных. Очень, слишком, недопустимо сильно мне хотелось тогда жить.

А Кабо и Бретель были арестованы, один за другим, в 1949 году и приговорены к десяти годам каждый. На свободу они вышли только через пять лет, в счастливое раннехрущевское время. Но гораздо раньше их освобождения меня настигла репутация предателя-стукача: следователи, видать, не утаивали от подследственных моего имени. И заслуженная расплата начала настигать меня быстро и неминуемо. Она окончательно настигла меня, когда Кабо и Брегель вернулись в Москву. Вот тогда-то я в полную меру пожал плоды моего подлого малодушия и трусости. И хватит об этом. Теперь прошу внимания!

(Сергей Хмельницкий. Из чрева китова // 22, 1986, № 48)

Для чего же он просит внимания?

Что движет им? Желание спасти хоть какие-то жалкие остатки своей поруганной репутации?

Да, отчасти и это тоже.

Но это – так, между прочим. Главное же для него тут –

другое:

...

Я защищаю себя от неспровоцированной клеветы, которая стала общественно-литературным явлением и, значит, вышла за рамки личных отношений. Делая это, я не только следую защитному рефлексу. Публично очернив мою скромную личность, А. Д. нарушил неписаный закон, соблюдавшийся нами (за себя я ручаюсь) долгие годы, – закон молчания о вещах, которые нас обоих совсем не красили. Тем самым он оказался вне этого закона и подпал под действие другого, который гласит: народ должен знать своих стукачей.

(Там же)

Начинает он эпически. Сдержанно, спокойно, даже как будто миролюбиво:

...

А. Д. хорошо описал появление в его, а потом и в моей жизни Элен Пельтье-Замойской. Я испытывал то же, что и он, общаясь с этим прелестным существом, попавшим в наш железный, навечно ориентированный мир как бы с другой планеты… Она была личностью, очень для нас интересной, и вместе с тем – символом иного, нам недоступного существования.

А. Д., добрый друг, познакомил меня с ней. И мы начали общаться, встречаться – чаще втроем (к А. Д.

она привязалась по-женски, к тому же и университет), иногда вдвоем. А потом – через месяц с небольшим – в институте, где я учился, меня пригласили в особую комнату. И там после получасовой беседы – с выяснением обстоятельств знакомства, встреч и предмета разговора – я стал секретным сотрудником, «сексотом», или, если хотите, стукачом. С подпиской о неразглашении и договоренностью о будущих контактах.

Новая доверенная мне работа меня не слишком обеспокоила. Элен вполне лояльно относилась к советской власти. Ей нравилась Москва и нравилось учиться в университете. Держась естественно и свободно, она, умница, в разговорах контролировала себя и была по-европейски сдержанна. О политике мы вообще не говорили, и все больше о высоких материях: история, искусство, философия и историчность Иисуса Христа. Так что я имел все основания думать, что даже подробный отчет о высказываниях Элен Пельтье никак не может ей повредить. А большего, кроме отчетов, от меня и не требовали.

Но тут меня осенило. А. Д.-то общается с Элен куда чаще меня. Учатся вместе. Явно симпатичны друг другу. Почему же, если я – да, то он – нет? Не может этого быть. Не могли они обойти А. Д. своим вниманием.

И задумал я узнать у друга правду. И, гуляя с ним по Гоголевскому бульвару, сказал ему: «Слушай-ка, часто ты докладываешь о встречах с Элен?» И друг честно

ответил: «Когда как. Обычно раз в неделю». Потом дико взглянул на меня и спросил: «Откуда знаешь?»

Так мы вступили в неположенный, по правилам органов, контакт. Быстро установили, что «курирует» нас один и тот же деятель и что даже встречаемся мы с ним в одной и той же конспиративной квартире. Договорились о координации, в случае мало ли чего, наших докладов.

(Сергей Хмельницкий. Из чрева китова // 22, 1986, № 48)

Но долго придерживаться этой спокойной, информационно констатирующей манеры повествования он не в силах. И вскоре срывается на совсем другую:

...

Не ты ли бегал известно куда докладывать о новостях из жизни Элен Пельтье?

В переводе на прямой и грубый, а потому и гораздо более выразительный язык блатной фени это звучало бы так:

– Что же ты, падла, из себя целку строишь? Ведь ты – такой же, как я. К тому же куму ходил, на ту же конспиративную квартиру. И так же, как я, стучал на свою французскую подружку.

К этому, в сущности, и сводился весь смысл, все содержание его многословного ответа на обвинения Андрея.

Тут мне придется пересказать

историю отношений Андрея с Элен Пельтье-Замойской – так, как она описана в его романе «Спокойной ночи».

История эта при всей своей необычности достаточно проста, и я мог бы пересказать ее своими словами, но боюсь, что в моем изложении она утратит не только яркость красок, но и ощущение той художественной, а значит и жизненной, правды, без которого она может показаться еще более фантастической, чем была в реальности. Поэтому время от времени я буду обращаться к тексту романа.

С этого и начну:

…

К нам, на третий курс филфака, в 47-м году пришла француженка. Первая живая француженка и вообще единственная по Советскому Союзу в те далекие времена иностранка, зачисленная в высшее учебное заведение. Говорили, ее отцу, военно-морскому атташе, стоило немалых усилий пробить через Мининдел, дойдя до самого Молотова, чтобы дочери предоставили исключительное право учиться наравне со всеми, посещать лекции, сдавать экзамены в развитие тоже высшего уже у нее славянского образования, полученного, как это ни забавно, в Париже, в институте, под двуличной эгидой восточных языков… Холодный циклон, из Сибири, еще не дул в полную силу в сторону пригожей Европы. Или этого мы еще не замечали. После войны, мечталось нам, весь мир открыт. Контактам с уникальной иностранкой, спустившейся с неба на землю на дипломатическом парашюте, мы были рады…

Удивительная вещь, как я вспоминаю, никто из нашей среды не относился к ней подозрительно или враждебно. И никакой отчужденности. Все были, казалось, в нее неуловимо влюблены.

(Абрам Терц. Спокойной ночи. Париж, 1984)

Сперва, как видим, – все точь-в-точь как у Хмельницкого.

С той только разницей, что Хмельницкий не упоминает о том, что отец Элен Пельтье был военно-морским атташе Франции в СССР. (Не упоминает, как мы потом увидим, не случайно.)

Дальнейший ход событий тоже в точности повторяет ситуацию, описанную Хмельницким. Хотя излагает ее Андрей в несколько иной, не скупо информационной, как у Хмельницкого, а слегка беллетризованной форме (он ведь пишет роман, а не объяснительную записку):

…

Вызывают однажды повесткой в Райвоенкомат, а там уже, в отдельном отсеке, дожидается меня штатский товарищ мрачноватого, таинственного, но всем понятного назначения. Впрочем, для ясности, в общих чертах, суммарно, воспроизведу три наших с ним диалога, растянувшихся, конечно, во времени: год без малого протек между этими разговорами.

Диалог первый. – Так-так. Контакт с иностранкой?.. Нет, отчего же? – мы не против… Только… Зачем прекращать?! Напротив… Вы что – не сознаете?.. О, что вы, что вы! У вас прекрасная комсомольская репутация… Вы советский человек или не советский человек? вы советский человек или не советский человек? вы советский человек или не со… А вот этого я не

советую… Да с вас ничего и не требу… Перестаньте, мы все про вас… Вы что – боитесь?.. Объясните! Значит, ваши контакты уже такого рода, что вам есть что скры?.. Но вам же нечего опасаться!.. Посмотрим с другой стороны… Вы же сами говорите: она положительно относится к Советской России?..

…нас не интересу… С чего вы взяли?.. Просто… дружески… Профилактика… Какой шпионаж?.. Мы сами видим… Посмотрите на себя в зеркало… Но вот дружеские отношения… чисто дружеские… уже придется продолжить… Вы советский человек или не советский че?.. Чего?! Вы что нас – за людей не считаете?.. Но вот подписку о неразглашении вам все же… Не беспокойтесь, мы вас найдем!..

Второй диалог. – Давненько, давненько… Ну и далеко ли продвинулась ваша нежная дружба?.. Белоэмигранты, между прочим, тоже любят Россию. Какую Россию? – различие… Ах, она вне политики?!. Не заливайте мозги… Сове… или не сове… На кого она работает?.. Что значит – ни на кого?.. Атташе!.. Как? вы не понима… кто такой атта?.. Ше!.. Да ведь это развед… По рангу, по должности… Военн… А мы – контрразвед… Активизируйте отношения… Ну, переведите в инти… То есть как это – не можете?.. Подумаешь, невеста!.. У меня, например, жена и двое детей… Но если Родина прикажет… Но вы можете за нею немного уха?.. Да я не наста… Знаем мы, знаем этих католичек… Кажется, она уже

познакомилась с С. – вашим старым приятелем?.. Что ж, добро, добро… Пускай!..

(Абрам Терц. Спокойной ночи. Париж, 1984)

Я нарочно привел тут (пока) только два из трех этих воспроизведенных им диалогов, чтобы видно было, как одинаково складывалась и развивалась поначалу – что у Хмельницкого, что у Андрея – эта ситуация.

От обоих требуют, чтобы свои отношения с француженкой они не прерывали, а, наоборот, поддерживали и даже развивали. И оба упирают на то, что Элен вполне лояльно – и даже положительно – относится к Советской России.

Но в реакции их на это приглашение к сотрудничеству сразу же выявилась весьма существенная разница.

Хмельницкий на это сотрудничество соглашается легко, не испытывая по этому поводу никакого морального дискомфорта:

…

Новая доверенная мне работа меня не слишком обеспокоила. <…> О политике мы вообще не говорили, и все больше о высоких материях: история, искусство, философия. <…> Так что я имел все основания думать, что даже подробный отчет о высказываниях Элен Пельтье никак не может ей повредить.

(Абрам Терц. Спокойной ночи. Париж, 1984)

Андрей же сразу понял, всей кожей почувствовал, какая опасность для Элен таится в этом повышенном интересе к ней наших славных органов. И не то что моральный дискомфорт, а прямо-таки отчаяние и ужас охватили его, когда от него потребовали, чтобы он не только не прекращал своих отношений с ней, но даже постарался их «активизировать»:

…

Не знаю, откуда берутся такие

мысли. Из какого резервуара? Ведь я не веровал в Бога. Совсем не веровал. И никакой там особенной души за человеком не признавал. К религии не испытывал никаких приливов, весьма смутно ее представляя. <…> Просто нашлись, по-видимому, для меня неодолимые границы. Увлечь? предать? и убить? Пускай не своими руками. Но убить? Нет, это свыше наших сил и дается далеко не каждому.

(Там же)

Слово «убить» тут не с потолка взято. И это не метафора и не гипербола, а самая наиреальнейшая реальность, со всей большевистской откровенностью высказанная ему собеседником в *третьем* их диалоге:

…

Итак, завтра у вас в парке «Сокольники» – свидание. И завтра же вы сделаете решительное предложение… Нет… Нам не этого надо… Вы просто, как в старомодные времена, попросите у нее руку и сердце… Чего улыбаетесь? Девушке это всегда приятно… Католичка! вы же сами говорили… Остальное вас не касается… Предоставьте нам… В лучшем случае вы женитесь на ней – чисто номинально, конечно. В худшем… При чем тут ваша невеста? Да никто же не узнает… Андрей! Если Родина-мать требует… Это не ваша забота, что с нею станет, когда… Мы сами понимаем: какой из вас любо… Но вы пользуетесь пока что симпатией… Короче, завтра… Пеняйте на себя… Что?! Вот новость! Считайте себя мобилизованным… Если Родина в

опасности… Какое вам дело до ее будущего? Да ее после этого не будет больше! Понимаете – не будет!..

(Там же)

Что он имел в виду, его собеседник, говоря, что «после этого ее не будет больше», сказать трудно. Может быть, и не совсем то, что померещилось тогда Андрею. Но померещилось ему это не зря: он уже знал, понимал, кожей чувствовал, в каком живет царстве-государстве:

…

И я начал торопливо все ей объяснять. Все подряд. «Сейчас я открою тебе, Леночка, одну страшную тайну…» Исповедуясь перед ней, я все ждал, когда она вскочит и с воплем бросится прочь от меня. Ну а дальше известно: арест, расстрел… Все в голове у меня уже было разработано. И в первый момент, казалось, она не понимает. Ни в какой стране она находится. Ни кто, в бреду, восседает перед ней, как заяц на грязной травке… И потому, наверное от непонимания, она дважды улыбнулась при моих инвективах о вымороченной любви по заданию госбезопасности и о браке по приказу Родины-матери, после чего иностранка автоматически попадала в объятия нашего грозного подданства, и ее бы запытали, ей-Богу, ее бы запытали…

(Абрам Терц. Спокойной ночи. Париж, 1984)

Вот тут – уже окончательно и непоправимо – и разошлись пути Сергея Хмельницкого и Андрея Синявского.

Хмельницкому и в голову не пришло открыть Элен, что встречается он с ней и ведет разговоры на разные возвышенные темы по заданию советской тайной полиции и о каждой такой

встрече и каждой такой беседе пишет потом отчеты, которые – по определению – не могут быть такими уж невинными.

А Андрей не только сразу ей открылся, но и разработал – сперва один, потом вместе с ней – встречный план, осуществляя, а потом и осуществив который они сумели обмануть органы и в конце концов сорвать задуманную ими операцию.

Андрей предложил выдать кагэбэшникам такую версию: он, мол, выполнил все их предписания, объяснился Элен в любви и сделал ей в лучших правилах хорошего европейского тона предложение руки и сердца. Но она в ответ – пойди пойми причуды женского сердца – не только не приняла этих его объяснений, но и почему-то обиделась, разгневалась и прервала с ним всякие отношения.

Зная, что кагэбэшники наблюдают за каждой их встречей, они ухитрились с достаточной степенью правдоподобия разыграть сцену этой их бурной ссоры, и – мало того! – Андрей убедил Элен, что она должна во что бы то ни стало рассказать об этой их ссоре Сергею: тот – по долгу службы – доложит об этом своим кураторам, и подсунутая им ложная версия обретет таким образом черты уже полной достоверности и убедительности.

Так оно в конце концов и произошло.

Этот их план сработал.

...

– Внимание! Она вышла на Якиманку! – скомандовал телефонный голос. – Сценарий вам известен: примирение. Без претензий на руку и сердце. Это пока оставим. Восстановление дружеских чувств. Ясненько? Случайная встреча… Внимание! Яуза! Кино «Ударник»!.. Порядочек! Приготовьтесь! Переходит Каменный мост!..

По телефону я вижу, как Элен, ни о чем не ведая, поправила сумочку на кожаном ремешке, перебросила небрежно бедный плащик с локтя на локоток и пошла, и пошла дальше, через Каменный мост, по направлению ко мне. Дай-то Бог, сверкнуло, ей вовремя догадаться

шмыгнуть по набережной, на Москва-реку, и мы бы не встретились, не сошлись…

– Внимание! Курс – на улицу Фрунзе! Немедленно! Выходите на явку! Пересечетесь как бы случайно. Никаких обид. Сценарий – известен? Идите на сближение. Повторяю координаты: с Арбата – на улицу Фрунзе. Ясненько? Полный вперед! Желаю успеха!..

Последовал короткий щелчок. Телефон отключили… Покачиваясь, я вышел на улицу и понял: что ни делай человек, он просматривается насквозь – и сверху, и сбоку, и в спину. Им орудуют, им управляют по радио…

Меня выпихнули с парашютом, как, случается, выбрасывают ударом в задницу десантника. Война? У них всегда война. Без войны они не могут. И я поплыл, я полетел над Москвой, срочно соображая, где мне приземлиться в жизни и как нам еще раз вывернуться из беды…

Мы едва не столкнулись в устье Фрунзе, когда она, как столбик, появилась из-под земли, а я по заданному маршруту на высоком скаку вылетел из-за угла. – Элен?! Неужели?! Какая встреча!.. – Я почти вопил, размахивая руками, будто меня дергало током, в знак изумления и радостной растерянности («Не вздумай улыбаться! Не радуйся! Все подстроено! И – за нами следят…»).

– Какая радость, Элен! Бежал, понимаешь, в Ленинскую библиотеку… И вдруг!.. («Ты успела сказать С. то, о чем мы с тобой договорились? Ты – сумела?..») Мне удалось, надеюсь, придать интонации

и жестам ту развязную искусственность, ту разящую в глаза, глупую подстроенность тона, которые прямо говорят, что мы ломаем комедию, если постановщик требует от нас мелодрамы. Пусть видят, если хотят, какой из меня актер…

(Абрам Терц. Спокойной ночи. Париж, 1984)

Разыгрывая эту сцену, делая вид, что оба смущены этой случайной встречей, они говорят не о том, что наверняка мерещится наблюдающим за ними топтунам-кагэбэшникам, а совсем о другом: о том, сработал или не сработал их встречный план:

…

Ну конечно, они виделись. В тот же день, к вечеру, она была у него дома и, вся в слезах, понаговорила с три короба – все, что требовалось по рецепту. Она так негодовала, так сетовала! И что же? – верный наперсник умолял не волноваться. Без аргументов. Вопреки очевидности. Ну мало ли! Какие размолвки? Помиритесь! Помиритесь! Я не так выразился, она не то поняла. Он с таким пылом настаивал на возобновлении наших контактов, что она была совсем не удивлена, столкнувшись со мною только что, носом к носу, на площади…

– Не торопись мириться со мной. Не торопись мириться! Чтобы не попасть нам в еще какую-нибудь ловушку… И ты думаешь, он поверил тебе? Он клюнул на эту удочку? От него, от ориентира в нашей жизни, столько зависит…

– Ну конечно же, Андрюшка. Я так плакала! Я так ругала тебя!

И она расхохоталась. Нет, вы представляете, она расхохоталась надо всем, что было и не было над нами, по всей Москве. Но сознает ли, о чем речь, если еще может смеяться?..

– Клюнул, Андрюшка! Клюнул! – вскричала вдруг француженка с яростью русской бабы. – И я сама убедилась – провокатор!.. Уйдем отсюда куда-нибудь, – потянула она меня за рукав. В музей, если хочешь. Или в зоологический сад… И смотри: где же твой, как ты его называл, – топтун?..

Она вылепила губами трудное слово «топтун», даже как-то нежно его причмокнув. Я огляделся. В самом деле, пока мы с ней выясняли отношения, филер успел раствориться… Действительно, пора уходить…

Что добавить вместо эпилога? Когда мы с нею встречались – в разные времена и в разных, бывало даже, странах и городах, – она часто вспоминала эту пустую фразу «Уйдем отсюда, Андрюшка!», как будто мы и вправду могли уйти. Только смерть вождя позволила нам выскочить из заколдованного круга. Но, стоя в том кругу, я уже принял решение, что вопреки очевидности уйду в писатели, а что, как и куда писать – подсказал сам этот круг. Она согласилась при случае переправить вещи на Запад. И сделала это спустя несколько лет. Так закончился мой долгий путь из Сокольников. – Уйдем отсюда! Уйдем отсюда, Андрюшка…

(Абрам Терц. Спокойной ночи.

Париж, 1984)

Таков финал этой истории.

За ним, правда, следует еще один виток сюжета, из которого мы узнаем, что чекистская операция на этом не только не завершилась, но получила новое, совсем уже фантастическое развитие: в сопровождении двух уже более высоких кагэбэшных чинов – младший – майор, старший, стало быть, не меньше подполковника – герой летит (почему-то на тяжелом бомбардировщике) в Вену, где ему предстоит спланированная ими новая встреча с Элен. По их заданию им была отправлена ей телеграмма, в которой сообщалось, что на короткое время он окажется в Вене и хотел бы с нею увидеться. А у него с Элен заранее было на этот случай условлено, что если такое послание она получит и там будет сказано «обязательно приезжай», то это будет означать «не приезжай ни в коем случае». Но Элен об этом забыла и на слово «обязательно», которое он в свою телеграмму вставил, внимания не обратила, приехала. Так что встреча состоялась. Но по каким-то причинам, о которых в романе упоминается глухо, и эта чекистская операция тоже сорвалась, провалилась.

К основной линии повествования этот эпизод мало что добавляет. Разве только бросает дополнительный свет на то значение, какое придавали чекисты этой своей возне с юной француженкой.

Всю эту историю, рассказанную Синявским в его романе, – не только этот последний, действительно фантастический эпизод, а всю историю отношений Андрея с Элен Пельтье-Замойской – Хмельницкий не то что подвергает сомнению. Он над нею просто глумится:

…

Но вот Элен найдена. Где и как – хитрый А. Д. не рассказывает. Ясно только, что он и тут обманул без труда дураков-гебистов: все рассказал Элен. И даже, опасаясь похищения, настоял, чтобы она зарегистрировалась во французской комендатуре. И этим спутал их подлые планы… Вообще – с начала до конца не помогал им, а мешал,

молодчина. Такие затраты. Такая подготовка. Такие силы задействованы.

Диссертанта оторвали от научной работы. Небось вынудили его врать друзьям и знакомым. Командировочные. Казенного бензина сколько пожгли. А толку – чуть… И А. Д., хитрец эдакий, успел договориться с Элен о переправке своих сочинений за границу. Так что можно даже так понимать, что это органы виноваты в будущей публикации на Западе прославленных терцин. Смешно, ей-Богу… Они обсуждают, как переправлять на Запад антисоветчину, а сзади следит за ними гебист и ничего, младенец, не подозревает…

Ох, сомнительно. Насколько мы знаем органы, эта организация подготавливает свои акции солидно и профессионально. Четко ставит задачи и неплохо их решает. И в деньгах хоть и не нуждается, но без толку их тоже не швыряет. Так что есть кое-какие основания думать, что и в этом случае все было не так смехотворно-нелепо, как описывает А. Д. Что-то он, может быть, от общественности скрыл.

Возникает ряд тяжелых вопросов. Среди них, к примеру, такой: многие ли из миллионной армии советских стукачей удостоились доверия участвовать в таких вот загадочных заграничных операциях? И если нет, то не слишком ли легкое это слово – стукач – для А. Д. образца 50-х годов? И прекратил ли он свою секретную патриотическую деятельность сразу по возвращении в Москву, к любимому Маяковскому?

(Сергей Хмельницкий. Из чрева китова // 22, 1986, № 48)

На что намекает эта последняя реплика? Уж не хочет ли Сергей Хмельницкий сказать, что и свои подпольные произведения Андрей Донатович Синявский сочинял и переправлял на Запад по спецзаданию Лубянки? Что и эта операция была задумана и спланирована чекистами с далеко идущей зловещей целью внедрить своего человека в тесный круг антисоветской эмиграции?

При всей чудовищности такого предположения оно было высказано однажды. И не в том насмешливо-ироническом тоне, в каком это сделал сейчас я, а, что называется, на полном серьезе. И не в какой-нибудь там завуалированной, осторожно намекающей форме, а впрямую. И с прямой отсылкой к разоблачениям Сергея Хмельницкого.

Через шесть лет после появления

этого его разоблачительного очерка в иерусалимском журнале «22» он вновь увидел свет – на этот раз на страницах парижского эмигрантского журнала «Континент» – с чуть обновленным предисловием того же Воронеля.

А о том, зачем «Континенту» вдруг понадобилось перепечатать этот старый текст, сообщалось в специальном объяснении:

...

ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Теперь, когда в еженедельнике «Московские новости» в телепрограмме «Пятое колесо» М. Синявская сама признала (и за себя, и за мужа) факт своего далеко не кратковременного сотрудничества с КГБ, мы сочли своевременным вернуться к публикации израильского журнала «22», которую мы помещаем выше.

В свое время она вызвала бурную реакцию друзей и знакомых Синявских, все они единодушно осуждали греховное прошлое автора статьи и отдавали дань героизму обвиняемого, но никто из них так и не ответил на самый простенький вопрос: сотрудничал их герой с КГБ или нет?

Теперь, когда, повторяем, на него ответили сами обвиняемые, мы считаем себя вправе вернуться к этой проблеме.

В новом свете предстают отныне и льготные, в отличие от его подельника Юлия Даниэля, условия пребывания Синявского в лагере, и его досрочное освобождение по

помилованию, и комфортный отъезд четы Синявских на Запад с уникальной библиотекой (в ту пору запрещались к вывозу даже книги до 45 года издания) и музейными ценностями, включая баснословно дорогую икону св. Георгия XIV в., и, наконец, их целеустремленную деятельность в Зарубежье по компрометации А. Солженицына, А. Сахарова, а также всех тех, кто отказывался участвовать в этой деятельности.

По-иному выглядит теперь также самый суд над Синявским. В свое время последний с подачи Е. Евтушенко (кстати сказать, тоже недавно уличенного в связи с КГБ) на страницах французского журнала «Обсерватер» заявил, что процесс был спровоцирован ЦРУ. В американском журнале «Нью репаблик» бывший ответственный сотрудник этой организации Дж. Джеймесон категорически отверг эти обвинения. Сам КГБ по этому поводу упрямо отмалчивается.

Остается подождать развития событий.
(Континент, 1992. № 71)

Кое-какое развитие эти события получили. И не без участия автора этого редакционного объяснения, которым был – у меня в этом нет ни малейших сомнений – главный редактор «Континента», мой старый приятель Володя Максимов.

Но об этом – в свой срок.

А сейчас я возвращаюсь в ту декабрьскую ночь 1988 года, когда мы втроем – я, Андрей и Марья – бродили по ночному Парижу, а потом сидели в моем гостиничном номере и говорили, говорили, говорили – не могли наговориться.

Для меня, повторю, главной темой был тогда совсем недавно прочитанный и потрясший меня пасквиль Сергея Хмельницкого. Не столько даже сам этот пасквиль, сколько предательство Воронеля, почему-то решившего его обнародовать.

У меня не было ни малейших сомнений в том, что случиться это могло только потому, что между ним и Синявскими что-то произошло. И я всеми правдами и неправдами пытался добиться от Андрея и Марьи ответа: что же именно? Что их вдруг развело?

Но они отмалчивались. Упрямо повторяли одно и то же: никакой близости с Воронелем у них никогда не было. Отношения всегда были весьма прохладные, никакая не дружба, а просто довольно далекое знакомство.

Позже кто-то из общих друзей рассказал мне, что причиной их ссоры стало то, что Неля попросила Андрея написать предисловие к сборнику ее пьес, а Андрей отказался.

Мне этот повод для ссоры – даже не ссоры, а полного разрыва отношений – показался таким мелким и даже ничтожным, что я в это просто не поверил. Но потом подумал, что и куда более крупные и кровавые события в многострадальной истории человечества случались и по более ничтожным поводам и более низменным побуждениям. (Достаточно вспомнить, из-за какой ерунды Мартынов поссорился с Лермонтовым и убил его.)

Но одно дело – многострадальная история человечества и совсем другое – поступок близкого человека, о котором я даже и подумать не мог, что он способен на подлость.

А в том, что это была именно подлость, у меня не могло быть ни малейших сомнений. Ведь Шурик Воронель прекрасно знал – не мог не знать! – каким на самом деле было сотрудничество Андрея с органами и как разительно оно отличалось от того, как сотрудничал с ними его дружок Сергей Хмельницкий. И дело тут было совсем не в том, чью версию (Андрея, как она изложена им в его романе «Спокойной ночи», или Сергея, как он изложил ее в своем ответе на этот роман) считать более правдоподобной.

Ведь помимо романа существуют еще всем известные, несомненные и неопровержимые факты.

Факт первый: Андрей, в отличие от Сергея Хмельницкого, никого не посадил.

Факт второй: Андрей отсидел свои – без малого – шесть лет в колонии строгого режима (такова была благодарность органов за его сотрудничество с ними).

И наконец, факт третий: дружеские отношения Андрея с Элен Пельтье сохранились навсегда, и именно она переправляла его подпольные сочинения на Запад, что подтвердила специальным заявлением для прессы, сделанным ею сразу после объявления приговора по делу Синявского и Даниэля:

...

Я не нахожу слов, чтобы выразить свое потрясение, когда я узнала о приговоре, осудившем Андрея Синявского и Юлия Даниэля на 7 и 5 лет заключения в трудовом лагере строгого режима.

Они мои друзья. Понятно, что я от них не отрекусь. Я им помогала, это верно. Я принимаю полную и исключительную ответственность за эту помощь. Я всегда соблюдала полнейшую тайну в отношениях между моими французскими и русскими друзьями. Никого, кроме меня, нельзя обвинить.

(Элен Пельтье-Замойская. Заявление агентству «ФРАНС ПРЕСС» // Монд. 1966. 16 февраля)

Я бурно, не стесняясь в выражениях, высказывал Андрею и Марье свое негодование по поводу этого необъяснимого и, как я все время повторял, подлого поступка Воронеля. И в какой-то момент сказал, что хорошо представляю себе, как больно ранил их этот предательский удар и как тяжело, наверно, им далось все это пережить.

И тут Марья сказала:

– Нет-нет, все вышло очень хорошо. И нам с Андреем не огорчаться надо, а радоваться, что этот пасквиль Хмельницкого был напечатан!

И в ответ на мой изумленный вопрошающий взгляд они наперебой стали рассказывать.

Вообще-то слово «наперебой» тут не очень годится. Рассказывала Марья, а Андрей лишь время от времени вставлял какую-нибудь короткую реплику. Так уж у них было заведено.

А история мне была тогда рассказана такая.

Когда Андрей – в 1983 году – закончил свой роман, прежде чем отдать его в печать, он дал его прочесть Элен. Он считал, что не вправе печатать эту свою книгу без ее разрешения: ведь в ней он открывал не только свою, но и ее – их общую – тайну.

Элен рукопись прочла и сказала, что никаких возражений против публикации романа у нее нет, есть только три просьбы. Вернее – три условия.

Во-первых, она просит Андрея не упоминать ее имя.

Во-вторых, – и это главное – не называть должность ее отца.

И в третьих, в рассказе об их с Андреем платоническом романе не упоминать о том, что они целовались. (Тут Андрей как-то по-доброму улыбнулся: что, мол, поделаешь – католичка.)

Из этих трех условий Андрей с грехом пополам мог бы принять только одно – последнее. Да и этого, как я потом понял, делать ему не хотелось.

Что же касается первых двух – особенно второго, – то согласиться на них он не мог никак.

Ведь если он не упомянет о том, что отец Элен был в то время военно-морским атташе Франции в СССР, вся эта рассказанная им – и без того фантастическая – история станет уж вовсе неправдоподобной. Ведь именно из-за отца Элен, из-за его высокой дипломатической должности кагэбэшники и затеяли свою сложную игру.

Элен сама по себе навряд ли бы их так заинтересовала. Она только для того и была им нужна, чтобы «выйти» на ее отца. Они рассчитывали, что, запутав ее в свои сети, смогут его шантажировать и, может быть, даже завербовать (на что не пойдет любящий отец, чтобы вытащить любимую дочь из хищных лап советской тайной полиции).

Таким – разного рода – шантажом высокопоставленных дипломатов иностранных государств советские контрразведчики занимались постоянно. Разрабатывали разные хитроумные

операции, чтобы создать благоприятную атмосферу для вербовки. И надо сказать, что иногда это у них получалось.

Один такой случай хорошо известен. Узнать о нем во всех – порою весьма пикантных – подробностях можно из знаменитой книги Джона Бэррона «КГБ» (*Barron J.* KGB: The Secret World of Soviet Secret Agents. N.Y., 1974).

Был такой – не шибко известный – советский драматург Юрий Васильевич Кротков

2 сентября 1963 года в составе небольшой туристической группы он приехал в Лондон и попросил там политического убежища. Став, таким образом, как это тогда у нас называлось, «невозвращенцем», он прочно обосновался на Западе и спустя несколько лет (в 1967-м) выпустил книгу о своей жизни «Я из Москвы», в которой подробно рассказал, что долгое время был спецагентом советской контрразведки и в этом своем качестве принимал деятельное участие в операции по вербовке дуайена дипломатического корпуса в Москве посла Франции в СССР Мориса Дежана.

В 60-е годы Франция представляла особый интерес для советской разведки, поскольку в Париже располагалась штаб-квартира НАТО и работа по проникновению в эту военную организацию у советских разведчиков и контрразведчиков, естественно, считалась приоритетной.

Юрий Кротков, «авантюрист и светский лев», как называет его Бэррон, использовался контрразведчиками для вербовки красивых девушек, которые призваны были заманивать знатных иностранцев в «медовые ловушки». Кротков вербовал их из среды хорошеньких молодых актрис, с которыми ему постоянно приходилось общаться по основному роду своей деятельности. Он обещал им лучшие роли, деньги, красивую одежду.

Эта категория агентов у кагэбэшников называлась «ласточками».

С одной такой «ласточкой» Кротков и свел Дежана. Тот клюнул на приманку, закрутил с красоткой роман, ну а дальше вся операция была разыграна уже как по нотам.

Сергей Хмельницкий не случайно умалчивает о том, кем был отец Элен Пельтье. Без этого умолчания его иронический пересказ истории, рассказанной в романе Андрея, был бы невозможен.

Пересказывает он ее, как это уже было мною отмечено, не просто в ироническом, а в откровенно издевательском, глумливом тоне:

...

Лето 1952 года. Элен закончила университетское образование и, улизнув с помощью А. Д. из капканов и сетей органов, вернулась в родной Париж. Однако органы не сдаются. Элен им очень нужна. Упустив ее из-под носа в Москве, они норовят добыть ее за рубежом. Затраты их, естественно, не смущают. И вот А. Д. – сам-три, в пустом бомбардировщике, в сопровождении двух гебистов – мчится в Вену, куда должна приехать Элен.

Грандиозная операция! Бомбардировщик с тремя личностями на борту – в Вену и назад – не копеечное удовольствие. Младший из гебистов – майор, значит старший – как минимум подполковник. По всему видать – задумано что-то нешуточное, государственно важное. Что-то они с бедной жертвой сделают – застрелят? выкрадут? завербуют? Ах, Боже мой!

(Сергей Хмельниций. Из чрева китова // 22, 1986. № 48)

Если читатель не знает, кем был отец Элен, такой каскад иронии, пожалуй, и впрямь может ему показаться вполне уместным, во всяком случае, оправданным. В самом деле: такая сложная и дорогостоящая операция («не копеечное удовольствие») – и все это ради того, чтобы завербовать (выкрасть? или даже застрелить?) ничем не примечательную французскую студентку? Смешно!

Иное дело – иностранный дипломат, к тому же весьма высокого ранга. В этих случаях «контора» не останавливалась ни перед какими затратами:

...

Сценарий прогулки был разработан самым тщательным

образом. В их распоряжение был передан милицейский катер вместе с милиционером, которому предстояло отвезти всю компанию на Химкинское водохранилище. Катер был предварительно перекрашен и основательно переоборудован. В специализированных магазинах КГБ были закуплены вина, сыры, фрукты, пирожные, а также солидное количество шашлыка… Катер пристал к небольшому пустынному острову, где чекисты вместе со своими гостями прекрасно провели время, прогуливаясь по берегу, купаясь и дегустируя блюда с кухни КГБ.

На обратном пути благодаря выпитому вину и коньяку все смеялись и пели. Когда катер причалил к пристани Речного вокзала в Химках, госпожа Дежан пригласила своих друзей в посольство на празднование Дня взятия Бастилии…

Через три дня Кротков позвонил госпоже Дежан, чтобы пригласить ее на новую встречу. «В пятницу я организую ужин, – начал он. – Господин посол произвел большое впечатление на моих друзей, и вы бы оказали мне большую честь, если бы смогли убедить его прийти на этот вечер».

Для проведения операции КГБ снял главный зал ресторана «Прага» и выложил на угощение немалую по тем временам сумму в 900 рублей.

(Д. Бэррон. КГБ сегодня. 1984)

И все это – только для того, чтобы свести, познакомить посла с подготовленной для него «ласточкой». А чтобы реализовать весь свой план, чекистам понадобилось разработать и реализовать десятки (если не сотни) таких операций.

Конечно, «обработка» посла требовала и бо´льших усилий, и

бо´льших затрат, чем попытка втянуть в свои сети военно-морского атташе. Тем более что в какой-то момент операция по вербовке Дежана приняла новый, неожиданный для КГБ оборот. В мае 1958 года советские разведчики в Париже предупредили, что вскоре генерал де Голль должен снова вернуться к власти. Руководители КГБ предполагали, что в таком случае Дежан – один из приближенных генерала – неминуемо должен получить важный государственный пост.

...

«Теперь значимость этой операции увеличилась для нас в десятки раз», – сказал Кроткову, вызвав его на встречу для постановки задания, курирующий его ответственный оперативный сотрудник КГБ. Но тут же добавил:

«Посол – наша главная цель. Но нас также интересует помощник военно-воздушного атташе Франции».

Возможность завербовать военно-морского атташе посольства Франции в СССР, надо полагать, представляла для советских разведчиков и контрразведчиков не меньший интерес, чем задание запутать в свои сети даже не самого военно-воздушного атташе Франции, а всего лишь его помощника.

А Элен так и не поняла,

почему Андрей не захотел пойти ей навстречу и, несмотря на ее запрет, все-таки сохранил в тексте своего романа упоминание о месте работы и должности ее отца. И, когда узнала об этом, обиделась на него

смертельно. Обиделась настолько, что порвала с ним всякие отношения.

Но как только прочла клеветнический опус Хмельницкого, как только дошло до нее первое веяние готового вот-вот разразиться скандала, она сразу же забыла эту свою обиду. И написала Андрею письмо – предоставив ему право немедленно его опубликовать (что и было сделано), – в котором горячо подтверждала, что да, все было именно так, как это описано в его романе.

Да, Андрей сразу открылся ей и определил, какой линии поведения ей следует держаться, чтобы не попасть в расставленную для нее чекистами ловушку.

Да, она выполнила все его указания. Да, да, она и Серёжу заставила поверить, что они с Андреем рассорились. И укрепила таким образом в глазах чекистов придуманную и разработанную Андреем версию.

И в Вене тоже все было точно так, как об этом рассказал Андрей в своем романе.

Да, да, у них было заранее условлено, что если в письме или телеграмме от него, которую она получит, будет слово «обязательно» (скажем, «обязательно приезжай»), то это будет означать, что приезжать ни в коем случае не надо. Но она об этом забыла – и приехала. И Андрей сразу же потребовал, чтобы она зарегистрировала свой приезд во французской комендатуре. И настаивал на том, чтобы она надолго в этой Вене не задерживалась, упрямо торопил ее с отъездом. И как она сперва не понимала, почему, только-только встретившись, сразу должны расстаться. А потом поняла, что это он спасал ее. И спас. Сумел сорвать и эту чекистскую операцию…

Все это Марья рассказала мне тогда гораздо подробнее, чем я сейчас вспомнил и пересказал.

А закончила она этот свой рассказ так:

– Теперь ты понимаешь, почему я сказала, что нам не огорчаться, а радоваться надо, что все так вышло? Ведь мы старые люди, могли умереть. И Элен тоже. И тогда это пятно на нас бы и осталось. А так все получилось очень хорошо. После заявления Элен эта гнусная клевета к Андрею уже никогда не прилипнет!

Она ошиблась

Эта гнусная клевета к Андрею – и к ней, разумеется, тоже – все-таки прилипла. И надолго.

О том, как она то вспыхивала, то угасала и какие драматические имела последствия, будет рассказано подробно. А сейчас коротко расскажу (не могу удержаться!) о самой последней, уже совсем слабой ее вспышке.

Осенью 2002 года в пятом номере журнала «Вопросы литературы» Неля Воронель опубликовала небольшой отрывок из книги своих воспоминаний. Книга вышла позже, и появление ее вызвало множество негодующих откликов, уличающих автора во лжи и клевете. Такого бурного взрыва негодования и таких резких определений эта книга, может быть, и не заслуживала, но полетом фантазии и упоением, с каким Неля сообщала там читателю о своих выдающихся достижениях в жизни и в искусстве, она вполне могла соперничать с «Автобиографией» Евтушенко, о которой я уже упоминал на этих страницах.

Из картин, щедро расцвеченных ее фантазией, приведу только одну, вызвавшую у меня особенно бурный всплеск иронического веселья, поскольку всё, что там у нее нарисовалось, происходило будто бы на моих глазах. Вообще-то не «будто бы», а действительно на моих глазах. А почему вырвалось у меня (невольно) это «будто бы», вы сейчас узнаете:

...

> *Я бережно храню в своей памяти картину, столь полную красочных деталей, будто все это случилось вчера.*
>
> *В нашем крохотном «москвиче» мы привезли в Переделкино Бена Сарнова с женой Славой и одного харьковского литератора, которого они хотели познакомить с Виктором Шкловским, жившим тогда в Доме творчества.*
>
> *(Нина Воронель. Содом тех лет. Ростов-на-Дону, 2006)*

А вот и сама она, эта действительно «полная красочных

деталей» картина:

…

Из ворот выбежала очень маленькая, очень худенькая, очень старая женщина в малиновых штанишках до колен, и все замолчали и уставились на нее – в те времена даже к строгим женским брюкам еще не привыкли, а уж о малиновых штанишках до колен и говорить не приходилось. В руке она держала нечто, похожее на сушеную голову облысевшей обезьяны.

Она простерла руку с обезьяньей головой в сторону Славы… Слова ее прозвучали очень громко в наступившей тишине:

– Слава, милая, вы не знаете, как открыть кокосовый орех?

– Господи, Лиля Юрьевна, мне бы ваши заботы, – ответил за Славу Бен…

– Неужели это Лиля Брик? – спросил харьковский гость задрожавшим от благоговения голосом.

Но ответа не дождался, потому что начался следующий акт послеобеденного спектакля. Лиля Брик вдруг пронзительно взвизгнула, сунула орех Славе и припустила бегом куда-то вверх по улице. Все присутствующие повернули головы – посмотреть, куда это она помчалась. Навстречу ей, широко раскинув руки, шагал Корней Чуковский, высокий, лихой и моложавый, – в распахнутом светлом плаще с развевающимся на ветру шарфом.

Лиля с разбегу вскочила на него и, уцепившись одной рукой за его

плечо, начала кулачком другой колотить его по лицу.

– Негодяй! Старый негодяй! Шутник проклятый! – вопила она, дрыгая в такт ударам маленькими ножками в малиновых штанишках.

К. И. взял ее за локотки и бережно опустил на землю. Глаза его сияли знакомым мне игровым огнем. Голос его был сама невинность:

– В чем дело, Лиля Юрьевна? Чем я провинился?

– Этот человек еще спрашивает? Он не знает, чем он провинился!

– Понятия не имею, – развел руками К. И.

– Хватит притворяться! – возмутилась Лиля Юрьевна. – Ведь вы дали мне вчера пачку горчичников?

– Дал, конечно, дал. Вы же жаловались на кашель.

– И не заметили, что это не горчичники, а мухоморы?

Заметить разницу невооруженным глазом было бы трудно. Мало кто помнит, как выглядел мухомор того времени – патентованная ловушка для мух, представлявшая собой серовато-коричневый прямоугольник, на оборотной стороне которого невзрачными черными буквами было напечатано слово «МУХОМОР». И только этим трудночитаемым названием мухомор на вид отличался от горчичника, такого же прямоугольного и серовато-коричневого, только на спинке у него красовалось столь же неразборчиво отпечатанное прозвище «ГОРЧИЧНИК». На рабочей стороне горчичника была нанесена пленка из сухой горчицы, тогда как рабочая сторона мухомора была покрыта

тонким слоем уморительного яда для мух, внешне неотличимого от горчицы. Оба они благополучно соседствуют среди неотступных видений моего детства – вот я лежу, обклеенная горчичниками, и сладостная теплота прогоняет из моего горла надсадный кашель, а на столе рядом со стаканом теплого молока замочен в блюдечке серый прямоугольник мухомора, густо усыпанный трупами доверчивых мух.

К. И., видимо, тоже представил себе нечто подобное.

– А вы даже не удосужились проверить, что я вам дал? – взликовал он.

– Зачем мне было проверять? Я думала – вы порядочный человек. Я легла в постель и обклеила себе грудь и спину. Лежу и удивляюсь, почему не печет… Так и лежала, пока Витя не посмотрел. И как заорет: «Да это же мухоморы!»

– «Да это же мухоморы!» – повторил за Лилей Юрьевной совершенно счастливый К. И. – его игра удалась!

(Нина Воронель. Без прикрас. М., 2003)

Поскольку я тут упомянут как свидетель (отчасти даже участник) этого спектакля, свидетельствую: *ничего этого не было* .

Не было ни кокосового ореха, похожего на сушеную голову лысой обезьяны, ни скандала вокруг горчичников, которые шутник Корней Иванович подменил мухоморами, ни всего остального. Не только *не было* , но и *не могло быть* .

Не могла Лиля Юрьевна произнести эту фразу: «Слава, милая, вы не знаете, как открыть кокосовый орех?» – по той простой причине, что не только в то время еще не знала Славу, но даже и не подозревала о ее существовании. Познакомились мы с Лилей Юрьевной и Василием Абгаровичем Катаняном годы спустя, когда Воронели давно уже жили в своем Израиле. Но даже и тогда, когда мы не только познакомились с ними, но и стали

постоянно бывать в их гостеприимном доме, у меня не повернулся бы язык кинуть ей эту фамильярную, амикошонскую реплику: «Мне бы ваши заботы, Лиля Юрьевна!» – даже и тогда не таков был характер и стиль наших отношений.

Могу также свидетельствовать…

Впрочем, никакие мои свидетельства тут не нужны, потому что этот процитированный мною текст *разоблачает себя сам, сам* неопровержимо свидетельствует, что так красочно изображенной в нем сцены на самом деле *не было и быть не могло* .

Попробуйте только представить себе такое: маленькая худенькая старушка, уцепившись одной рукой за плечо гиганта Корнея Ивановича, кулачком другой бьет его по лицу. Как это, интересно, она могла до его лица дотянуться? Подпрыгнула, что ли? А допрыгнув, повисла на его плече, держась за него одной рукой, ухитряясь при этом кулачком другой руки колотить его по лицу?

Исполнить такой сложный цирковой номер не смогла бы и юная, хорошо тренированная акробатка.

Или, может быть, Корней Иванович сам, ухватив ее за талию, приподнял и держал на весу, любезно предоставив ей таким образом возможность колотить по своему лицу кулачками?

И кто этот Витя, который сразу угадал, почему «горчичники» не действуют, и заорал: «Да это же мухоморы!»? Уж не Виктор ли Борисович Шкловский, о встрече с которым мечтал присоединившийся к нашей компании харьковский гость? Но каким образом Виктор Борисович мог ночью оказаться в Лилиной спальне? Нет, наверно, это был все-таки не он, а муж Лили Юрьевны Василий Абгарович. Но тогда не «Витя», а – «Вася»…

В отрывке, появившемся на страницах «Вопросов литературы», такого грубого и откровенного вранья вроде быть не могло. Ведь там Неля рассказывала о своих отношениях с Синявскими и Даниэлем, с которыми у нее отношения – и даже близкие – действительно были. Так что в этом случае давать волю своей фантазии ей вроде было ни к чему.

Но ее творческий метод и тут оставался таким же:

…

Было это в те почти неправдоподобные времена, когда мы, приезжая в Париж, останавливались только у Синявских. Поначалу мы пытались было селиться в недорогих

отелях, но Марья, которая к тому времени уже перессорилась со всем русским Парижем, быстро это своеволие пресекла, потому что не могла контролировать, с кем мы общаемся, когда ее нет рядом.

Через час после прилета я уже звонила у ворот дома в Фонтенэ-о-Роз… Отворить мне вышел Андрей… Он нетвердым шагом спустился с крыльца и направился от дома к калитке, странно покачиваясь, словно его сдувало с дорожки сильным ветром.

«Марья улетела на три дня в Лондон, – сказал он, отпирая калитку, – и велела мне тебя впустить…» Мы покачались вместе несколько мгновений, а потом он, ухватившись рукой за столбик забора, умудрился круто развернуться и отступить в сад, открывая дорогу мне и моему чемодану.

Я покатила чемодан к дому, спотыкаясь о неровные булыжники дорожки, а Андрей поплелся за мной, приговаривая с каким-то отчаянным самобичевательным восторгом:

«Марья уехала, и я пью! Когда Марья здесь, она мне пить не дает – вот я и пью, когда ее нет!»…

Раскачиваясь на моей руке, он выкрикивал жалобно: «Что же мне делать? Что делать? Ведь она взбесится, когда узнает, что я тут без нее пил»… Я представила себе Марью в гневе, и мне стало его жалко.

«А откуда она узнает? – утешила я его. – Я ей не расскажу, и ты не рассказывай».

«Ничего не поможет, она все равно узнает, – безнадежно махнул

рукой Андрей. – Она ведь страницы считает, сколько я написал, пока ее нет. А я нисколько не написал, потому что, когда ее нет, я пью. Она ведь, когда здесь, пить не дает, вот я и пью, когда ее нет!»

Возразить на это было трудно… Я чуть откачнула Андрея в сторону и прошла на кухню – там царил издавна знакомый мне беспорядок. В раковине громоздилась гора грязной посуды, стол был заставлен не поместившимися в раковине чашками с засохшими чайными мешочками. Я направилась к газовой плите, намереваясь поставить чайник, но Андрей перегородил мне дорогу: «Так ты не возражаешь, что я пью?»

Я пожала плечами – как я могла возражать против того, что он делал в собственном доме? – и протянула руку к чайнику:

«Делай что хочешь, а я попью чайку и лягу спать. У меня от этого перелета голова кружится».

Но он перехватил мою руку на полпути: «Может, ты боишься, что я буду к тебе приставать?»

У меня и мысли такой не было – он выглядел в этот миг старым взъерошенным гномиком, о каком приставании могла идти речь? Но я не хотела его обидеть и потому, разыгрывая повышенный интерес к зажиганию газовой конфорки, сказала осторожно: «Но ты же не будешь, правда?»

В ответ на что он ударился в воспоминания о какой-то поросшей мхом забвения истории пятнадцатилетней давности, когда он и впрямь ко мне очень активно приставал на глазах моего мужа и своей жены… Как ни странно,

историю эту, несмотря на давность, он воспроизвел весьма реалистично, и все это для того, чтобы выяснить, не обиделась ли я на него тогда. Потому что, если обиделась, то должна его немедленно простить и поверить, что сейчас он такого безобразия не повторит. Для вящей убедительности он доверительно поведал мне, что он давно уже импотент, так что бояться мне нечего. Однако, когда, выпив чаю, – то есть я пила чай, а Андрей прямо из бутылки какую-то жидкость цвета чая, но точно не чай – мы отправились наверх искать для меня подходящую постель, он по-дружески посоветовал мне устроиться в Марьиной спальне: «Понимаешь, там единственная дверь с замком. Марья теперь на ночь от меня запирается, говорит, что я похабник».

(Нина Воронель. Юлик и Андрей // Вопросы литературы. 2002. № 5)

Не так уж трудно было сообразить, что такое нарочитое и беззастенчивое снижение образа знаменитого диссидента, героя на весь мир прогремевшего политического процесса, Марью, если этот текст попадется ей на глаза, приведет в неистовство.

Но Марья – далеко, в Париже. И вряд ли там, в этом прекрасном своем далеке, она так уж внимательно следит за тем, что появляется на страницах разных московских журналов, тем более такого специального и малотиражного журнала, как «Вопросы литературы».

Но, на беду, Марья в ту осень оказалась в Москве, и журнал с отрывком из воспоминаний Нели Воронель до нее дошел.

Прочитав этот «клеветон» своей бывшей подруги, она в ярости позвонила в редакцию «Воплей», а потом – сразу же – мне: с требованием, чтобы завтра с самого утра я был уже там, чтобы помочь ей добиться опровержения всей этой гнусной чепухи.

Я попытался от участия в этом заранее объявленном завтрашнем скандале как-то отвертеться, уверяя ее, что к публикации «клеветона» никакого отношения не имел. Но она на это возразила, что я как член редколлегии несу личную,

персональную ответственность за каждое появившееся на страницах этого журнала слово.

Я сопротивлялся как только мог, но устоять перед ее бешеным напором мне, конечно, не удалось, и наутро я как миленький поплелся в редакцию, чтобы получить причитавшуюся мне долю тумаков, синяков и шишек.

Когда я пришел, Марья была уже там и обещанный с вечера скандал был в полном разгаре.

Ситуация при этом складывалась довольно глупая.

Ну хорошо, допустим, Марья добилась бы своего и журнал предоставил бы ей страничку-другую для опровержения всей этой клеветы. Что именно стала бы она в этом случае опровергать? Стала бы уверять, что она никогда не пересчитывала написанные Андреем за день страницы? И не запирала от него на замок двери своей спальни? Или что он не был пьяницей, похабником и импотентом?

Смешно!

Настоящим поводом для возмущения, негодования и обвинений в клевете тут мог стать только один пункт воронелевских измышлений: возвращение к старым, давно уже опровергнутым свидетельствам Сергея Хмельницкого о сотрудничестве Андрея Синявского с КГБ.

Но вся штука в том, что *в тексте* опубликованного в «Вопросах литературы» отрывка из воспоминаний Нины Воронель никаких попыток вернуться к этим старым обвинениям и реанимировать их – а тем более к ним присоединиться – не было.

Глухое и не слишком внятное упоминание о той давней истории было лишь в «Списке персонажей», которым «Воронелиха» зачем-то сопроводила свой текст.

«Персонажей» этих было пятнадцать. И имя каждого из них сопровождалось подробным перечнем всех его литературных или научных заслуг. Открывала этот список сама Неля, о которой было сказано так:

…

Нина ВОРОНЕЛЬ – поэт, переводчик, драматург, сценарист, прозаик, публицист. Административный директор фонда «Москва – Иерусалим», издающего журнал «22». Автор пьес «Прах и пепел», «Кассир вечности», «Шестью

восемь – сорок восемь» и «Майн либер Кац», романов «Ведьма и парашютист», «Полет бабочки» и «Дорога на Сириус», составляющих трилогию «Гибель падшего ангела», сборника стихов «Папоротник», сборника стихов и избранных переводов «Ворон-Воронель» и сборника переводов поэзии А.А. Милна «Дела королевские».

(Нина Воронель. Юлик и Андрей // Вопросы литературы. 2002. № 5)

За ней следовал ее муж – Саша (Шурик). О его титулах и заслугах говорилось уже скромнее:

...

Александр ВОРОНЕЛЬ – профессор физики Тель-Авивского университета, главный редактор журнала «22». Автор книг: «Трепет забот иудейских», «По ту сторону успеха», «И остался Иаков один», «В плену свободы» и множества журнальных и газетных публикаций.

(Нина Воронель. Юлик и Андрей // Вопросы литературы. 2002. Сентябрь – Октябрь)

За ним следовали те, чьи имена – по логике вещей – должны были бы в этом списке идти первыми:

...

Андрей СИНЯВСКИЙ – писатель, литературный критик и литературовед. Напечатав свои произведения за границей во времена, когда это рассматривалось как идеологическое преступление, стал всемирно известен под псевдонимом Абрам Терц. Был приговорен к семи

годам лагерей в 1966 году. С 1973-го жил и умер в Париже.

Майя (Марья) СИНЯВСКАЯ – его жена, художник-ювелир и искусствовед, редактор и издатель парижского журнала «Синтаксис», названного в память одноименного московского самиздатского журнала, запрещенного властями.

Юлий ДАНИЭЛЬ – писатель, печатавшийся за границей вместе с Синявским под псевдонимом Николай Аржак. Также переводчик поэзии. На процессе Синявского – Даниэля был приговорен к пяти годам лагерей. Умер в Москве.

(Там же)

Ну а далее, уже в произвольном порядке, так сказать, без чинов, перечислялись имена остальных персонажей ее повествования, среди которых были и весьма в ту пору известные: Лариса Богораз, Борис Вахтин, Игорь Голомшток, Петр Якир, Александр Гинзбург, Юрий Галансков…

Среди этих героев и мучеников громких тогдашних политических процессов затесался и мало кому известный Сергей Хмельницкий. О нем там было сказано так:

…

Сергей ХМЕЛЬНИЦКИЙ – сверстник и многолетний друг А. Синявского. Архитектор, археолог, поэт, автор многотомной монографии об архитектуре ислама. Автор нашумевших свидетельских показаний о связи А. Синявского с КГБ, опубликованных в 48-м номере журнала «22» и перепечатанных в «Континенте».

(Там же)

В тексте Нелиного отрывка имя Сергея Хмельницкого упоминалось лишь однажды – вскользь, несколькими строчками:

> *В те времена кроме Синявских постоянным гостем дома Даниэлей был их ближайший друг Серёжа Хмельницкий, о котором я здесь писать не буду, – человек он особый, достойный отдельной главы в моих воспоминаниях, но можно прочесть о нем у Синявского в романе «Спокойной ночи». Эти трое – Юлик, Андрей и Серёжа – были дружны задолго до того, как мы высадили в их мирок свой десант.*
>
> *(Там же)*

Строго говоря, стало быть, он даже и не был персонажем этой главы ее воспоминаний. Так что имя его в том «Списке персонажей» она вполне могла и не упоминать. Но она, может быть, для того и затеяла всю эту игру с этим никому не нужным «Списком персонажей», чтобы у нее был повод напомнить «городу и миру» о тех давних обвинениях, коварно делая вид, что сама она к ним не присоединяется, а упоминает о них исключительно ради научной объективности.

Я уговаривал Марью сделать вид, что она этого ее коварства даже и не заметила. Зачем раздувать бледную искру в пламя, то есть делать именно то, на что Неля (наверняка) как раз и рассчитывала?

Но никаких моих (и не только моих) разумных доводов Марья не хотела и слышать. Упрямо, скандально, яростно требовала сатисфакции. «Как вы могли, – орала она, – напечатать эту самозванку!»

Тут я не удержался и сказал:

– Ты ведь печатаешь в своем «Синтаксисе» этого негодяя Лимонова. Зачем, спрашивается, тебе это понадобилось?

От ответа на этот вопрос она сперва уклонялась. Но я не отставал, вцепился в нее как клещ, и в конце концов она на него ответила.

– Знаешь ли ты, – спросила она, – какая разница между хуем и жизнью?

Озадаченный и даже слегка растерявшийся от такой постановки вопроса, я ответил, что нет, не знаю.

И тогда она объяснила:

– Жизнь жестче.

Какие суровые жизненные обстоятельства вынудили ее печатать Лимонова, я так и не понял. Но требовать дополнительных разъяснений не стал.

Моим советом не раздувать из искры пламя Марья, конечно, пренебрегла и раздула эту искру до масштаба чуть ли не мирового пожара. Подняла на ноги всю литературную Москву, и в результате появилась большая статья в «Независимой газете», в которой Воронели (и муж и жена) были названы провокаторами. Потом еще одна – в «Книжном обозрении». А потом – еще, и еще, и еще… А в заключение с большим (огромным, на всю газетную полосу) интервью выступила сама Марья.

Интервью кокетливо называлось «Прогулки с Розановой» (намек на «Прогулки с Пушкиным»?) и подписано было так: «Прогуливался Дмитрий Быков».

О том, что она там наговорила Быкову во время этих их прогулок, я даже в простой перечислительной форме упоминать не стану. Коротко задержусь лишь на одном из затронутых ею щекотливых сюжетов. И только лишь потому, что главным героем этого сюжета оказался я сам:

…

– Вы прочли «Двести лет вместе»?

– Нет еще. Мне не очень интересно. Об отношении Солженицына к евреям я в общих чертах знаю. Я сама хочу сейчас писать о еврейском вопросе, хотя меня и отговаривают. Почему-то это считается опасным для репутации.

– Но и вы, и Синявский, насколько я знаю, – юдофилы?

– Конечно… Жизнь наша сложилась так, что почти всегда мы находились в плотном еврейском кольце. Лишь иногда – очень редко – я ловила на себе высокомерный взгляд, обозначающий мою принадлежность к низшей расе. Недавно мне случилось обсуждать с Бенедиктом Сарновым одну публикацию в «Вопросах

литературы». И я с изумлением обнаружила, что известный московский стукач Сергей Хмельницкий, имевший удовольствие родиться евреем, ему ближе известного лагерника Синявского, имевшего наглость родиться русским. Я не люблю, когда меня и все русское рассматривают с брезгливым высокомерием.

(Консерватор. 2003. 25 апреля – 1 мая)

Прочитав это, я прямо рот разинул. Ну, Марья!..

Отношения наши в то время были уже весьма натянутые. О том, как и почему они натянулись, я отчасти уже рассказал и к этой теме еще вернусь. Пока же скажу одно: ничем больше она как будто уже не могла меня удивить. Но такого «злого хулиганства» я не ждал даже от нее.

Понять, почему из всех фантастических сюжетов, которые она могла сплести вокруг моей фигуры, она выбрала именно этот, было нетрудно. Ей хотелось укусить меня как можно больнее. И она знала, что никакая другая, стократ более изобретательная и злокозненная ложь не сможет ужалить меня больнее, чем эта.

В делах такого рода ей не было равных, и об этом я мог бы рассказать подробнее. Но я, кажется, и так уж слишком далеко забежал вперед. Лучше вернемся в Париж 1988 года, когда мои отношения с Андреем и Марьей были еще самыми мирными. Можно даже сказать, любовными.

Кроме Синявских со старыми, еще московскими друзьями

встречаться там, в Париже, мне было вроде уже не с кем.

Вика год как умер. А Володя Максимов… Но об этом чуть позже. Сперва расскажу о других моих встречах с парижскими русскими.

Дирижировал ими Булат.

Начал он с того, что повел меня в редакцию газеты «Русские новости», где мы встретились с Аликом Гинзбургом – тем самым, который «Гинзбург и Галансков»; я немного знал его по Москве. Но самому, без Булата, мне и в голову бы не пришло встречаться в Париже с полузнакомым знаменитым диссидентом, защищая которого мои друзья Биргер и Балтер лишились своих партийных билетов.

Потом мы с Булатом долго сидели в каком-то маленьком кафе; третьим с нами был старый поэт, один из последних осколков первой эмиграции Кирилл Померанцев. С ним Булат познакомился давно, во времена самых первых своих приездов в великий город, а теперь вот познакомил со стариком и меня.

Кирилл Дмитриевич рассказывал нам про Георгия Иванова, с которым дружил и которого считал своим учителем.

Потом, естественно, мы заговорили о том, что происходит в несчастном нашем отечестве, о том, что с ним теперь будет, как повернется его – а значит и наша – судьба. И тут старик прочел нам свой только что, буквально на этих днях сочиненный стишок:

Не Горбачёв страною правит
И не Центральный комитет,
И перестройка не исправит
Итог семидесяти лет.
И гласность делу не поможет,
Труби хоть тысячами труб,
Пока над всем и вся вельможит
Набальзамированный труп.

Стишок показался мне наивным. По разным причинам, но, помимо всего прочего, наверно, еще и потому, что поминутно повторявшиеся тогда слова «перестройка» и «гласность» все-таки слегка меня опьяняли. (Как это – «гласность делу не поможет!» Вот ведь и я – столько лет и, казалось, уже на всю оставшуюся жизнь «невыездной» – здесь, в Париже. Мог ли я вообразить такое

не то что лет пять, но даже всего лишь год тому назад?)

Так и остался я тогда при убеждении, что ничегошеньки этот старый эмигрант в нашей жизни не понимает.

Но сейчас, когда с тех пор, как мы сидели втроем в том кафе, прошло уже ни мало ни много четверть века, отыскав и перечитав этот старый стишок, я подумал о нем теми самыми словами, которыми тот, чей «набальзамированный труп» по сей день лежит в Мавзолее, высказался о понравившемся ему стихотворении Маяковского: «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно».

и с какими-то другими парижскими русскими. Но ни разу – ни он, ни я – не вспомнили о том, к кому, казалось, должны были бы кинуться сразу, в самую первую очередь: о Володе Максимове. Ведь что бы там ни было, с ним у меня было съедено куда больше пудов соли, чем с Фимой Эткиндом или даже с Синявскими. Ну а уж с Булатом Володя был связан узами самой тесной и нежной дружбы.

Но о том, чтобы встретиться с ним, – а тем более о том, чтобы с ним захотел встречаться Булат, – не могло быть даже и речи.

до этого нашего приезда в Париж Булат однажды сказал мне:

– Ты не слыхал? Володька Максимов написал про меня в «Континенте», что я – агент КГБ.

Я прямо задохнулся:

– Не может быть!

– Да, да, представь, так прямо и написал. И напечатал.

Лицо Булата, когда он сделал мне это сообщение, было бесстрастно. Но это показное безразличие меня не обмануло: чудовищная выходка бывшего друга наверняка больно его задела.

Ну а уж обо мне и говорить нечего: в отличие от Булата, мне никогда не удавалось сохранять хотя бы видимость бесстрастия.

Я знал, что Максимов – там, в Париже, – уже кого только не обвинял в связях с «Галиной Борисовной» (так ласково мы меж собой именовали нашу гэбуху).

Но кинуть такое обвинение Булату!.. Булату, которого он знал – ближе некуда!..

Вот почему мне и в голову не пришло, что надо бы все-таки встретиться со старым товарищем, коли уж представился шанс еще раз увидеться с ним в этой жизни.

Каково же было мое изумление, когда на следующий день – уже ближе к вечеру, весь день он где-то пропадал – Булат безмятежно, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал мне:

– Я сегодня был у Володьки.

– Какого Володьки? – даже не сразу сообразил я.

– Максимова.

– Позволь!.. Но ведь ты… Но ведь он тебя…

– А-а, – так же безмятежно отреагировал Булат. – Ты про это?.. Ну, знаешь… Я его простил…

Булат, как я уже не раз говорил, был человек закрытый. И я так и не понял, насколько искренним было это его прощение. Кто его знает, может быть, он просто делает вид, что оскорбление, нанесенное ему бывшим другом, не так уж глубоко его задело…

Но я бы так не мог.

Ни за что! Ни при какой погоде!

«Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу», – однажды сказал о себе Виссарион Григорьевич Белинский.

Значит, я не в такой уж плохой компании.

Хотя теперь, кажется, эта компания считается плохой…

Вспомнилось: зашел я как-то с сыном

в большой книжный магазин на Кузнецком. На стенах там красовались портреты всех корифеев отечественной словесности: Пушкин… Гоголь… Тургенев… Гончаров… Толстой… Чехов… Горький…

Сыну было тогда лет четырнадцать, и в то время он меньше всего интересовался классической русской литературой. Тем не менее, оглядев висящие на стенах портреты классиков, он узнал почти всех.

Неузнанным остался только один – Виссарион Григорьевич Белинский.

– А это кто? – толкнул он меня, показывая на портрет великого критика.

Я сказал:

– Белинский.

– А-а, – кивнул он. – Сумасшедший Виссарион…

Я не мог удержаться от смеха, услыхав, как трансформировалось в голове бедного моего нерадивого школьника прозвище «неистового Виссариона».

В те времена, когда моему сыну было четырнадцать, авторитет Белинского был еще сравнительно высок. Хотя уже приходилось слышать, что в знаменитом его споре с Гоголем прав был не он, а Гоголь.

Ну а теперь уже почти общим местом стало убеждение, что Белинский был чуть ли не злым гением великой русской литературы.

Не входя в существо этого спора (здесь и сейчас – не время и не место), могу сказать только одно: по части «жидовской» нетерпимости я и сегодня остаюсь с «сумасшедшим Виссарионом».

Когда в том – уже московском – телефонном разговоре

Володя Максимов с обидой напомнил мне, что, оказавшись в Париже, я не пожелал с ним встретиться, я, услышав этот его упрек, все-таки испытал чувство некоторой неловкости.

Подумал, что, может быть, и в самом деле я поступил нехорошо, не по-человечески. Вот ведь Булат, у которого было гораздо больше оснований для того, чтобы не встречаться с Володей, все-таки переломил себя, нашел в себе силы забыть обиду. А может быть, мудро решил, что Володька все-таки психопат, «бешеный огурец», который кусает кого ни попадя – и чужих, и своих, – и нам, хорошо знающим его старым друзьям, нельзя не принимать это во внимание.

Но эти мелкие уколы совести беспокоили меня недолго. Прошло совсем немного времени, и я окончательно утвердился в мнении, что правильно поступил в той ситуации именно я, а не Булат. Не надо было нам с ним встречаться. Ни мне, ни Булату.

Осенью 93-го Марья Синявская,

в очередной раз приехавшая из Парижа в Москву, собрала на квартире вдовы Юлика Даниэля Иры Уваровой (приезжая в Москву, она всегда там останавливалась) самых близких друзей. Велено было явиться и мне.

У меня очень плохая память на даты, но я помню, что принес и подарил Марье в тот вечер (естественно, не только ей, но отсутствующему Андрею тоже) свою книгу «Пришествие капитана Лебядкина», которая в то время была совсем свежей новинкой. Подписана в печать она была 14 июля 93 года, вышла, стало быть, не раньше августа, скорее всего, в сентябре. Так что встреча эта была совсем незадолго, может быть, всего за нескольких дней до кровавых событий 3–4 октября 93 года, закончившихся тем, что впоследствии стали называть расстрелом парламента.

Это был «военный совет». Предстояло обсудить и решить вопрос чрезвычайной важности.

Володя Максимов в то время, уже не стесняя себя никакой политкорректностью, объявил Синявским самую настоящую войну. С лютой злобой и яростью он обрушил на них новый поток обвинений в сотрудничестве с КГБ.

У него в руках оказался документ, будто бы с несомненностью подтверждающий, что факт сотрудничества действительно имел место.

Собственно, документ этот оказался сперва в руках Владимира Буковского. А уж тот передал его Максимову. Максимов же, ликуя, передал его Э. Кузнецову (известному диссиденту-«самолетчику», в то время редактору иерусалимской газеты «Вести»). И он тотчас же его в этой газете опубликовал.

Это была подписанная Ю.В. Андроповым и датированная 26 февраля 1973 года за номером 409-А докладная записка, в которой председатель КГБ СССР ходатайствовал перед ЦК КПСС о разрешении Синявскому вместе с семьей выехать на три года во Францию.

Смысл этой записки можно было понять и так, что Андрей Донатович Синявский был отправлен на Запад если не по заданию КГБ, то что-то вроде этого.

Андропов докладывал в ЦК КПСС о том, что КГБ СССР проводится работа «по оказанию положительного влияния на досрочно освобожденного из мест лишения свободы» Синявского. Принятыми мерами, сообщал он, удалось скомпрометировать имя Синявского в глазах творческой интеллигенции, в том числе с помощью слухов о его связях с органами КГБ СССР, а через его

жену «удалось в выгодном нам плане воздействовать на позиции отбывших наказание Даниэля и Гинзбурга, в результате чего они не предпринимают попыток активно участвовать в так называемом “демократическом движении”, уклоняются “от контактов с группой Якира”».

Марья тут же объявила этот документ фальшивкой.

Нет, она не утверждала, что никакой такой андроповской докладной записки не было. Записка была. Но опубликовали ее «Вести» с купюрами, то есть в подтасованном, фальсифицированном виде. А у нее в руках имеется полный текст этого документа, в котором все выглядит совершенно иначе.

Из текста, опубликованного Кузнецовым с подачи Максимова, выпал такой – самый важный, по ее мнению, – абзац:

...

Вместе с тем известно, что Синявский, в целом следуя нашим рекомендациям, по существу остается на прежних идеалистических позициях, не принимая марксистско-ленинские принципы в вопросах литературы и искусства, вследствие чего его новые произведения не могут быть изданы в Советском Союзе. Различные буржуазные издательства стремятся использовать это обстоятельство, предлагая свои услуги для публикации работ Синявского, что вновь может привести к созданию нездоровой атмосферы вокруг его имени.

Был там и еще один, тоже изъятый из максимовской публикации отрывок. В нем, предлагая не препятствовать выезду Синявского из СССР, Андропов писал:

...

Положительное решение этого вопроса снизило бы вероятность

вовлечения Синявского в новую антисоветскую кампанию, так как лишило бы его положения «внутреннего эмигранта», оторвало бы от творческой среды и поставило бы в конечном счете Синявского в ряд писателей «зарубежья», потерявших общественное звучание.

Мне тогда показалось, что восстановление этих двух отрывков, выпавших (случайно, как объяснял Кузнецов) или по злому умыслу (как утверждала Марья) из текста, опубликованного Максимовым, мало что тут меняло. Но Марья считала, что стоит только восстановить полный текст андроповской докладной записки, и вся ложь этой максимовской стряпни сразу выйдет наружу. А для этого надо немедленно подать на Максимова в суд, обвинив его в грязной и злонамеренной клевете.

Для решения этого вопроса и был созван тот «военный совет», на который, помимо нескольких друзей, был приглашен и знаменитый адвокат Генри Резник.

Каждый из приглашенных должен был высказать по этому поводу свое мнение.

Когда дело дошло до меня, я рассказал старый анекдот про Петьку и Чапаева. ПЕТЬКА. Василь Иваныч! Слыхал? Бангладеш образовался.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. Главное, Петька, не расчесывай… Сам пройдет.

Резник (его мнение тут было решающим) никаких анекдотов рассказывать не стал, но о перспективах судебного процесса отозвался скептически.

Что говорили другие – не помню. Но решительный настрой Марьи, сколько мне помнится, никто тогда не поддержал.

А она неистовствовала:

– В суд! В суд! Только в суд!

А спустя каких-нибудь две или три недели после того «военного совета», на котором она жаждала крови Максимова, я раскрыл «Независимую газету» и прочел:

…

ПОД СЕНЬ НАДЕЖНУЮ ЗАКОНА…

Владимир МАКСИМОВ
Андрей СИНЯВСКИЙ
Петр ЕГИДЕС

На днях мы, давние оппоненты, чтобы не сказать проще – многолетние враги, сели за один стол. Сели не потому, что по-христиански простили друг другу, а потому, что в жизни каждого человека есть ценности, которые ему дороже самого себя, своих бессонных ночей, смертельных обид и отчаяний. Ценности эти – Родина и Свобода. Сегодня они в опасности: танки, пушки, стрельба, жертвы, победители и побежденные. Газеты полны благородной ярости. Фашизм не пройдет! Фашисты – это, естественно, побежденные. А победитель – наш любимый вождь и Президент. Ура!

Почти единодушно интеллектуальная элита поддержала Ельцина, и никто не сказал:

«Господин президент!

Почему Вы стреляли в свой народ? Верховный Совет плохой? Так это ***Ваш*** *Верховный Совет, это парламент* ***Вашего*** *народа, и другого народа у Вас не будет. Потому что Вас выбрали президентом всея Руси, а не только своей команды…»*

Мы не защищаем Верховный Совет. Иногда он был ужасен. Но это был первый, понимаете – первый парламент России, избранный на альтернативной основе. Хорошо англичанам: у них этой, как говорил тов. Ленин, «говорильне» уже почти 800 лет. Было время подучиться. А нам, что делать нам, если плохо умеем? Отказаться от этой идеи? Прикрыть по указу? Отключить свет

и канализацию? Но даже Хасбулатов имеет право есть, пить и спускать за собой воду.

Во всем цивилизованном мире отношения президента и парламента регламентируются не личными симпатиями, а только законом. Вот французский президент может распустить Национальную ассамблею, а американскому конституция такого права не дает, и если Клинтон завтра замахнется на конгресс – мы не завидуем Клинтону. Свое «Лефортово» ему обеспечено. Ибо, как сказал поэт, обращаясь к владыкам:

Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона…

Надеемся, все знают, чей стих? А ведь мальчишка был, сопляк восемнадцатилетний, но как четко, как чеканно сформулировал, что нужно России…

Поэтому не перевыборы.

Только отставка.

Монастырь.

Грехи замаливать.

(Под сень надежную закона… // Независимая газета. 1993. 16 октября)

Это было невероятно! Я не верил своим глазам. И не только потому, что и месяца не прошло с того дня, когда Марья метала громы и молнии: «В суд! В суд! Только в суд!»

То была, так сказать, кульминация их ссоры. А началом ее, как я знал это со слов Максимова (Синявские на эту тему говорить не любили), стало сразу же обнаружившееся несогласие по поводу местоположения каждой из этих звезд на небосклоне русской литературной эмиграции. Небосклоном же этим, по тогдашним их планам, должен был стать еще только зарождавшийся журнал «Континент».

Начиналось все это очень мирно и даже дружелюбно. Предполагалось, что Синявский и Максимов будут соредакторами этого журнала. Но Синявский будто бы сразу же заявил, что согласится на это только в том случае, если членом редколлегии будущего журнала станет и Марья.

Максимов возмутился: почему? С какой стати? Сегодня он

жену пропихивает в редколлегию, а завтра, глядишь, потребует, чтобы в редколлегию ввели еще и его тещу или какую-нибудь двоюродную племянницу!

В общем, на этом они рассорились. И Синявские стали издавать свой собственный журнал «Синтаксис». И тут сразу же стало ясно, что причиной ссоры были не только литературные амбиции Марьи и уязвленное самолюбие Максимова, но и серьезные идейные разногласия. Лучше даже сказать, не разногласия, а – *несовместимость* .

Но – что греха таить! – личные качества и свойства характеров обеих сторон тоже сыграли тут свою роль. И немалую.

Особенно ясно это проявилось

весной 1981 года, когда в Лос-Анджелесе решено было провести конференцию третьей русской литературной эмиграции.

По планам устроителей намечалось, что представлен там будет весь цвет русской литературной эмиграции так называемой *третьей волны* . За исключением разве одного Солженицына, который, конечно же, не унизится до того, чтобы включиться в какое бы то ни было коллективное мероприятие, хотя бы даже и самое престижное.

Из всех звезд третьей литературной эмиграции почему-то не приглашен был на этот форум только один Коржавин. Не по каким-нибудь там принципиальным соображениям, а просто потому, что «Фирса забыли». Но Войнович заявил, что без Коржавина он себе эту конференцию не представляет и готов даже из личных средств оплатить его присутствие и участие в ней. Так что был там и Коржавин тоже.

И только один из известных тогдашних зарубежных писателей (если не считать Солженицына, конечно) отказался почтить эту конференцию своим присутствием.

Это был Максимов.

О том, почему он решил так поступить, мы можем теперь узнать не по слухам и сплетням, а из письма, которое он тогда же написал одному из главных участников той конференции – Василию Аксёнову.

Письмо это теперь опубликовано (Вопросы литературы. 2013. № 3), и у нас, таким образом, появилась возможность узнать о причинах его отказа поехать в Лос-Анджелес, так сказать, от него самого.

...

Владимир МАКСИМОВ – Василию АКСЁНОВУ

4 апреля 1981 года

Дорогой Вася!

Только что получил афишу конференции в Лос-Анджелесе. Я и раньше чувствовал, что затея эта носит недобросовестный характер, но все же не предполагал, что до такой степени. Эту конференцию

можно назвать не конференцией «писателей третьей эмиграции», а совещанием авторов «Ардиса» с двумя-тремя приглашенными из посторонних. Только, уверяю тебя, напрасно устроители взялись составлять свой список русской литературы за рубежом и определять, кто в ней есть кто…

Тенденциозность подбора участников бросается в глаза сразу. Выступлением Синявского открывается конференция, а затем о нем же следует целый доклад. Мало того, в списке участников дискуссии числится и его жена (почему и не твоя, и не моя, и не Войновича?). Тут же красуются его соратники по эмигрантским скандалам графоман Боков, окололитературный проходимец Янов, любитель Лимонов и т. д., и т. п.

Затем следуют доклады, судя по замыслу, о «ведущих» прозаиках и поэтах третьей эмиграции, но только об одном из них «про и контра», о других же лишь «про». Причем «контра» поручается субъекту, не имевшему и не имеющему никакого отношения к нашей литературе вообще. Даже сам себя он называет историком (хотя и историк липовый). Подвизается главным образом на поприще травли Солженицына, собирая за это дань с американских либералов, озабоченных судьбой своего более чем шестидесятилетнего флирта с Советами. В заключение я должен был бы выслушать доклад о гениальном творчестве таких могучих русских прозаиков, как Соколов и Лимонов. Нет уж, благодарю покорно, я такой

художественной самодеятельностью в молодости-то брезговал, чего ж мне теперь в ней участвовать?

Разумеется, Ваш покорный слуга был приглашен на эти сомнительные литигры только в качестве редактора одного из эмигрантских журналов вкупе с Николаем Боковым и Марией Розановой. Это уж, дорогой Вася, слишком!.. Дорогой Вася, мне пятьдесят лет, из них почти тридцать на глазах у всех вас я – в литературе. Зарабатывал литературную репутацию не в мутном болоте эмиграции, а там – на родине, где всегда числился не последним. Книги мои (плохи или хороши, покажет время) переведены почти на двадцать языков и вышли примерно в шестидесяти иностранных изданиях (кстати, и переводиться я начал еще в России, печатаясь там), у меня вышли или находятся в процессе выхода четыре собрания сочинений (русское, шведское, немецкое)… Критики, прессы и научных исследований обо мне и моих книгах, мягко говоря, никак не меньше, чем у вас всех. Так с какой же это стати я должен был сидеть, выслушивать и обсуждать творчество литературных гигантов вроде Соколова или Лимонова? Поэтому я вправе считать приглашение, посланное мне, если не подлой провокацией, то, во всяком случае, оскорбительным вызовом…

Дорогой Вася, поверь мне, что замысел устроителей по меньшей мере подл. Эти люди и стоящие за ними «благотворители» пытаются столкнуть нас лбами и затем пользоваться нашими распрями для своих, далеко не безобидных целей.

Но, поверь мне, люди эти (я знаю это по своему горькому опыту) циничны и неблагодарны. Как только отпадет нужда, они бросят вас на произвол судьбы. Если Синявский думает, что на инсинуациях против Солженицына или «Континента» он приобретет себе какой-либо капитал (политический или материальный), то глубоко ошибается: кроме десятка статеек в их печатных органах на этом пути его ничего не ожидает. Как, впрочем, и всех тех, кто соблазнится на их посулы…

Уверен, что мои замечания ни на йоту не изменят твоей сегодняшней позиции, тем не менее я считаю своим долгом быть с тобой до конца откровенным, ибо люблю и высоко ценю тебя и как писателя, и как человека.

Твой В. Максимов

…

Устроители также должны помнить, что реагировать мы будем соответственно их замыслу и исполнению: слава Богу, у нас есть еще трибуны и не только в русской печати.

В.М.

Самое замечательное в этом максимовском письме не столько даже его смысл (тоже весьма ярко представляющий лицо автора), сколько его стилистика. Ведь стиль, как мы знаем, – это человек. И человеческий облик Максимова выразился в его письме с такой яркостью главным образом именно в стиле его послания, я бы даже употребил тут другой, более уместный в этом случае, чисто литературоведческий термин: в его *поэтике* .

И – что самое интересное – это тот же стиль, та же поэтика, средствами которой выразил свое гражданское негодование тот же Максимов (якобы уже не один, а в соавторстве с Синявским и

Егидесом) в их совместном заявлении, появившемся 16 октября на страницах московской «Независимой газеты». И там и тут – та же вульгарная напыщенность и та же агрессия, те же угрозы:

...

> *Устроители также должны помнить, что реагировать мы будем соответственно их замыслу и исполнению.*
>
> *Только отставка. Монастырь. Грехи замаливать.*

Чтобы наглядно продемонстрировать несовместимость этого максимовского стиля с литературным стилем Андрея Синявского, довольно было бы – для контраста – привести несколько строк из любого сочинения Андрея. Но, поскольку речь пойдет о несовместимости не только литературной, но и поведенческой, человеческой, сущностной, *экзистенциальной,* придется мне на этой теме слегка задержаться.

В ту нашу парижскую встречу 1988 года

Андрей одарил меня целой стопкой своих книг. Был среди них и его роман «Спокойной ночи», на который я тут уже многократно ссылался, и «Прогулки с Пушкиным», и «В тени Гоголя», и «Голос из хора». И все – с трогательными дарственными надписями, каждую из которых был у меня соблазн тут привести. Но от всех этих соблазнов я удержался и ограничусь тем, что приведу только одну, сделанную им на маленькой его книжечке со странным, несколько даже загадочным названием: «Крошка Цорес»: «Милому Бену – вот исповедь. А. Синявский. 12.12.98».

Вспомнить и привести ее здесь мне понадобилось не для того, чтобы подчеркнуть степень тогдашней нашей взаимной симпатии, а только лишь ради одного этого слова – *исповедь* .

Тут мне придется коротко пересказать сюжет этой маленькой повести. Но сперва – о ее заглавии.

«Цорес» – слово еврейское. И в переводе на русский оно значит «горе».

Сразу возникает некоторое недоумение: с чего бы это русскому писателю, выбирая имя своему герою, ставшее к тому же заглавием всей книги об этом его герое, обращаться к еврейскому жаргону? (Так непочтительно сами евреи называли иногда этот вывезенный ими из Германии, второй, неглавный свой язык.)

Проще всего можно, как это было принято в Одессе, ответить на этот вопрос – вопросом: а с чего бы это вдруг русскому писателю понадобилось подписывать свои книги еврейским псевдонимом *Абрам Терц* ?

Такой ответ и в самом деле тут кое-что объясняет. Но – не все.

Главная причина, заставившая Андрея Донатовича Синявского назвать эту свою повесть так, как он ее назвал, состояла в том, что ему важно было, чтобы ее заглавие – по звуку, по самому своему звучанию – ассоциировалось с названием знаменитой повести Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес».

Эта простая – и самоочевидная – догадка подтверждается посвящением, красующимся на обороте титула этой маленькой, изящно изданной книжки:

...

Эрнста
Теодора
Амадея
Гофмана —
светлой памяти.

Сюжет повести Гофмана, как вы, конечно, помните, заключается в том, что добрая фея пожалела маленького злобного уродца, родившегося у нищей, и без того уже раздавленной своей нищетой и другими жизненными бедами крестьянки, и от всей души захотела ему помочь. Проще всего, конечно, было бы одарить его богатством, но богатство, как фея знала, не было ему суждено, да и все равно не принесло бы ему счастья. А сделать его высоким, красивым, сильным и разумным было не в ее власти: феи, оказывается, тоже не всесильны. «Может быть, – сказала она, – удастся помочь ему иным образом». И наградила жалкого уродца волшебным даром, действие которого состояло в том, что, если мимо него лихо проскачет на гордом коне красавец-всадник, все окружающие будут уверены, что это был не кто иной, как он – Крошка Цахес. И если случится ему оказаться на концерте гениального виртуоза-скрипача, все вокруг устроят овацию не артисту, а оказавшемуся в публике Крошке Цахесу. И он, надувшись спесью, важно будет принимать изъявление их восторгов.

Благодаря этому волшебному дару Крошка Цахес получает все жизненные блага, какие достались бы ему, если бы он был тем, кем казался. К нему пришли и слава, и богатство. Он стал важным сановником, даже министром, и кавалером всех какие только существовали в его стране и в его время орденов. Но, вопреки надеждам феи, даже крошечный лучик света не проник в его темную, злую душонку, и он умер тем же, кем родился на свет, – жалким, завистливым и злобным уродцем.

Синявский использовал внешний рисунок этого сюжета, но наполнил его совсем иным смыслом.

Его Крошка Цорес (это – *прозвище* героя повести, в иные минуты автор называет его иначе, и тогда нам открывается настоящее его имя: *Синявский*), в отличие от гофмановского Крошки Цахеса, родился нормальным, здоровым ребенком:

...

Я родился и воспитался вполне нормальным ребенком. Правда, мать, укачивая меня в невероятно скрипучей кроватке, говаривала не однажды: «спи, спи, горе мое!..»

(Абрам Терц. Крошка Цорес. Париж, 1980)

Но к четырем годам он вдруг стал заикаться.

...

И ничем уже не мог побороть эти спазмы в голосовых связках. Я говорил примерно так:

– М-м-мама, д-д-дай мне м-м-молочка!..

И я взмолился мысленно к Господу, потому что, совсем разуверившись, разучился говорить. И я сказал – если воспроизвести мои слова печатно и удобочитаемо:

– Мама! – сказал я. – Пошли мне с неба добрую фею, исполняющую желания. Прошу изо всех сил. Фею! Фею мне – и немедленно!..

Как будто знал наперед, что наши просьбы, если очень попросишь, – рано или поздно сбываются.

(Там же)

И просьба его сбылась: фея явилась.

Явилась она в образе врача-педиатра Доры Александровны. То есть это мать и все вокруг думали, что она – участковый врач-педиатр. Но он-то знал, что она – фея:

...

– Чего ты плачешь, мальчик? – спросила она весело, похлопав меня по животику и осмотрев горло с помощью лампы на лбу и холодной

мельхиоровой ложки, от которой меня выворачивало. Помню, ее дамская сумочка, поставленная у изголовья, отдавала духами.

– Фе-фе-фея! – едва вымолвил я.

Она засмеялась. <…> В ту минуту, казалось, она предлагала все. Богатство. Власть. Славу. А если пожелаешь – то и Дору Александровну, вместе с ее симпатичной сумочкой, которую на всякий случай она экономно захлопнула.

– Что ты хочешь, мальчик?..

(Там же)

Ему тогда не было еще и пяти. Но он уже очень хорошо знал, чего хочет.

…

По болезни и малолетству я заклинился на поэзии. Ни о чем другом не мечтаю, как только чтобы речь у меня звучала бы и текла беспрепятственно, излетая изо рта правильными октавами. Жизнь, по тогдашним моим отсталым представлениям, гнездилась исключительно в недостижимой свободе и ловкости произносить обо всем подобающие тирады…

О, если бы мне даровали слог и талант оратора, писателя, баснописца…

– Бу-бу-будь по-твоему, мальч-ч-чик.

Дора Александровна была разочарована. По побледневшим ее губам скользила улыбка.

– Че-чем зы-зы-заплатишь?

– Чем хотите, Фея!

– Лю-лю-лю…

– Любовью? Охотно!

Не зная, что такое любовь, я ею пожертвовал. Отказался от добра, от славы, от богатства. От всего прекрасного на свете. Так я продал себя, не подозревая, что делаю, дьяволу. Но взамен того я заговорил. Язык мой развязался. С той поры, как ушла Дора Александровна, пропало мое заикание.

(Абрам Терц. Крошка Цорес. Париж, 1980)

Не только заикание пропало, сбылась главная его мечта, единственное его желание. В строгом соответствии с условиями, на которые он согласился, которые сам же и выбрал, ему был дан писательский дар. И в том же соответствии с тем же договором он заплатил за это отказом от всех иных жизненных благ, от всех человеческих радостей: любви, славы, богатства – от всего прекрасного на свете. Мало того! Он стал вестником – нет, не только вестником – источником горя для всех своих близких. По его вине погибли четыре старших его брата. И все это он отдал за такую малость, как владение словом, легко и свободно льющуюся речь.

Но, оглядываясь на незадачливую, горемычную и приносящую горе другим, неудавшуюся, проигранную свою жизнь, он ни о чем не жалеет и даже утверждается в предположении, что дело того стоило, что в конечном счете он, может быть, все-таки выиграл, а не проиграл в этой своей сделке с дьяволом:

…

Но дьявола нет, а есть – я. Случаются, наверное, дети, рожденные для греха, специально, от кого исходит неведомое зло по земле, внушая всем ответное отвращение. Я – из тех. Не то чтобы плохой человек, а – нехристь, нечисть… Но, может, и мне с годами отпустится щепотка грехов за то, что, ничего не утаивая, я все пытаюсь записать? За

какую-нибудь фразу, прекрасно сказанную, за одну заблудшую ненароком строку…

(Там же)

Вот она – исповедь!

Но можно ли к этой его исповеди относиться всерьез? Ведь как-никак это все-таки повесть, так сказать, художественный вымысел. И герой ее, хоть автор и наградил его своей фамилией, – это все-таки не совсем он, не Андрей Донатович Синявский, а в лучшем случае – его тень, его «отражение в стекле».

Но вот – еще одна его исповедь. На этот раз уже не иносказательная, а – прямая, где автор говорит о себе от первого лица и даже (не такой уж частый случай) обозначил свое авторство не прочно уже к нему приставшим псевдонимом, а собственными, от рождения ему данными именем и фамилией: Андрей Синявский.

Из этой его статьи-исповеди (она называется «Диссидентство как личный опыт») я приведу только два небольших отрывка.

Вот – первый. Это самое ее начало:

…

Мой опыт диссидентства сугубо индивидуален… Я никогда не принадлежал к какому-либо движению или диссидентскому содружеству. Инакомыслие мое проявлялось не в общественной деятельности, а исключительно в писательстве. Притом в писательстве на первых порах тайном и по стилю закрытом, темном для широкой публики, не рассчитанном ни на какой общественный резонанс.

(Абрам Терц. Путешествие на Черную речку. М., 1999)

А вот – ее конец:

…

В эмиграции я начал понимать, что я не только враг советской власти, но я вообще – враг. Враг как таковой. Метафизически, изначально. Не то чтобы я сперва был кому-то другом, а потом стал врагом. Я вообще никому не друг, а только – враг… Там, в Советском Союзе, я был «агентом империализма», здесь, в эмиграции, я – «агент Москвы». Между тем я не менял позиции, а говорил одно и то же: искусство выше действительности. <…>

Куда ни кинься – ты враг народа. Нет, еще хуже, еще страшнее: ты – Дантес, который убил Пушкина. И Гоголя ты тоже – убил. Ты – ненавидишь культуру. Ты ненавидишь «все русское» (раньше, в первом сне, это звучало «ты ненавидишь все советское», а впрочем, «все русское» я уже тогда тоже ненавидел). <…> Ты – антисемит. Ты – человеконенавистник. Ты – Иуда, который предал Христа. <…> Хватаюсь за голову. Спрашиваю себя: как я мог дойти до таких степеней падения? А ведь был когда-то хороший мальчик. Как все люди. Но, видимо, общество лучше меня знает, кто я такой. После советского суда – пожалуйста – эмигрантский суд. И те же улики. Конечно, не посадят в лагерь. Но ведь лагерь – это не самое страшное. Там даже хорошо по сравнению с эмиграцией, где скажут, что ты вообще ни в каком лагере не сидел, а послан «по заданию» – разрушить русскую культуру. <…>

Один вопрос меня сейчас занимает. Почему советский суд и антисоветский, эмигрантский суд совпали (дословно совпали) в

обвинениях мне, русскому диссиденту! Всего вероятнее, оба эти суда справедливы и потому похожи один на другой. Кому нужна свобода? Свобода – это опасность. Свобода – это безответственность перед авторитарным коллективом. Бойтесь – свободы!

Но проснешься наконец утром после всех этих снов и криво усмехнешься самому себе: ты же этого хотел? Да, все правильно. Свобода! Писательство – это свобода.

(Абрам Терц. Путешествие на Черную речку. М., 1999)

Мог ли человек, написавший о себе такое, участвовать в создании политической прокламации, под которой рядом с именами Владимира Максимова и Петра Егидеса стоит и его имя? Ведь, подписав эту «коллективку», он пошел против себя, против самого главного в себе! Трудно поверить, что он не то что принял участие в составлении или редактуре этого текста, но согласился даже, прочитав, подписать его. Разве что просто подмахнул не читая, только поморщившись: «С волками жить, по-волчьи выть!.. Снявши голову, по волосам не плачут…»

Что же толкнуло его на это? Что вынудило примкнуть к этой волчьей стае, слить свой человеческий голос с этим волчьим воем?

Объяснение, которое предлагают нам «соавторы»:

(вот, мол, бывают такие исключительные обстоятельства, когда даже многолетние враги вынуждены протянуть друг другу руки), – могут вызвать только ироническую усмешку. Как пел в одной из своих песен Галич: «Это, рыжий, всё на публику!» На самом же деле нет и не может быть сомнений, что не какие-то там высокие идейные побуждения («Родина в опасности!») стали основой этого неожиданного альянса, а легко различимая, самоочевидная *сделка* . Поняв, что никакой суд не защитит их от помоев, которые льет – и будет лить! – на них Максимов, Андрей и Марья (скорее всего, я думаю, именно Марья) сочли за благо пойти на максимовский шантаж и принять его предложение: Андрей подписывает вместе с ним эту политическую декларацию, а Максимов в обмен на это прекращает свою травлю, публично отказывается от своих обвинений.

Именно такое публичное заявление вскоре и было им сделано:

...

> *Сегодня я считаю своей обязанностью принести извинения А. и М. Синявским за публично высказанные мною ранее в их адрес подозрения в вольных или невольных связях с КГБ.*
>
> *(Владимир Максимов. Заявление для печати. Необходимое разъяснение // Синтаксис, 1994. № 34)*

Как видим, обе договаривающиеся стороны соблюли условие заключенного ими соглашения (сделки).

Почему на эту сделку пошел Синявский, понять можно.

Пресловутое письмо Андропова, которое в игре, затеянной Максимовым, было его главным козырем, появилось в иерусалимской газете «Вести» в сопровождении большой – на целую полосу – статьи Михаила Хейфеца «Новые грехи старого Абрама. Андрей Синявский как агент КГБ». Статья эта была помещена в газете под рубрикой «Вчера тайное – сегодня явное».

А вслед за ней на головы героев этой статьи обрушился поток вот таких читательских откликов:

…

Обосрался Донатович с супругой, прости Господи за вульгарный термин. Ну кто бы мог подумать в 50–60-е годы, что чекистские архивы откроются. И хотела бы посочувствовать непочтенной парижской чете стукачков, да не могу – смех разбирает… Везет же людям – ты сам лично это видел. Чего это стоило (раскрытые архивы) почтенному многолетнему стукачу, Андрею Донатовичу С. Как его только кондратий не хватил.

Даже Марье с ее ведьминским характером и железными нервами вынести все это было непросто. Приложенное к текстам письмо Андропова – с купюрами или без купюр – придавало этим инсинуациям аромат достоверности и даже бесспорной, непререкаемой документальности.

Синявские поняли, что от этого не иссякающего потока грязи им все равно не отмыться: чем дальше, тем больше эта грязь будет к ним прилипать. И выход из этой мерзкой ситуации им остается только один: принять условия предложенной Максимовым сделки.

Ну а Максимов?

Ему-то зачем все это понадобилось? Неужто и впрямь его так потряс расстрел «первого свободно избранного в России парламента», что он, как в свое время Л.Н. Толстой, не смог промолчать? И – мало того! – решил усилить громкость своего протеста эффектным примирением с давним своим врагом Синявским?

Как бы не так!

И тут у меня уже не догадки, не предположения, не гипотезы, а – факты.

С политическими декларациями того же свойства, что его совместное (с Синявским и Егидесом) обращение к президенту, он стал выступать еще летом 1993 года, то есть за несколько месяцев до октябрьского путча и пресловутого «расстрела парламента», начав регулярно печататься в «Правде». Для наглядности приведу парочку заглавий этих тогдашних его правдинских статей: «Зияющие высоты хамодержавия», «Обыкновенный демофашизм». То есть – пел в унисон с другими тогдашними правдинскими авторами.

О том, как это случилось, подробно рассказал в книге своих воспоминаний Геннадий Зюганов, посвятив этой теме целую главу, прямо так и названную: «Владимир Максимов – автор “Правды”».

На нее и сошлюсь:

…

Если человек утверждает сегодня одно, а завтра – совсем другое, это вовсе не значит, что он просто флюгер, приспособленец или тем более – хамелеон…

Я размышляю об этом, вспоминая историю появления на страницах «Правды» Слова большого русского писателя Владимира Емельяновича Максимова.

Где бы он ни выступал в последние годы жизни, к нему неизменно приставали с дурацким вопросом: как вы, непримиримый

диссидент, могли стать автором «Правды», олицетворяющей, мягко скажем, то, против чего вы всегда воевали?

В свою очередь, наши старинные читатели тоже не оставались в долгу: как это «Правда» может печатать статьи Максимова? Он же ярый антикоммунист. <…>

Началось все до удивления просто.

Кто-то из умных демократов надумал собрать в новом здании Президиума Академии наук на Ленинском, 32а круглый стол с участием всех виднейших диссидентов из-за границы, полагая, конечно же, укрепить тем самым в международном масштабе демократический авторитет нового, постсоветского режима. Приглашены были писатели Василий Аксёнов и Владимир Максимов, писатель и философ Александр Зиновьев, правозащитник Владимир Буковский…

Слово дали Василию Аксёнову. Постаревший кумир «звездных мальчиков» критиковал организаторов круглого стола, а заодно и Россию за то, что российские интеллигенты опять настаивают на следовании каким-то своим, истинным, особым курсом:

«Пора бросить благоглупости, осознать себя частью европейско-американского христианского мира. <…> Надо закончить нашу столетнюю войну с Западом. <…> Россия, став частью западного мира, останется Россией и даже сможет повлиять на западную культуру. <…>»

Цитирую не по стенограмме – по

записям в блокноте, но за смысл – ручаюсь. <…>

К выступлению Максимова зал уже был разогрет почти до кипения. И все же Владимир Емельянович нашел свои слова. <…> Читал свою речь с болью за Россию, за ее народ.

– Растление – вот нынешняя российская реальность.

– Можно ли интеллигенту призывать к иностранной оккупации России? А это делает Новодворская. <…>

– Плевать в лицо народу безнаказанно нельзя.

– Тон тотальной лжи задает сам президент, обещавший лечь на рельсы, если поднимутся цены на хлеб. Он позорит страну, торжественно вручая Южной Корее пустой «черный ящик» сбитого в свое время пассажирского «боинга». <…>

Повторю: я цитирую по своим блокнотам, записям, специально не заглядывая в подшивку «Правды», где той дискуссии отведена была целая полоса.

Вот с этой-то публикации и начались новые взаимоотношения между «Правдой» и Максимовым. <…>

Прошло еще несколько месяцев, пока не позвонил наш собкор из Парижа: Владимир Емельянович Максимов хотел бы вести в «Правде» еженедельную рубрику, как к этому отнесутся в редакции?

К тому времени я уже был избран главным редактором «Правды», и у меня не возникло никаких колебаний насчет Максимова. <…>

Да простит меня читатель, но я вновь и вновь буду возвращаться к

Владимиру Максимову – к человеку, который как никто далек от меня и как, пожалуй, никто другой близок мне своей любовью к России, к ее народу, своей совестливой интеллигентностью. <…>

Федор Михайлович Достоевский, живший за сто лет до нас, далеко опередил всех в исследовании таких вот проклятых вопросов человеческого бытия, раздирающих сознание противоречий. В середине 70-х в штат редакции приходили люди, для которых мир Достоевского не был запретным, как прежде, и это, конечно, не могло не повлиять на характер и содержание газеты.

Пронзительной силой, тонким вниманием к малейшим вибрациям людских душ отличались, например, психологические очерки Веры Ткаченко, Михаила Васина, Виктора Белоусова и других мастеров «Правды». В том же ряду и большой русский писатель, который со страниц «Правды» призывал к человечности, совести, – Владимир Емельянович Максимов.

(Геннадий Зюганов. Владимир Максимов – автор «Правды»)

Самое интересное в этом объяснении причин, по которым Максимов стал сотрудником «Правды», – не столько то, что «правдисты» сразу почуяли в нем «своего» (в отличие от Аксёнова, который как был, так и остался для них чужим), сколько то, что принят он был в их компанию с почетом. Можно даже сказать – с трубами и фанфарами.

Не зря Зюганов, поминая его, всякий раз не забывает выразить свою радость и даже ликование по поводу того, что в их рядах оказался *«большой русский писатель Владимир Емельянович Максимов»* .

Для Максимова эта формула была очень важна. И именно она, я думаю, была главной причиной совершенного им «выхода Хаджи Мурата».

Кстати, не могу тут не вспомнить, что этот неожиданный «выход» был не первым и не единственным в его жизни.

Однажды ему уже случилось быть перебежчиком.

Литературная известность пришла к нему

после того, как он оказался одним из авторов «Тарусских страниц».

Часть тиража этого сразу ставшего знаменитым литературного альманаха была пущена под нож. И слава богу, что только часть: вполне могли пустить под нож и весь тираж. Удивительно даже, что этого не случилось. Дело ограничилось тем, что сняли главного редактора Калужского книжного издательства, выпустившего альманах, а экземпляры уцелевшей части тиража изымались из библиотек.

Чтобы понять, почему так произошло, достаточно перечислить имена авторов, произведения которых составили содержание альманаха. Среди них были: Марина Цветаева, Николай Заболоцкий, Борис Слуцкий, Наум Коржавин, Давид Самойлов, Владимир Корнилов, Аркадий Штейнберг. Булат Окуджава был представлен не стихами, а прозой – первой своей повестью «Будь здоров, школяр!», Балтер – сразу ставшей знаменитой повестью «До свидания, мальчики!», Юрий Казаков – тремя большими рассказами. Константин Георгиевич Паустовский напечатал первые главы из своей «Золотой розы». Впервые в советской печати появилась там проза Надежды Яковлевны Мандельштам (правда, пока еще под псевдонимом).

Стихотворные циклы, да и прозаические тоже, поражали еще и площадью, щедро предоставленной их авторам составителями альманаха и ее издателями. Достаточно сказать, что стихотворный цикл Цветаевой состоял из сорока двух, а подборка впервые опубликованных в печати стихов Коржавина – из шестнадцати стихотворений: в золотую пору Серебряного века такого количества хватило бы на книгу.

Вот в какой компании дебютировал Володя Максимов своей повестью «Мы обживаем землю!». С нею он и вошел в наш тесный дружеский круг, ядро которого – еще до выхода «Тарусских страниц» – составили будущие авторы этого альманаха: Булат Окуджава, Борис Балтер, Наум Коржавин, Владимир Корнилов.

Вошел – и тут же перебежал в другой, враждебный нам лагерь – на страницы кочетовского «Октября», бывшего в то время оплотом последней тухлой отрыжки издыхающей сталинщины.

Никто из нашей тогдашней компании ни за какие коврижки не напечатал бы у Кочетова ни строки. А Максимов не только не побрезговал напечататься, но даже – почти сразу – стал членом

редколлегии этого одиозного журнала. А ведь быть членом редколлегии – это значит нести свою меру ответственности за содержание журнала, за его направление. Направление же кочетовского «Октября», как я уже сказал, было самое гнусное.

Но Максимова менее всего интересовало направление пригревшего его журнала. Ему тут важно было только одно: он сделал шаг наверх, на целую ступень продвинулся к вершинам официальной тогдашней писательской табели о рангах.

Так сразу выяснилось, что по самой своей натуре был он не только болезненно честолюбив и славолюбив, но и – *властолюбив* .

Ведь быть членом редколлегии было не только приятно и почетно. Это членство, помимо всего прочего, было знаком принадлежности к *номенклатуре* , то есть – к определенному классу уже прочно сложившегося в то время вполне *классового* советского общества.

Помню, как Боря Слуцкий, когда мы однажды обсуждали с ним эту тему, с усмешкой пересказал мне высказывание одной своей знакомой.

– Моя подруга, – сказала та, – вышла замуж за члена редколлегии.

Это звучало так, как если бы она сказала «за полковника». А может быть, даже «за генерала».

Так оно, в сущности, и было: членство в редколлегии толстого московского журнала предполагало и соответствующий оклад жалованья, и какой-нибудь там спецпаек, и разные другие льготы и привилегии. Но главное значение этой должности состояло в том, что оно заключало в себе *обладание властью* . От члена редколлегии во многом зависело, напечатают или не напечатают в *его* журнале твой новый роман. Или рассказ. Или цикл стихов. И уже одно это предполагало, что «рядовой» писатель, с которым вчера еще вы были на «ты», с изменением этого своего положения должен будет держаться с тобою совсем иначе.

...

Я познакомился с Лакшиным, когда он еще работал в «Литературной газете». Тогда мы были на «ты» и называли друг друга Володями. Но, став членом редколлегии ведущего журнала, он

пожелал возвести между нами барьер: при встречах церемонно кланялся и говорил с покровительственной интонацией: «здравствуйте, Володя», ожидая, что я в ответ скажу: «Здравствуйте, Владимир Яковлевич». А я отвечал просто: «Привет, Володя», и это его, как мне казалось, коробило. Однажды я не выдержал и сказал, что редко первым перехожу на «ты», но, если это уже случилось, обратно на «вы» не возвращаюсь независимо от успехов и положения того, к кому это относится. Лакшин смутился, покраснел: «Извини, Володя, ты прав».

Я его извинил, но в следующий раз Лакшин опять сказал мне с поклоном: «Здравствуйте, Володя».

(Владимир Войнович. Автопортрет. Роман моей жизни)

В эмиграции Максимов был уже не «членом редколлегии», а – бери выше! – редактором самого большого и самого влиятельного русскоязычного журнала.

О том, какое значение он придавал этому своему статусу, мы теперь уже знаем из приведенного мною его письма Аксёнову, в котором он объяснял, почему считает для себя невозможным принять участие в конференции русских писателей-эмигрантов третьей волны. Прямо и откровенно Максимов признавался там, что участвовать в этом форуме согласился бы при том единственном условии, что именно он (а не Синявский или кто-либо еще) будет там признан *первым* , лучше даже сказать – *главным* писателем эмиграции.

В советские времена (в середине 60-х)

ходила у нас такая байка. В кругу высокопоставленных литературных дам говорили о том, какое место в официальной табели о рангах занимает тот или иной писатель, кого из них можно считать выдающимся, а кого – всего лишь известным. Одна из участниц этой дискуссии по наивности к выдающимся причислила, уж не помню, то ли Паустовского, то ли Каверина. И тут жена Вадима Кожевникова произнесла свою знаменитую реплику, надолго вошедшую в анналы тогдашнего интеллигентского (писательского) фольклора:

– Ну что это за писатель – без власти!

Настоящим писателем, искренне полагала она, может считаться только секретарь (лучше всего – большого Союза, на худой конец эрэсэфэсэровского, в крайнем случае московского). Или главный редактор какого-нибудь из тогдашних толстых журналов. То есть – тот, в руках у которого были *рычаги власти.*

В эмиграции все это было вроде ни к чему. По логике вещей, там должна была установиться истинная, а не мнимая шкала ценностей.

Но Максимов вывез из отечества в эмиграцию именно вот эти, сугубо советские представления о той шкале. Он и думать не думал, что может оказаться в числе тех писателей («неписателей»), которые «без власти».

Ни у кого из известных русский писателей третьей эмиграции таких амбиций как будто не было (если, конечно, не считать Солженицына).

Но Максимов не собирался в этом уступать даже и Солженицыну. Тот же Войнович – в том же «Романе моей жизни» – рассказывает, что, когда он написал свой роман «Москва-2042», ему пришло в голову предложить его Андрею Седых, русскому эмигранту еще первой волны, многолетнему редактору старейшей русскоязычной эмигрантской газеты «Новое русское слово». Яков Моисеевич (Андрей Седых – это псевдоним, настоящее его имя было Яков Моисеевич Цвибак) охотно и даже с радостью принял это предложение, и они уже стали договариваться о том, сколько номеров в «Новом русском слове» займет этот войновичевский роман. Но тут Войнович слегка замялся и сказал, что должен предупредить: в романе есть один персонаж, который, как многие считают, похож на одного известного писателя. И писатель этот изображен там весьма нелицеприятно.

– Кто же он, этот писатель? – насторожился Седых.

Войнович признался, что – Солженицын.

– А-а, – облегченно вздохнул Седых. – Ну это ладно. Это пусть. А я уж испугался. Подумал – не Максимов ли…

Аксёнов, когда до него дошло приводившееся мною максимовское письмо, достойно и сдержанно на него ответил. Но эмоций своих по этому поводу сдержать не сумел и поделился ими в тут же написанном коротком письме Довлатову:

…

Дорогой Серёжа!

Я вот тоже заслужил немилость батьки Емельяныча. Вчера пришло истерическое письмо из Парижа, катит на меня за конференцию в Лос-Анджелесе: не тех пригласили, его недооценили, идем на поводу у каких-то таинственных антимаксимовских сил, и вот в ответ на эту занятую мною позицию, вот, Вася, «долг платежом красен», русская пресса хранит полное молчание по поводу «Ожога». Хоть стой, хоть падай. Во-первых, я тут при чем? Американцы собирают конференцию. Во-вторых, всю эту пиздобратию со всем почтением приглашают, всех наших классиков, они все ломаются и не соглашаются, а тотемный столб с элегантностью, свойственной тотемным столбам, вообще ни хера не отвечает, а потом оказывается «тенденциозный провокационный набор участников».

(Вопросы литературы. 2013. № 3)

Как сказал один поэт, «все мы стоим того, что мы стоим». Каждый в конечном счете получает то, чего хотел.

Максимов хотел стать «батькой» – и стал им.

Сам он, конечно, думал, что хочет только одного: чтобы его

ценили так, как он того заслуживает, то есть почитали «большим русским писателем». Но в сознании его (скорее даже – в подсознании) это было неразрывно связано с его стремлением быть *человеком власти* .

Булат в этом смысле был полной его противоположностью.

Александр Трифонович Твардовский всех своих собратьев по писательскому цеху делил – как пернатых – на две категории. Есть среди них, говорил он, птицы *певчие* , а есть – птицы *ловчие* .

Максимов по этой классификации, безусловно, попадает в разряд птиц *ловчих* .

А Булат был – *птица певчая* .

Лев Николаевич Толстой, вспоминая своего рано умершего брата Николая,

сказал, что у него были все достоинства, необходимые для того, чтобы стать писателем, но не было столь же необходимого писателю недостатка: тщеславия.

Тщеславие, стало быть, если верить Толстому (а кому же нам тут верить, если не ему?), – одна из важных составляющих писательского призвания. Может быть, даже и писательского таланта. И уж во всяком случае, оно – непременное условие реализации всех прочих необходимых писателю дарований, без него писателем не станешь.

Не могу сказать, что Булат – как Николай Николаевич Толстой, который писателем так и не стал, – был вовсе лишен этого недостатка. Но он был у него выражен в какой-то ослабленной, почти незаметной форме.

На второй или на третий день нашего пребывания в Гренобле

было назначено публичное выступление трех наших поэтов – Андрея Вознесенского, Александра Кушнера и Булата.

Вечер проходил в каком-то большом концертном зале.

Кушнера представлял Эткинд, а Андрея и Булата должен был представить я.

Аудитория состояла наполовину из русских, наполовину из французов, и Эткинд о Кушнере говорил на своем блестящем французском. Ну а я, естественно, собирался говорить про Андрея и Булата на том единственном языке, на каком мог это сделать, то есть – на русском.

Ефим Григорьевич отговорил свою искрометную французскую речь, и на авансцене уже читал свои стихи Кушнер. А мы трое – Андрей, Булат и я – сидели в глубине сцены и ждали – каждый своего выхода.

– Когда будешь говорить обо мне, – шептал мне в ухо сидящий слева от меня Вознесенский, – не забудь сказать о наших выступлениях в 60-е годы. О том, что на наши вечера собирались тысячи людей, была конная милиция…

– Да, конечно, обязательно скажу, – кивал я.

– И не забудь, пожалуйста, сказать, что я почетный член… – И он перечислил несколько каких-то международных академий.

Я кивал: да-да, непременно, можешь быть спокоен, не забуду.

Таких напоминаний он мне сделал не то шесть, не то восемь. Половину из них во время своего выступления я вспомнил, а половину, конечно, забыл. Но всё, о чем не вспомнил, забыл упомянуть в своем выступлении я, Андрей сказал о себе сам. А сказав, отчаянно завывая и гримасничая, стал читать свои стихи.

Вообще-то он читал прекрасно, и каждое его выступление на Родине, как и публичные выступления Жени Евтушенко, являли собой великолепный «театр одного актера». Но здесь – очевидно, в расчете на французскую часть аудитории, не понимавшую по-русски, – по части жестов, мимики и завываний он, как мне показалось, слегка перебарщивал.

А Булат тем временем шептал мне – в другое мое ухо:

– Я не понял, это ты уже про нас обоих сказал? Или только про Андрея?

– Только про Андрея. Сейчас он кончит – и буду про тебя.

– Ну ладно. Только покороче…

И перед самым моим выходом еще несколько раз повторил:

– Покороче, Бен… Прошу тебя, покороче…

Я постарался выполнить эту его просьбу.

Начал с того, что у нас, в нашей стране, Булат ни в каких представлениях не нуждается. И в доказательство привел тут же вспомнившийся мне случай.

Однажды мы вчетвером: Володя Корнилов со своей женой Ларисой, моя жена и я – прошли горными тропами через Карадаг и, спустившись к Щебетовке, утомленные длинным пешим переходом и жарой, с радостью обнаружили там какую-то чебуречную. Чебуреки, которыми нас там накормили, показались нам необычайно вкусными, а холодный компот, которым мы их запивали, доставил нам совсем уже неизъяснимое наслаждение. И обслужили нас в этой чебуречной быстро и вежливо, чем мы, привыкшие к ненавязчивому советскому сервису, тоже были приятно удивлены. По всему по этому, когда, поблагодарив обслуживавших нас девушек, мы вышли из этого заведения и тронулись в путь, моя жена сказала, что надо бы написать им что-нибудь хорошее в книгу жалоб и предложений, которая у них наверняка есть. Выразить им не только устную, но и письменную благодарность. Сказано – сделано. Она вернулась обратно и, спустя несколько минут, выполнив то, что хотела, догнала нас. И тут – к нашему изумлению – вслед за ней высыпал на порог чебуречной весь ее коллектив. Было их человек, наверно, пять или шесть. И все они глядели нам вслед, уставив ладони козырьком, как смотрят на солнце.

– Что это они? – подозрительно спросил я у жены. – Что ты там такого им понаписала?

– Ничего особенного, – сказала она. – Просто поблагодарила, и все. А подписалась «Булат Окуджава». Ну, чтобы им приятно было…

Эта моя история имела успех – во всяком случае, у русской части аудитории. Хотя и французы, кажется, тоже поняли, как знаменит наш Булат у себя на родине.

Успех первых его песен

был ошеломителен. Едва ли не на самую первую из них тотчас же появилась любовная пародия (ее сочинил Валентин Берестов). Собственно, это даже и пародией назвать было нельзя. Это был – восторженный панегирик:

Вы слышите, грохочет барабан.
Вы слышите – звенит гитара в лад.
На черта нам Монтан, Монтан, Монтан?
Ведь есть у нас Булат, Булат, Булат!

А какое-то – очень короткое – время спустя другой поэт (Михаил Львовский) с исчерпывающей точностью объяснил природу этого неслыханного успеха:

Самогон – фольклор спиртного.
Запрети, издай указ,
Но восторжествует снова
Самодеятельность масс.
Тянет к влаге – мутной, ржавой
От казенного вина,
Словно к песне Окуджавы,
Хоть и горькая она.
Нефильтрованные чувства
Часто с привкусом, но злы.
Самогонщик, литр искусства
Отпусти из-под полы!

Вспомним первые песни Булата Окуджавы: «Полночный троллейбус», «Часовые любви», «Из окон корочкой несет поджаристой…», «Комсомольская богиня…». Можно разве назвать их злыми? Нет, конечно! Да их и горькими-то, пожалуй, не назовешь. Скорее – светлыми, ясными, прозрачными… Но слово «злы» в процитированном стихотворении Львовского не было ни опиской, ни оговоркой. «Злы» эти песни были не в том смысле, что дышали злобой и ненавистью, а в том, в каком крепкий напиток народ искони называл *зельем.* Злой – это значит действует, *забирает.*

Песни Окуджавы *забирали, брали за душу,* как самый крепкий

самогон. Ну и конечно, то обстоятельство, что зелье это отпускалось «из-под полы», то есть было *запретным,* тоже играло немалую роль.

Но тут сразу возникает некоторое недоумение:

а почему, собственно, эти песни надо было запрещать?

Начальство, от которого исходил запрет, не могло сказать по этому поводу ничего вразумительного. Чуя носом, что песни эти им не по нутру – мало сказать, не по нутру, что они глубоко им враждебны, угрожают самому существованию всей так бдительно оберегаемой ими системы, – более или менее внятно сформулировать, где именно таится в них крамола, они не могли.

Зав. отделом культуры ЦК Поликарпов – один из самых лютых ненавистников Булата – мрачно буркнул по поводу песни, начинающейся словами: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая…»:

– Я в подлой войне не участвовал.

Он же резко осудил финал песенки про Лёньку Королёва:

Но, куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так, погулять),
все мне чудится, что вот за ближайшим
поворотом
Короля повстречаю опять.
Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Лёньки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы
не представляю
без такого, как он, короля.

Осудил – ни более ни менее – за то, что усмотрел в этих строчках призыв к установлению на Москве королевской власти.

Глупее не придумаешь. Но более внятно сформулировать, в чем порочность песен Окуджавы и почему их надлежит запретить, ни Ильичёв, ни Поликарпов, ни более мелкие его прислужники и клевреты так и не смогли.

Дело между тем было ясное. И самую суть дела очень точно сформулировал однажды в разговоре со мной мой друг Женя Винокуров.

– Нельзя, – сказал он, – в одно и то же время петь Окуджаву и строить коммунизм. Петь «Нам песня строить и жить помогает» и

строить коммунизм – можно. А спеть «Девочка плачет, шарик улетел», а потом пойти и немножечко построить коммунизм – нет, невозможно даже и вообразить себе такое!

Песни Окуджавы были глубоко враждебны всем этим Ильичёвым и Поликарповым уже по одному тому, что захватывали они не ритмом сплоченной, вдохновленной одной идеей и бодро марширующей в четко заданном направлении толпы – массы, коллектива (недаром главными словами в тех старых советских песнях были местоимения множественного числа – «мы», «нам»: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…», «Нам нет преград ни в море, ни на суше…»). В песнях Булата завораживал, тревожил, волновал, брал за душу одинокий голос, не боящийся говорить *о себе и от себя.* Он говорил не «мы», а – «я», не «нам», а – «мне»: «Я гляжу на фотокарточку…», «Я в синий троллейбус сажусь на ходу…», «Мне надо на кого-нибудь молиться…».

Дело, конечно, не в местоимениях. В старых советских песнях личное местоимение первого лица и единственного числа тоже нет-нет да и попадалось. Но в тех песнях даже оно произносилось как бы от имени всего советского народа: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…» И тут же поспешно, словно автор вовремя спохватился, что его могут неправильно понять, оно заменялось гораздо более тут уместным местоимением множественного числа: «Но сурово брови мы насупим…» Булат же даже в тех – редчайших – случаях, когда он прибегает к местоимению множественного числа («Нас время учило: живи по-привальному, дверь отворя…», «Наши девочки платьица белые раздарили девчонкам своим…»), тоже говорит *о себе и от себя.* И хоть личная его судьба (как и судьба всего его поколения) в этом случае оказывается песчинкой, могучим ветром истории втянутой в великие «потрясенья и перевороты» эпохи, лирической темой песни, ее внутренней энергией и тут остаются все те же «откровенья и щедроты» его сострадающей одинокой души:

Сапоги – ну куда от них денешься?
И зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад…

До свидания, девочки! Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

«Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите… – говорит он, обращаясь к своим сверстникам в этой же песне. – И все-таки…»

Вся соль именно вот в этом – «И все-таки…»

Старая, «добулатовская» песня всем строем своим, всем своим пафосом (в былые времена искренним, позже – заказным, казенным) утверждала безусловный приоритет государственных интересов над интересами одной отдельно взятой человеческой личности:

Забота у нас большая.
Забота у нас такая:
Жила бы страна родная —
И нету других забот.

Песни Булата всем своим душевным настроем утверждают противоположное. В этом главный и – очень личный – пафос всего его творчества. И его исторических романов, и его так называемых гражданских и сугубо интимных лирических стихов и песен:

– Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам ваше ремесло?
– Господин генерал, вспомнились амуры —
не скажу, чтобы мне с ними не везло.
– Господин лейтенант. Нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы все про баб!
– Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б…
– На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество…
– Господин генерал, слава для

убитых,
а живому нужней женщина его…
– Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счеты с тобой трибунал сведет…
– Видно, так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.

Всем, кто истошно орал – и ныне продолжает орать на всех перекрестках, что им *за державу обидно,* Булат тихим своим, проникновенным голосом словно бы отвечает:

– А мне обидно за человека, которого всю дорогу вот эта самая держава – и в войну, и в мирное время – безжалостно растаптывала пудовым своим сапогом.

И в конце концов этот слабый, одинокий голос заглушил, пересилил, победил не только гром духовых оркестров, во всю мощь исторгавших из своих медных глоток бесконечный марш энтузиастов, но и грохот стальных гусениц по брусчатке, и громовые раскаты праздничных орудийных салютов могучей ядерной державы.

Что еще я говорил про Булата

в том своем вступительном слове, сейчас уже не вспомню. Помню только, что сказал про его стихи, что они не поддаются анализу. Фокус, мол, можно объяснить. А как объяснить чудо?

На следующее утро за завтраком к моему столику подсел Вознесенский.

Наливая себе кофе и разбивая ложечкой скорлупку яйца, он глянул на меня с усмешкой и сказал:

– А мои стихи, значит, можно проанализировать?

– Твои можно, – сказал я. И с досадой подумал, что вот черт меня дернул испортить Андрею обедню – не миновать теперь длинного и неприятного выяснения отношений. Но Андрей был умен и развивать эту тему не стал.

Что же касается Булата, то он, я думаю, даже и внимания не обратил на это мое замечание. А скорее всего, даже и не очень вслушивался в то, что я там про него говорил.

Но не всегда так бывало.

Однажды он попросил меня предварить

вступительным словом какой-то его большой творческий вечер. Я охотно и даже с радостью согласился.

О чем я говорил в этом вступительном слове (в Москве, а не в Гренобле), помню очень хорошо, потому что незадолго до того написал довольно большую статью о русской поэзии «эпохи магнитофона». Речь в ней шла о Высоцком, Галиче, Юлии Киме, Юзе Алешковском. И первым в этом ряду там у меня, конечно, был Булат. Не только потому, что именно он своими песнями открыл эту эпоху.

...

Булат Окуджава – писал я там – поэт. Но поэтов… Чуть было не сказал – много… Нет, истинных поэтов, конечно, немного. В любую эпоху – по пальцам можно пересчитать. Прав был Пастернак, сказавший в свое время: «Нас мало. Нас, может быть, трое…»

Если говорить о сверстниках Булата – поэтах его поколения, – можно назвать пятерых. От силы – шестерых.

Но Булат Окуджава как некое художественное явление – один. Второго такого нет и не будет.

В один ряд с ним я поставил бы Галича, Высоцкого, Алешковского, Кима. Но то же, что о нем, можно ведь сказать и о любом из них. Творческий облик каждого из этого ряда – это совершенно особый феномен, вобравший, включивший в себя несколько ипостасей: поэтический текст, музыкальную мелодию, голос, манеру исполнения. <…> И все это нельзя оторвать от

личности, от неповторимой художественной индивидуальности автора.

Но это – о том, что их объединяет. В остальном же все они – очень разные.

В творческом облике Галича доминирует автор текста. Я бы даже сказал, драматург. Его песни – это маленькие драмы.

В творческом облике Высоцкого – голос и неповторимая, только ему присущая манера исполнения.

У Булата все три ипостаси его творческого облика слиты в совершенно поразительное по своей органичности и гармоничности художественное единство.

В начале 1960-х в Польше была выпущена пластинка, на которой песни Булата были записаны в исполнении нескольких замечательных польских певцов – под аккомпанемент то ли маленького оркестра, то ли электрогитары. Пели польские певцы изумительно, а главное, на редкость тактично, нимало не выпячивая свою исполнительскую манеру. Аккомпанемент звучал божественно. <…> Но в конце пластинки, последним ее номером прозвучал голос самого Булата: одну свою песню (про Агнешку) он спел сам. И одинокий голос Булата, самые простые, непритязательные переборы его гитары, на которой он и играть-то толком не умел, легко, без малейшего усилия заслонили, победили все эти музыкальные и исполнительские изыски. И тончайшую аранжировку, и виртуозный музыкальный аккомпанемент, и безукоризненный

вокал профессиональных певцов-исполнителей.

Но произошло это не благодаря высокому уровню композиторского и исполнительского дара Булата Окуджавы. И уж совсем не благодаря красивому тембру его голоса и обаятельной манере исполнения.

Голоса у польских певцов были, быть может, даже более красивого тембра, чем у Булата. И манера их исполнения была никак не менее обаятельна, чем у него.

Причина его «победы» была иная.

Все дело тут в том, что слово «исполнение» применительно к Булату вообще неуместно. Ведь слово это как бы предполагает, что есть некое произведение, которое может быть исполнено – так или иначе. Тем исполнителем или другим. (Как, скажем, вальс Шопена – разными пианистами, а «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса – разными скрипачами.)

В случае Булата Окуджавы все дело в том, что голос и интонация певца, авторская манера воспроизведения его песен – все это является как бы живой плотью произведения, его телом. И оторвать песню Булата от его голоса, от его индивидуальной, только ему одному присущей интонации – это все равно что пытаться извлечь душу из тела.

(Бенедикт Сарнов. Бесконечный лабиринт. М., 2003)

Вот об этом, с некоторыми вариациями, я и говорил в том своем вступительном слове. О том, что Булат Окуджава – не поэт, не прозаик, не композитор и не певец, а – совершенно уникальное, единственное в своем роде художественное явление. И не скрывал своего восхищения этим художественным явлением, не стесняясь, признавался ему в своей любви.

Этим своим выступлением я тогда был очень доволен и не сомневался, что Булату оно тоже должно было прийтись по душе.

Каково же было мое изумление, когда до меня докатилось, что он был им не то что недоволен, а огорчен, даже обижен.

– Бен, – с обидой сказал он тогда одному из наших общих друзей, – говорил там только о песнях. Ни словечка ни о моих исторических романах, ни о моей автобиографической прозе. Словно ничего, кроме песен, я в своей жизни не написал.

Какой повод я дал ему для этой обиды, я тогда даже и не понял.

И так бы, наверно, и не понял, если бы не другой эпизод, не другой случай.

Когда ему стукнуло семьдесят,

помимо большого юбилейного вечера, когда возле здания театра на Трубной, где проходило торжественное чествование юбиляра, собралась огромная толпа желающих хоть по трансляции услышать, что происходит там, в зале, – помимо этого большого вечера был еще один – маленький, интимный – в литературном музее. И мне там тоже пришлось выступать. В этом случае с воспоминаниями, конечно.

И когда я рассказывал о том, где и как мы встретились, познакомились, а потом и подружились, Булат, сидевший в первом ряду, мне крикнул: «Про гитариста расскажи! Про гитариста!»

Я сразу понял, о чем он.

Когда мы с ним работали в «Литературной газете», был там у нас, в нашем отделе, один сотрудник – не самый одаренный и не самый умный из наших сотрудников, – совсем молодой человек. И вот он женился и устраивал свадьбу. Свадьба была со всеми мещанскими атрибутами, с обручальными кольцами (тогда как раз появился такой фельетон не фельетон, а статья в «Комсомольской правде»: «Носи кольцо, Катя!», то есть это был узаконенный официозом возврат к старым, дореволюционным бытовым традициям). И вот все мы были приглашены на эту свадьбу. Там был сервирован стол, и против каждого стула на столе был такой плакатик, обозначающий фамилию того, кому предназначен этот стул и этот прибор на столе, его место за этим столом: «Берестов», «Сарнов», «Рассадин»… И был там плакатик, на котором было написано: «Гитарист». Это был плакатик, обозначающий место Булата.

Конечно, когда Булату стукнуло семьдесят и у него была уже даже не всенародная, а мировая слава, – он мог над этим смеяться, шутить. А тогда, на той свадьбе, ему было не до шуток. Тогда ему было по-настоящему больно.

И эта боль долго его саднила.

Я вспомнил первый его выход на сцену с гитарой – это было в Доме кино. Это был провал: из зала раздавались гнусные выкрики: «Пошлость!», «Поэзия несовместима с гитарой!..»

Я думаю, именно о нем, об этом первом – провальном – своем вечере, он потом написал:

О чем ты успел передумать,
Отец расстрелянный мой,
Когда я шагнул с гитарой,

Этот выход на сцену с гитарой – это был для него очень смелый шаг, и он очень мучительно переживал тогда эти выкрики из зала.

И вот только на том маленьком юбилейном вечере в Литмузее, когда он крикнул мне из зала: «Про гитариста расскажи! Про гитариста!», – только тут до меня дошло, почему он обиделся тогда на то, давнишнее мое вступительное слово. Он уже написал к тому времени два своих исторических романа, то есть как бы перешел в следующий, более высокий, во всяком случае более почтенный, разряд иерархии литературных жанров, а «для Бена», выходит, как был, так и остался «гитаристом»?

К прозе Булата я относился сдержанно,

но в разговорах с ним на эту тему никогда не высказывался.

Однажды, правда, высказалась моя жена.

Она как-то сказала, что он плетет свою прозу, как кружева (или – что она похожа на кружева. Что-то в этом роде).

Его эта мимоходом брошенная фраза, очевидно, задела. И эту свою задетость он не утаил, обнаружил ее в одном из своих стихотворений:

Упрямо я твержу с давнишних пор:
Меня воспитывал арбатский двор,
Все в нем, от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
Накручиваю на свои слова,
Так это от любви. Что в том дурного?

Если тут и слышится отзвук обиды, то выражена она, эта обида, предельно мягко, даже как будто бы добродушно. (Можно себе представить, какую реакцию выдал бы в этом случае Максимов.)

Но тщеславие – в той минимальной дозе, в какой оно необходимо писателю, – Булату все-таки было присуще.

Когда в 1994 году он получил за свой автобиографический роман Букеровскую премию – при всей своей сдержанности и замкнутости не мог скрыть, что искренне этому рад.

Я думаю даже, что если бы в наше время устраивались выборы Короля поэтов (наподобие того, в котором за это звание некогда состязались Маяковский с Игорем Северяниным), Булат был бы рад, если бы в таком соревновании именно он вышел победителем.

Но так ли уж важна для него была бы эта маленькая радость?

Ну а что касается утверждения Дмитрия Быкова, что «письмо сорока двух» он подписал, потому что хотел оказаться *на стороне победителей* , то ничего более для него оскорбительного сказано быть не могло.

Потому что у него была другая шкала ценностей, другая

иерархия жизненных приоритетов:

Совесть, Благородство и Достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь…
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь как человек.

Отношением к своему писательству

Булат был близок Синявскому, который – помните? – говорил, что видит в нем единственный смысл и оправдание своего существования на земле. Потому что «писательство – это свобода».

А вот – Булат:

В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробираясь, как в туман,
от пролога к эпилогу.
Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке…
Вымысел – не есть обман.
Замысел – еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.
И пока еще жива
роза красная в бутылке,
дайте выкрикнуть слова,
что давно лежат в копилке.
Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить…
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.

Естественно, легко и просто – как дыхание – вылились и отлились в этих немногих словах два – главных – закона художественного творчества. Первый: «Как он дышит, так и пишет». И второй: «Не стараясь угодить».

Менее всего имеется тут в виду, что поэт (художник) не

должен стараться угодить начальству. Угождать властям – это уж самое последнее, самое постыдное дело. («Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу…») «Не стараясь угодить» – это значит не заискивать ни перед модой, ни перед читателем, не идти на поводу у чьих бы то ни было – пусть даже самых изысканных, самых «передовых» – художественных заветов и вкусов. Быть верным только себе. Своему дару. Органически присущей каждому истинному художнику потребности *выражать себя,* изливать душу свою – «в заветной лире»:

Моцарт на старенькой скрипке играет.
Моцарт играет, а скрипка поет.
Моцарт отечества не выбирает —
просто играет всю жизнь напролет.

Художник не выбирает не только отечества, но и эпоху, в которой суждено было ему родиться, жить и творить. Не выбирает он себе и аудиторию: приходится довольствоваться той, какая ему досталась. Но это все неважно. Не имеет значения. Какая бы ни выпала ему судьба, он должен делать свое дело:

Не обращайте вниманья, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Не о том же ли твердил и Синявский, не уставая повторять, что *писательство – это свобода* ?

В этом они оба шли от Пушкина:

Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать

И вывод из этой пушкинской заповеди оба сделали как будто один и тот же.

…

Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно.
(Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным)

Это Синявский.
А вот – Булат:

Александру Сергеевичу хорошо!
Ему прекрасно! <…>
Жил в Одессе, бывал в Крыму,
Ездил в карете,
Деньги в долг давали ему
До самой смерти. <…>
Даже царь приглашал его в дом,
Желая при этом
Потрепаться о том о сем
С таким поэтом.
Он красивых женщин любил
Любовью не чинной,
И даже убит он был
Красивым мужчиной.
Он умел бумагу марать
Под треск свечки!

Ему было за что умирать
У Черной речки.

Поначалу все вроде сходится. Как и у Синявского, «счастливчик Пушкин» (так называется это стихотворение Булата) живет и творит – играя.

Но в конце вдруг выясняется, что его умение «бумагу марать» – не игра, а серьезное дело, за которое стоило «умирать на Черной речке».

Тут как будто вырисовывается некоторое противоречие.

Но оно легко снимается другим Булатовым стихотворением:

У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас – о себе.
Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас – за себя.
Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму…
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.
То ли мед, то ли горькая чаша,
То ли адский огонь, то ли храм…
Все, что было его, – нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам.

Все для вас! Посвящается вам!

Но это – потом. А сейчас, пока его душа еще не «отлетела во тьму», он «кричит всему свету»: отстаньте от меня! Не тяните ни вправо ни влево! Я не с вами – ни с теми ни с этими, – я сам по себе! И возносит к небу свои тонкие руки, и молит только об одном: «Дайте дописать роман до последнего листочка!..», «Дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке!..»

И вот, вопреки этой своей «декларации прав писателя», он позволяет втянуть себя в конфронтацию двух ветвей власти и решительно, безоговорочно, категорично примкнуть к одной из враждующих сторон.

Точнее, даже не «позволяет» себя втянуть в эту кровавую политическую схватку, а – в отличие от Синявского – сам, по доброй воле, по зову сердца, по естественному порыву души втягивается в этот, уже ставший вооруженным, конфликт.

В том, что это был именно зов сердца, порыв души, у меня

нет ни малейших сомнений.

А чтобы объяснить, на чем основана эта моя уверенность, мне придется более подробно рассказать о том, что в те дни происходило с нами. И главное – восстановить в памяти все обстоятельства, связанные с главным, ключевым эпизодом, повернувшим и в конечном счете определившим последующий ход событий.

Рассказывая о той фазе путча, когда в ход уже пошло оружие, об этом эпизоде я умолчал. Даже не упомянул о нем.

Сейчас попытаюсь восполнить этот пробел.

Самым страшным для меня

в тот день (3 октября) был момент, когда диктор «Останкина» объявил, что первый этаж телецентра захвачен и поэтому телерадиовещание всех телекомпаний из «Останкина» прекращается. И экран моего телевизора погас.

Вскоре, правда, он опять засветился: это заработал единственный оставшийся в эфире телеканал государственного Российского телевидения. (Как потом я узнал, он не был отключен, потому что его эфирная студия была расположена не в Останкине, а на 5-й улице Ямского поля.)

Пауза длилась недолго, может быть, несколько минут. Но эти минуты были самыми страшными в моей жизни. Мелькнула мысль: все кончено, они победили.

Когда экран вновь засветился, я слегка успокоился. Но всей кожей чувствовал: дело дрянь.

Положение и впрямь было грозное. Куда более грозное, чем три года назад, в дни августовского путча 91-го.

Тогда работали все каналы телевидения. И, хоть город был до отказа набит танками, никто ни в кого не стрелял. И был Ельцин на танке. И почти полная уверенность, что этот путч, возглавляемый людьми, которых мы только что увидели на экранах наших телевизоров во всем их ничтожестве, конечно же, провалится.

Сейчас такой уверенности у меня не было.

И вообще все было непонятно.

Где Ельцин? Почему он молчит?..

Ну, на этот вопрос, положим, можно было ответить по Булгакову: «Подумаешь, бином Ньютона!» Пьян, конечно! Назюзюкался вдрабадан и дрыхнет. (Впоследствии я узнал, что так оно примерно и было. Сильно поддавший Борис Николаевич, правда, не спал, а, напротив, рвался к микрофону. Но допустить, чтобы «дорогие россияне» увидели своего президента в том виде, в каком он тогда мог предстать перед ними, было невозможно, и соратникам от явления народу его удалось удержать.)

Ну ладно, Бог с ним, с Ельциным. Как пел в одной из своих песен Галич: «Не троньте его, не надо. Пускай человек поспит».

Но ведь кроме президента есть у нас еще премьер! Есть, наконец, мэр, который в первую очередь должен нести ответственность за порядок во вверенном ему городе.

Куда они все подевались?

Предавался я всем этим невеселым размышлениям недолго.

Увидал я, как грузовик с вооруженными макашовскими

бандитами протаранил стеклянные двери «Останкина», после чего экран моего телевизора погас, примерно в полвосьмого. А спустя полтора часа на уже ожившем экране появилось изображение первого вице-премьера правительства России Егора Гайдара, и его спокойный голос произнес: «Дорогие друзья!»

«Ну слава Богу! – отлегло у меня от сердца. – Наконец-то я узнаю, что там у них, наверху, происходит!» И узнаю от человека, которому, чуть ли не единственному из всех обретающихся на вершине власти могу доверять.

И вот что я тогда от него услышал:

...

Дорогие друзья,

все эти последние дни правительство России больше всего хотело сохранить спокойствие, избежать кровопролития. Даже сегодня, когда стало ясно, что люди, которые взяли курс на вооруженную конфронтацию, готовы переступить через реки крови, чтобы сохранить свою власть, реставрировать старый тоталитарный режим, снова отнять у нас свободу.

Мы надеялись, что удастся избежать вовлечения граждан в это противостояние.

Вместе с тем, к сожалению, ситуация продолжает обостряться.

У «Останкина» идет бой, противоположная сторона, бандит, применяет гранатомет, тяжелый пулемет, пытаются захватить узлы связи, средства массовой информации, добиться силового установления контроля в городе.

Правительство предпринимает усилия с тем, чтобы подтянуть силы, необходимые для того, чтобы остановить успех реваншистов.

Но надо сказать честно: сегодня вечером нам нужна поддержка.

Сегодня мы не можем переложить ответственность за судьбу демократии, за судьбу России, за судьбу нашей свободы на милицию, на внутренние войска, на силовые структуры. Сегодня должен сказать свое слово народ, москвичи. Должны сказать свое слово те, кому дороги свобода России, ее демократическое будущее.

Мы призываем тех, кто готов поддержать в эту трудную минуту российскую демократию, прийти ей на помощь, собраться у здания Моссовета, с тем чтобы объединенными усилиями встать на защиту нашего будущего, будущего наших детей, не дать снова на десятилетия сделать из нашей страны огромный концентрационный лагерь.

Наше будущее в наших руках. Если мы его проиграем, нам не на кого будет пенять, кроме как на нас самих. Я верю в наше мужество, я верю в здравый смысл нашего общества, верю в то, что мы просто не можем сегодня проиграть.

Не могу сказать, что эта речь первого вице-премьера хоть сколько-нибудь меня успокоила. Скорее наоборот, она еще больше меня встревожила. По правде сказать, даже разозлила.

Что это значит: «Правительство предпринимает усилия, чтобы подтянуть силы…»? Какие особые усилия тут нужны? И почему «подтянуть силы» нельзя было раньше?

Как можно было допустить, чтобы от бандитов, вооруженных гранатометами и тяжелыми пулеметами, «Останкино» защищала только горстка милиционеров?

Да и вообще, как могли они допустить, чтобы вооруженные бандиты бесчинствовали на улицах Москвы, не встречая практически никакого сопротивления? Не знали они, что ли, что к Белому дому все эти дни стягивались вооруженные боевики, даже из Приднестровья? А если не знали, то почему? Чем можно объяснить и оправдать такое благодушное ротозейство?

И что это значит: «Мы не можем переложить ответственность за судьбу демократии, за судьбу России, за судьбу нашей свободы на милицию, на внутренние войска, на силовые структуры»? Если власть отождествляет себя с демократией, то на кого еще, как не на подчиняющиеся ей милицию, внутренние войска и другие силовые структуры, должна она опираться, защищая судьбу демократии, судьбу России? Или все эти силовые структуры ей – этой власти – уже не подчиняются? Не желают исполнять ее приказы?

И как можно надеяться, что сотня-другая, положим, даже тысяча или хоть несколько тысяч безоружных мирных граждан сумеют остановить бандитов, вооруженных гранатометами и тяжелыми пулеметами?

Это сейчас я все те мои недоумения, все мое тогдашнее раздражение и злость так аккуратно разложил по полочкам, придав им некую логическую стройность и даже систему. А тогда, в тот момент все это смутно клубилось в моем мозгу, выливаясь не столько в мысли, сколько в ощущения, главным из которых, наверно, был самый вульгарный страх. С одной стороны, я понимал, что не откликнуться на этот призыв Гайдара нельзя: не от хорошей жизни он обратился за помощью к нам, к своему электорату. Видно, не на кого больше в тот момент было ему надеяться. А с другой стороны – уж больно не хотелось лезть в это пекло…

Но особенно долго разбираться в этих моих смутных чувствах и ощущениях мне не пришлось. Еще не успели отзвучать последние слова гайдаровской речи, как раздался телефонный звонок и хорошо мне знакомый голос спросил:

– Вы идете?

Звонили самые близкие наши друзья – Лазарь и Найка.

С Лазарем я познакомился и крепко (как оказалось, на всю жизнь) сдружился в начале 60-х, когда мы вместе работали в «Литгазете». Кстати, это именно он, Лазарь, взял в наш отдел Булата. И это в его захламленном крошечном кабинетике Булат спел нам (двоим или троим) самые первые свои песни («Вы слышите, грохочут сапоги…», «Полночный троллейбус», «Из окон корочкой несет поджаристой…», «За что ж вы Ваньку-то Морозова…»), и это именно Лазарь сказал ему тогда, что через год его песни будет петь вся страна.

Моему сближению с Лазарем и прочности сразу возникшей нашей дружбы в немалой степени способствовало то обстоятельство, что жена Лазаря Ная и моя жена Слава до войны – с первого класса по шестой – были одноклассницами, чуть ли даже не сидели за одной партой.

Но главным, конечно, тут было не это, а то, что оказались мы с ними людьми, как говорил киплинговский Маугли, «одной крови». И в описываемое мною сейчас время на все тогдашние митинги ходили вместе.

Когда раздался тот телефонный звонок и прозвучал тот Найкин вопрос: «Вы идете?» – я живо представил себе Лазаря, который уже на лестнице, а может быть, даже и на улице, у подъезда, стоит и курит, привычно ждет, когда наконец к нему присоединится вечно опаздывающая и заставляющая себя ждать жена. А она, на сей раз собравшаяся мгновенно, не могла перед выходом не позвонить нам и не задать этот свой вопрос, в моем ответе на который не сомневалась ни секунды.

А я в ответ вместо того, чтобы сказать: «Да, конечно» (знал ведь, что все равно этим кончится), не удержался от раздраженного монолога.

– Что это за власть! – орал я. – Мало того что неспособна защитить меня от вооруженных бандитов, так она еще требует, чтобы я ее защищал!

Найка была отчаянная спорщица, в любом споре заводилась с полуоборота, сразу переходила на крик. И я не сомневался, что в ответ на этот мой монолог она взорвется гневом. Или – еще того хуже – обольет меня холодным презрением и бросит трубку. Но она вдруг – совершенно для меня неожиданно (как это было на нее непохоже!) – очень мягко, даже как-то кротко сказала:

– Ты прав. Но у меня нет другого выхода. Ты можешь высказать все что хочешь в печати. А я могу только вот это: пойти.

Мне стало стыдно, и я сказал:

– Ладно. Через полчаса у Юрия Долгорукого.

Ровно через полчаса мы там и встретились.

Народу у Моссовета пока что собралось не очень много, но с каждой минутой людей все прибывало.

В толпе собравшихся кроме Лазаря и Найки, с которыми мы уже соединились, мелькали и другие знакомые лица.

Я приободрился, и раздражение мое сразу куда-то ушло, сменившись каким-то радостным возбуждением, чуть ли даже не эйфорией. Мне показалось, что я понял истинный замысел собравшего нас тут Гайдара.

Наверно, подумал я, военные отказываются выполнять распоряжения правительства, опираясь на не раз повторявшийся тогда тезис, согласно которому армия не должна вмешиваться в политику: ее назначение состоит в том, чтобы защищать страну от внешних врагов, а не становиться на чью-нибудь сторону в политических разборках разных ветвей власти.

Впоследствии оказалось, что отчасти так оно и было: когда Ельцин (верховный главнокомандующий!) наконец приказал армейцам прийти на помощь милиции и внутренним войскам, Грачёв потребовал, чтобы он подтвердил это свое устное распоряжение письменно.

Главный смысл гайдаровского призыва состоял, стало быть, в том, чтобы армия не от руководства страны (кто там у них победит, еще неизвестно!), а непосредственно от народа получила *мандат* на военное вмешательство в противостояние президента с Верховным Советом.

Однако потом выяснилось и другое. Гайдар, как оказалось, призывал нас не только митинговать, но и реально – с оружием в руках – встать на защиту свободы, демократии, будущего России. Накануне он обратился к Шойгу с просьбой выдать ему тысячу автоматов Калашникова, каковые и были ему выданы. И они, как это потом узналось, действительно раздавались в ту ночь всем, кто умел с ними обращаться и выразил готовность вступить в схватку с путчистами не только на словах, но и на деле.

Сейчас все, что тогда происходило,

уже давно и хорошо известно. Все события того дня и той ночи подробно расписаны – не только по часам, но и по минутам.

Приведу из этой многостраничной хроники лишь несколько наиболее выразительных и значащих кадров.

...

3 октября (воскресенье)

В 15:45 Александр Руцкой с балкона Дома Советов призвал народ начать штурм мэрии и телецентра в Останкино.

Согласно стенограмме видеодокументов, на которые ссылается газета «Спецназ России»:

Александр Руцкой:

– Прошу внимания! Молодежь, боеспособные мужчины! Вот здесь в левой части строиться! Формировать отряды, и надо сегодня штурмом взять мэрию и «Останкино»!

– Ура!

Руслан Хасбулатов:

– Я призываю наших доблестных воинов привести сюда войска, танки для того, чтобы штурмом взять Кремль с узурпатором – бывшим преступником Ельциным… Ельцин сегодня же должен быть заключен в «Матросскую тишину», вся его продажная клика должна быть заключена в подземелье!

На улице заглушают конец фразы:

– Ура!

С 16:00 толпа под предводительством Альберта Макашова в течение получаса захватила здание мэрии на Новом

Арбате. В 16:45 здание мэрии занято митингующими. Толпа в вестибюле встречает улюлюканием захваченных в здании людей, их пинают и плюют в лицо. Подойдя к зданию мэрии и оценив обстановку, генерал-полковник Макашов вошел внутрь здания и в мегафон предложил оставшимся там военнослужащим и сотрудникам милиции сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь. Военнослужащие и сотрудники милиции группами и по одному начали сдаваться. Некоторые из них были задержаны и отведены в Дом Советов.

ОМОН и внутренние войска отступили, оставив военные грузовики «ЗИЛ-131» с ключами в замках зажигания, а также гранатомет. С этого времени и до самого раннего утра 4 октября на улицах в центре Москвы, в частности на примыкающих к Дому Советов России, не было ни войск, ни сотрудников милиции, которые предпочли не вмешиваться в происходящее. Демонстранты, возглавляемые Анпиловым и Макашовым, двинулись в сторону телецентра в Останкино (часть из них поехали через весь город на оставленных внутренними войсками у мэрии грузовиках, ни один из них не был остановлен по пути сотрудниками милиции). <…>

В 17:00 защитники Дома Советов, прибывшие в «Останкино», потребовали предоставления им прямого эфира. Около 20 человек из них были вооружены автоматами, кроме того, у них был один ручной противотанковый гранатомет

«РПГ-7», оставленный внутренними войсками. <…>

В 19:20, по данным газеты «КоммерсантЪ», генерал А. Макашов потребовал от военных, находившихся в здании «Останкино», сложить оружие в течение трех минут. Здание на тот момент, по данным газеты, охраняли около 1200 военнослужащих, 6 БТР, 105 бойцов отряда спецназа «Витязь» и 110 сотрудников управления охраны. По истечении срока ультиматума «боевики Макашова» начали штурм. Сторонники Верховного Совета, по данным издания, обстреляли здание из гранатомета, оттуда был открыт ответный огонь. <…>

По данным комиссии Госдумы России, получив отказ, сподвижники Макашова предприняли попытку проникнуть в здание, протаранив стеклянные двери одним из оставленных войсками грузовиков: грузовиком они таранят двери здания на улице Академика Королёва, 19, в котором расположены студийные аппаратные программы «Время» Первого канала телевидения.

В 19:26 диктор «Останкино» объявил о прекращении программы, сославшись на то, что первый этаж телецентра захвачен.

В 20:45 Егор Гайдар по телевидению обратился к сторонникам Ельцина с просьбой собираться у здания Моссовета, взятого под контроль Министерством безопасности. Из собравшихся отбирают людей с боевым опытом и формируют отряды для захвата и охраны объектов, таких как московские райсоветы. Используются отряды и

из гражданских лиц, в том числе женщин. Сооружены баррикады на Тверской улице и в примыкающих улицах и переулках. У Моссовета проходит митинг. Гайдар получил у председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу гарантию, что в случае необходимости будет роздано оружие демонстрантам – сторонникам Ельцина. По мнению Егора Гайдара, лишь после этого – около 2 часов утра 4 октября – военные стали исполнять приказы Ельцина и войска двинулись в Москву.

Около 23:00 Борис Ельцин ушел спать в комнату в Кремле.

4 октября (понедельник)

Между 3 и 4 часами утра 4 октября Борис Ельцин принял решение о штурме Дома Советов… Павел Грачёв потребовал от Ельцина подтвердить приказ о штурме Дома Советов в письменном виде.

После совещания в Генштабе Борис Ельцин отправился в Кремль, где некоторое время спал. Затем в зале Совета безопасности у него состоялась встреча с группой из сорока офицеров – руководителями подразделений группы «Альфа». Вопрос Ельцина: «Вы будете выполнять приказ президента?» – офицеры встретили молчанием.

Около 4 часов утра в Кремле Ельцин подписал письменный приказ о привлечении войск Министерства обороны. <…>

В 09:00 Борис Ельцин сделал заявление по ТВ, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве – это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В

Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их».

(Разгон Верховного Совета России. Википедия)

Сейчас, спустя двадцать лет, мне уже не просто отделить то, что я видел своими глазами, от того, что узнал – прочел или услышал – потом. И то, что происходило в тот вечер и в ту ночь у Моссовета, для меня сейчас – как в тумане. Как раздавали автоматы и формировали боевые отряды из «гражданских лиц, в том числе из женщин» – не помню совсем. Не помню и баррикад на Тверской и в прилегающих к ней переулках.

Ясно помню только одно: лица.

Лица с каждой минутой все прибывающих к Долгорукому новых людей.

Молодые, и не очень молодые, и совсем старые – все они были прекрасны.

Кем-то (сейчас не вспомню кем) было сказано, что после тридцати (а может быть, двадцати?) лет человек уже *сам отвечает за свое лицо* . Потому что с годами, как сформулировал это в одном своем стихотворении Александр Межиров, «на лицо и на тело проступает душа».

Вот этой проступившей душой и были они прекрасны – эти лица моих сограждан, пришедших сюда по призыву власти, к которой у каждого из них наверняка были свои претензии. Но не ее (как два года назад, в августе 91-го – не Горбачёва) пришли они сюда защищать, а – себя, свою и нашу свободу.

Похороны Булата были не похожи

на все, которые к тому времени случилось мне пережить. А пережить их тогда мне выпало уже немало:

В январский холод, в летнюю жару,
В туман и дождь, с оркестром, без оркестра —
Одних моих собратьев по перу
Я стольких проводил уже до места.

Для тех, кого Александр Твардовский называет тут своими «собратьями по перу», существовал у нас особый, хорошо отработанный, лишь в исключительных аслучаях, о которых я, может быть, еще скажу, нарушаемый ритуал.

Писатели (то есть те, кто по официальному своему статусу числился писателями) делились на три разряда.

Для тех, кто принадлежал к первому разряду, – Большой зал ЦДЛ и Новодевичье.

Второму разряду полагался Малый зал в том же Центральном доме литераторов и – Ваганьково.

Ну а третьему – какой-нибудь задрипанный морг и крематорий. (Урну с прахом родственники покойного потом захоранивали на других, уже не столь престижных кладбищах в соответствии со своими возможностями.)

Тут надо сказать, что чем ниже был разряд почившего литератора и чем, соответственно, менее официальными и торжественными были его похороны, тем бывали они естественнее и человечнее.

Случались и комические ситуации.

Помню, когда хоронили – на Ваганькове – рано умершего поэта Недогонова, главный литфондовский мастер похоронного дела легендарный Арий Давыдович, сперва сообщивший, что ему удалось выбить для писателей пять мест около могилы Есенина, едва похоронная процедура подошла к концу и толпа провожавших покойника в последний путь стала уже расходиться, вдруг поднял руку и объявил:

– Внимание! Предупреждаю! Осталось всего два места!

Дескать, если кто хочет лечь рядом с Есениным – не затягивайте процесс, поторапливайтесь, а то можете и опоздать.

Запомнился мне еще такой случай.

Когда хоронили известного литературного мерзавца В.В. Ермилова, гроб с телом усопшего бойца был установлен, как это полагалось ему по чину, в Малом зале ЦДЛ.

В этом зале провожали в последний путь самых разных литераторов. Нередко зал в таком случае бывал переполнен до отказа, и толпа провожающих, не поместившихся в зале, заполняла весь вестибюль писательского клуба. А иногда пришедших отдать последнюю дань усопшему бывало совсем мало – всего-навсего пятнадцать – двадцать человек, сиротливо теснившихся у гроба. Но за многие годы я знаю только один – единственный! – случай, когда проводить «дорогого покойника» не пришел никто.

У гроба Владимира Владимировича Ермилова не было ни души (кроме, разумеется, упомянутого выше Ария Давыдовича).

Ситуация была до такой степени необычная, что литфондовское и клубное начальство растерялось. Резонно предполагая, что лицам, провалившим важное общественное мероприятие, придется за это отвечать (пойди потом доказывай, что ты не верблюд), кто-то из них в панике позвонил в ЦК. И последовало мудрое решение. Не просто решение, а – приказ: в добровольно-принудительном порядке согнать в Малый зал всех служащих ЦДЛ: официантов, уборщиц, секретарш, счетоводов, библиотекарей… Явилось, конечно, и все клубное начальство. Строго поглядывая на подчиненных, они нагнетали гражданскую скорбь, а те послушно шмыгали носами. Некоторые, говорят, даже плакали.

Из похорон, проходивших по первому разряду,

мне особенно запомнились похороны Маршака. О них я однажды (кажется, даже не однажды) уже вспоминал. Но – не боюсь повториться.

Мы стояли втроем около сцены: Валя Берестов, я и друг Маршака – британский парламентарий Эмрис Хьюз. Утопавший в цветах гроб с телом Самуила Яковлевича еще оставался на сцене: утомительная гражданская панихида только что кончилась.

Валя бойко болтал о чем-то с Хьюзом по-английски. Я делал вид, что тоже принимаю участие в разговоре, хотя не понимал ни слова. Нет, какие-то отдельные слова я понимал: вот, например, только что мелькнувшее слово «рашен». Но смысл того, о чем они говорили, я не улавливал.

– Что? Что он сказал? – не выдержав, спросил я у Вали.

Валя перевел:

– Что не видал в жизни ничего страшнее русских похорон.

Что говорить! Процедура была тяжелая.

Сладкий, одуряющий запах цветов. Надрывающая душу траурная музыка. Бесконечная вереница людей, идущих мимо гроба. Почетный караул. И наконец – речи, речи. Бесконечные речи: иногда – искренние, человечные, чаще – лицемерно-фальшивые, официальные, полагающиеся покойнику по его месту в официальной табели о рангах.

– Объясни ему, – сказал я Вале, – что это не русские, а советские похороны. Государственные. К тому же – по самому высокому разряду.

Самым впечатляющим примером

таких государственных советских похорон может служить сцена, разыгравшаяся у гроба Михаила Михайловича Зощенко. Ее – по горячим следам события – точным своим пером описал Алексей Иванович Пантелеев в письме к Лидии Корнеевне Чуковской, которое она – тогда же – дала мне прочесть:

...

Вытаращив оловянные глаза, пробубнил что-то бессвязное Саянов. Запомнилась мне только последняя его фраза. Сделав полуоборот в сторону гроба, шаркнул толстой ногой и сухо, с достойным, вымеренным кивком, как начальник канцелярии, изрек:

– До свиданья, тов. Зощенко…

Ну а дальше все развивалось в привычных традициях и застывших словесных формах митинга. Точнее – собрания. Одного из множества тех собраний, на которых покойному писателю не раз приходилось бывать при жизни. Поразительное сходство этого собрания с теми было не только в том, что тут, как и там, постоянно звучала непременная казенная формула «Слово предоставляется…». Неотличимо было и это собрание прежде всего потому, что, как и на тех, так на этом, последнем в его жизни собрании, – его тоже *прорабатывали* .

Выступивший после Саянова Леонид Борисов сделал робкую попытку намекнуть на то, что при жизни покойника писательская братия обошлась с ним не совсем справедливо. Он даже – как бы от имени всех присутствующих – попросил у лежащего в гробу писателя прощения. И тут – уже во второй раз – взял слово Александр Прокофьев. Он дал отпор бесхребетному и безыдейному выступлению товарища Борисова. Разумеется, с единственно правильных, партийных позиций.

Но не успел Прокофьев закончить свою партийную отповедь, как вновь раздался голос Борисова:

– Прошу слова для реплики!

И стал испуганно оправдываться, поправляться, уверять, что его не так поняли.

А за ним – еще чей-то голос:
– Прошу слова для справки.
И еще:
– И мне, и мне… К порядку ведения…

…

Вдова Михаила Михайловича – продолжает свой рассказ Пантелеев, – подняв над гробом голову, тоже встревает в эту, так сказать, дискуссию:

– Разрешите и мне два слова.

И, не дождавшись разрешения, выкрикивает эти два слова:

– Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа.

Становится жутко. Еще кто-то что-то кричит.

Суетятся, мечутся в толпе перепуганные устроители этого мероприятия.

А Зощенко спокойно лежит в цветах. Лицо его – при жизни темное, смуглое, как у факира, – сейчас побледнело, посерело, но на губах играет (не стынет, а играет!) неповторимая зощенковская улыбка-усмешка…

Я думаю, что эта неповторимая усмешка, которая играла на губах лежащего в гробу писателя, Алексею Ивановичу не привиделась. Я даже не исключаю при этом, что в той усмешке отразилась, помимо всего прочего, и толика удовлетворенного авторского самолюбия. Ведь Зощенко был не только действующим (точнее, недействующим) лицом, но отчасти и автором разыгравшейся у его гроба фантасмагории. Жизнь – сама уникальная, фантастическая, сумасшедшая наша советская жизнь – напоследок подарила ему еще один сюжет, поразительно схожий с теми, которые он так любил изображать в своих рассказах.

Похороны Зощенко – это, конечно, был случай особый

Лежавшего в гробу на сцене Большого зала ЦДЛ С. Я. Маршака не прорабатывали, а, напротив, чествовали. Но и этот советский обряд торжественного чествования почившего писателя недаром так ужаснул английского парламентария. На нем лежала та же печать привычного для нас и потому уже не всегда замечаемого нами гротеска.

хоронили по такому же высокому разряду, что и Маршака. Но тут не обошлось без некоторых сложностей.

Дочь Корнея Ивановича Лидия Корнеевна в то время была уже «персона нон грата», ее открытая самиздатская публицистика стояла у начальства что кость в горле. Она давно уже была отлучена от всех печатных изданий, и даже в комментариях к отцовским сочинениям имя ее было неупоминаемо. Так что для тех, кто отвечал за устройство похорон, присутствие ее на сцене было в высшей степени нежелательно. Но и не пустить ее туда тоже было нельзя: как-никак – родная дочь. Нельзя же запретить ей сидеть у гроба родного отца.

Вот так и вышло, что мне и Володе Корнилову, отстоявшим свои минуты в почетном карауле, удалось публично выразить свою солидарность с Лидией Корнеевной, обнявшись и расцеловавшись с ней прямо вот тут, на сцене, в виду у всего зала, до отказа набитого стукачами.

Сойдя после этого со сцены, мы уселись в первом ряду. Начались речи.

Первое слово произнес Сергей Михалков.

Лицо его было залито слезами, и верилось, что горе его неподдельно. Но Боже! Что он при этом нес!

– От гигантской гранитной скалы нашей великой литературы, – так он начал, – оторвался могучий утес!

И продолжал все в том же фальшиво-приподнятом, выспреннем стиле. А когда, повысив своей пафос уже до последнего, предельного градуса, назвал Корнея Ивановича русским богатырем, сидящий рядом со мной Корнилов не удержался и пробормотал:

– Евреи помогли.

Но, кроме него, никто на эту лабуду не отреагировал, и литургия гражданской панихиды разворачивалась далее согласно традиции, по давно заведенному и почти никогда не нарушаемому сценарию.

Но был случай,

когда и в этом, до мельчайших подробностей и деталей отработанном ритуале похорон по *первому* разряду тоже произошел сбой.

Это случилось на похоронах Твардовского.

Поначалу все шло гладко, своим чередом, если не считать того, что у гроба замученного поэта с фальшиво-скорбными лицами стояли те, кто терзал его все последние годы его жизни и в конце концов довел до преждевременной кончины.

И вдруг по залу прошелестело:

– Солженицын… Солженицын… Не пускают!.. Солженицына не пускают…

И тут же по проходу быстрым, стремительным шагом прошел Солженицын (не пустить его в зал все-таки не удалось) и, легко взбежав на сцену и расцеловавшись с Марией Илларионовной, театрально осенил лежавшего в гробу недавнего кандидата в члены ЦК широким, размашистым крестным знамением.

А Василий Семёнович Гроссман не удостоился

не то что Большого, но даже и Малого зала. Его похороны были жалкие, убогие, воровские.

Гроб с телом писателя, которого, по собственному его выражению, задушили в подворотне, был установлен не в ЦДЛ, а в так называемом Белом зале Союза писателей на Воровского. Строго говоря, это был даже не зал, а просто большая комната. Проводить Василия Семёновича пришло человек двадцать, не больше. Да больше бы в этом «зале» и не поместилось.

И вот – начались речи.

Первым взял слово (так, наверно, это было у них запланировано) Александр Альфредович Бек.

Упирал он в своей речи на то (собственно, даже не упирал, а только об этом и говорил), что покойник был настоящим патриотом нашей социалистической родины и по самому строю своей души глубоко советским человеком, всю свою жизнь посвятившим делу построения нового, коммунистического общества.

Все это говорилось над телом замученного, замордованного, раздавленного танком писателя, главная книга которого была арестована и, может быть, даже уничтожена.

Зачем все это надо было говорить сейчас, когда все было уже кончено? К кому были обращены все эти насквозь фальшивые, лживые слова? Наверно, к тем мелким партийным функционерам, которым поручено было проследить, чтобы мероприятие прошло гладко, чтобы никто – не дай Бог! – не сказал ничего лишнего.

«Лишнее» все-таки было сказано: выступивший вслед за Беком Эренбург сумел тогда сказать все, что в этом случае надо было сказать.

Эренбургу было многое позволено,

и все вольности, которые он иногда себе разрешал, на статусе его не отразились. Хоронили его все-таки по полагающемуся ему по штату (депутат Верховного Совета, лауреат Сталинских премий) *первому* разряду.

По первому-то по первому, но при всем при том это были не совсем обычные похороны. И эта их необычность была отмечена современниками в выражениях и формулировках, совпадающих почти дословно.

Вот как вспоминает о них Надежда Яковлевна Мандельштам:

Толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе – хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал свое дело, а дело это трудное и неблагодарное.

А вот – Борис Слуцкий:

Необычно расшумелись похороны:
давка, драка. <…>
Как народ, рвалась интеллигенция.
Старики, как молодые,
выстояли очередь на Герцена.
Мимо гроба тихо проходили.
Эту свалку, эти дебри
выиграл, конечно, он вчистую.
Усмехнулся, если поглядел бы
ту толпу горючую, густую.
Эти искаженные отчаяньем
старые и молодые лица,
что пришли к писателю прошений
за униженных и оскорбленных.
Так он, лежа в саванах, в пелёнах,
выиграл последнее сражение.

Я тоже был на тех похоронах. И то, что отметили Надежда Яковлевна и Борис, тоже отметил. Но запомнил и другое.

Еще издали я увидел десятки поливальных машин, которыми была забита площадь Восстания: чего-то начальство, значит, опасалось, к каким-то возможным эксцессам на всякий случай готовилось.

А первое, что бросилось мне в глаза, когда я вплотную приблизился к той «антифашистской толпе», был мой друг Эмка с огромным венком, который он держал перед собой обеими руками. На траурной ленте, украшавшей венок, было начертано:

«ОТ ЦК КПСС».

Я давно уже привык к мысли, что иные реалии нашей советской действительности могут затмить наиабсурднейший из всех театров абсурда. Но ничего более фантастического, чем фигура Манделя с этим венком, я в своей жизни не видел.

Да, это был истинный театр абсурда.

Но картина эта была не только абсурдной, но в чем-то и символической.

И «диссидент» Мандель с перевернутым лицом, и вся антифашистская (по меткому слову Надежды Яковлевны) толпа людей, пришедших на его похороны, – все это было Эренбургом заслужено.

Но и этот венок от ЦК КПСС, так нелепо выглядевший в этой толпе, да еще в руках у Манделя, тоже был тут удивительно уместен. Абсурдность этой ситуации как бы высветила на миг истинную роль Эренбурга, истинное его место в нашей жизни. (Вот так же надпись «Устрицы» на вагоне, в котором привезли мертвого Чехова, показалась символической тем, кто пришел хоронить Антона Павловича.)

Ну а там, в зале, все проходило уже по давно заведенному, неизменному, неотменяемому ритуалу.

Всё те же речи, всё те же казенные, пустые, лицемерно-фальшивые слова: «Пламенный борец за мир…», «Выдающий публицист…», «Видный общественный деятель…»

Булату по его официальному статусу

тоже полагались похороны по первому разряду. Но его хоронили иначе. Не по первому разряду, а по *высшему*. Накануне я узнал, что так называемая гражданская панихида состоится не в Большом зале ЦДЛ, как это можно было предположить, а в здании Театра Вахтангова, на его любимом Арбате.

Отправился я туда вдвоем с моим другом и ближайшим соседом Левой Левицким. Но при выходе из метро носом к носу мы столкнулись с Васей Аксёновым, конечно же, двигавшимся туда же, куда и мы, и нас стало уже четверо: Вася тоже был не один, с ним была молодая женщина, оказавшаяся (он, разумеется, нам ее представил) американской слависткой Ольгой Матич – той самой, о которой с таким раздражением писал в свое время Васе в приводившемся мною письме Володя Максимов.

К зданию театра мы подошли со стороны Смоленской, и тут нашим глазам открылась выстроившаяся вдоль всего Арбата гигантская очередь пришедших проститься с Булатом людей. Ей не было ни конца ни края. (После я узнал, что нескончаемый этот поток не иссякал до позднего вечера.) И я грешным делом пожалел, что не захватил с собой своего писательского удостоверения, предъявив которое можно было бы ухитриться проникнуть в зал каким-нибудь другим путем. Но долго сожалеть об этом мне не пришлось: Васю узнали, и нас быстро – служебным входом – провели прямо на сцену.

Постояв у гроба, я расцеловался с Ольгой и Булей (Булатом-младшим), которого ударившаяся в православие Ольга перекрестила в Антона (когда он был совсем малышом, она называла его Бульон). Но для меня Антоном он так и не стал, навсегда остался Бульоном, Булькой. Кстати, она и Булата ухитрилась крестить, переименовав его в Иоанна (в православных святцах имени «Булат», разумеется, нету и в помине).

Расцеловавшись с ними, я присел рядом, но посидел у гроба недолго, решив уступить место подходившим все новым и новым Булатовым друзьям. И, не задерживаясь больше на сцене, спустился в зал.

Зал был уже полон, и места там мне не нашлось. Но это оказалось даже к лучшему: не помню каким образом я оказался в одной из боковых лож и уютно там примостился.

В зале было полутемно. Негромко звучали мелодии Булатовых песен.

На душе у меня было умиротворенно и благостно. И чтобы не расплескать эту мою душевную благостность и умиротворенность,

я решил уйти раньше, чем начнутся речи.

Я не сомневался, что и речи тут, конечно, будут другие – не те, к которым мы притерпелись за годы советской власти. Ведь на дворе теперь уже другое, не советское время. Да и произносить их будут не чиновники от литературы, а ближайшие друзья Булата: Володя Войнович, Белла…

Но ведь не обойдется и без Евтушенко и Вознесенского. А их, хоть я и не сомневался, что они тоже искренне любили Булата и выступать будут «не по службе, а по душе», слушать мне не хотелось.

Выйдя на улицу, я опять увидал издалека нескончаемую очередь людей, пришедших проводить Булата в его последний путь. И, хотя разумнее мне было повернуть к Смоленской, как-то так само собой вышло, что я медленно пошел в обратную сторону, вниз по Арбату. Шел и невольно вглядывался в лица людей, тянувшихся мне навстречу.

И вдруг, «по странной филиации идей», вспомнил другие, давние похороны, как и эти, сегодняшние, тоже проходившие не по первому, а по высшему разряду.

Хоронили Фадеева.

Гроб с телом застрелившегося писателя был выставлен в Колонном зале, и очередь идущих проститься с ним людей была не меньше той, которую я увидел сегодня. Так что эта возникшая у меня странная ассоциация была прямая.

Но это была ассоциация не по сходству, а *по контрасту*. Потому что если и было у этих двух очередей что-то общее, так разве только то, что обе были нескончаемые.

Случилось так, что на похоронах Фадеева я оказался вдвоем с Борисом Слуцким. Вместе пришли, вместе постояли в почетном карауле, вместе ушли.

На обратном пути Борис вдруг сказал:

– Весь день сегодня вертятся у меня в голове строки: «Был он только литератор модный, только слов кощунственных творец…»

У меня образ того, в чьих похоронах мы только что участвовали, с этими строчками Блока ну никак не ассоциировался. Наверно, потому, что я плохо помнил это блоковское стихотворение. Вернувшись домой, перечитал его:

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец…
Но мертвец – родной душе народной:

Всякий свято чтит она конец.
<…>
И с какой-то бесконечной грустью
(Не о нем – Бог весть о ком?)
Приняла она слова сочувствий
И венок случайный за венком…
Этих фраз избитых повторенья,
Никому не нужные слова —
Возвела она в венец творенья,
В тайную улыбку божества…

Перечитав – понял.

Не с Фадеевым ассоциировались у Бориса эти строки, а с нескончаемым потоком людей, которые пришли на его похороны и «с какой-то безотчетной грустью» приняли вряд ли заслуженные покойником «слова сочувствий», и эти венки, и «фраз избитых повторенья», все эти произносившиеся над гробом «никому не нужные слова».

Я вспомнил это, когда шел по Арбату, вглядываясь в лица людей, медленно бредущих к театру Вахтангова, чтобы проститься с Булатом.

Да, это были совсем другие лица.

Эти лица не оставляли сомнений, что для каждого из пришедших сюда, чтобы влиться в эту скорбную очередь, переживаемая ими смерть была личным горем, личной невосполнимой утратой.

Это не только сближало, но и роднило всех этих людей – старых, молодых, совсем юных.

Но, помимо этого, было в их лицах что-то еще, сблизившее и сроднившее их и наложившее на эту пеструю толпу печать некой общности, слитности, единства.

Я не сразу понял, в чем она состояла, эта другая их общность.

И вдруг меня словно ударило.

Ну да, конечно!

Ведь эти лица я уже видел однажды. И сразу вспомнил когда: в ночь с 3 на 4 октября 1993 года.

Это были лица тех, кто в ту ночь откликнулся на призыв собраться у здания Моссовета, чтобы защитить хрупкую, только еще зарождающуюся российскую демократию от поднявшей голову фашистской угрозы.

Это к ним обратился тогда Гайдар.

И это к ним – и тогда, и раньше, и потом – с тем же призывом обращался Булат.

С ним же он обращается к нам и сегодня:

Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.

Аннотированный именной указатель [1]

А

Адамович Алесь (Александр **) Михайлович** (1927–1994) – белорусский советский писатель, сценарист, литературовед, доктор филологических наук, видный общественный деятель, «прораб перестройки»

Аджубей Алексей Иванович (1924–1993) – советский журналист, публицист, главный редактор газет «Комсомольская правда» (1957–1959), «Известия» (1959–1964). Зять *Н.С. Хрущёва*

Азбель Марк Яковлевич (р. 1932) – советский и израильский физик. В 70-е гг. один из лидеров движения отказников (советских евреев, боровшихся за право на эмиграцию), редактор самиздатского политического и литературного журнала «Евреи в СССР». Эмигрировал в 1977 г. В настоящее время – профессор Тель-Авивского университета

Айги Геннадий Николаевич (1934–2006) – поэт и переводчик. Один из лидеров советского авангардного искусства 60–70-х гг., более известный за границей, чем у себя на родине

Аксючиц Виктор Владимирович (р. 1949) – публицист, политик, религиозный деятель, в годы перестройки – народный депутат РФ

Алешковский Юз (р. 1929) – прозаик, поэт. Автор знаменитой песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый…», с 1979 г. в эмиграции. Живет в США

Алигер Маргарита Иосифовна (1915–1992) – советский поэт, автор знаменитой в военные годы поэмы «Зоя» (о Зое Космодемьянской), за которую получила Сталинскую премию

Ананиашвили Элизбар Георгиевич (1912–2000) – поэт, переводчик. Переводил поэзию, прозу и драматургию с французского, немецкого, английского, итальянского, а также языков народов СССР

Андропов Юрий Владимирович (1914–1984)

Астафьев Виктор Петрович (1924–2001)

Ахмадулина Белла Ахатовна (1937–2010)

Б

Бабаевский Семен Петрович (1909–2000) – советский писатель, лауреат трех Сталинских премий. Его роман «Кавалер золотой звезды» стал эталоном той фальшивой, лакировочной советской прозы, в которой нашли свое предельное выражение самые одиозные черты «социалистического реализма»

Бабёнышева Сарра Эммануиловна (1910–2007) – критик, литературовед. Активная участница движения в защиту *А.Д. Синявского* и *Ю.М. Даниэля* . Сотрудничала с Фондом помощи политзаключенным и их семьям. В 1981 г. эмигрировала в США

Бабурин Сергей Николаевич (р. 1959) – российский политический деятель, депутат (одно время – зампредседателя) Государственной думы

Багрицкий (Дзюбин **) Эдуард Георгиевич** (1895–1934) – советский поэт, драматург. Так же, как и В. Катаева, Ю. Олешу, И. Ильфа, его называли представителем «одесской литературной школы». Автор стихотворений и поэм «Дума про Опанаса», «Смерть пионерки», «Контрабандисты»

Бакланов Григорий Яковлевич (1923–2009) – прозаик, фронтовик, один из ярких представителей «лейтенантской прозы». Автор романов «Пядь земли», «Был месяц май», «Навеки – девятнадцатилетние». В годы перестройки и первые постсоветские годы – главный редактор журнала «Знамя»

Балтер Борис Исаакович (1919–1974) – прозаик, автор знаменитой повести «До свидания, мальчики!». В 1968 был исключен из партии за подпись под письмом в защиту *Ю.Т. Галанскова* и *А.И. Гинзбурга*

Барабаш Юрий Яковлевич (р. 1931) – советский и российский литературовед, партийный функционер, с 1977 г. – первый заместитель министра культуры СССР

Барлас Владимир Яковлевич (1920–1982) – литературный критик, автор книги «Глазами поэзии» и множества статей, самыми яркими из них были те, в которых он анализировал и защищал от нападок официозной советской критики стихи *Е.А. Евтушенко*

Барсуков Михаил Иванович (р. 1947) – российский государственный и военный деятель. Директор Федеральной службы безопасности России (1995–1996), генерал армии запаса

Басаев Шамиль Салманович (1965–2006) – активный участник военных действий в Чечне, один из руководителей самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия в 1995–2006 гг.

Бек Александр Альфредович (1903–1972) – прозаик, публицист, наиболее известное произведение – военная повесть «Волоколамское шоссе»

Бек Татьяна Александровна (1949–2005) – поэт, литературный критик. Дочь писателя *А.А. Бека*

Белинков Аркадий Викторович (1921–1970) – прозаик, критик, литературовед, публицист. За свой юношеский роман «Черновик чувств» был репрессирован. В 1968 г. во время

туристической поездки по Югославии обратился в посольство США с просьбой о политическом убежище

Белковский Станислав Александрович (р. 1971) – российский политолог, социолог и публицист. Учредитель и директор Института национальной стратегии (ИНС)

Белютин Элий Михайлович (1925–2012) – художник и теоретик искусства. Один из участников выставки «30 лет МОСХ» в 1962 г., разгромленной *Н.С. Хрущёвым*

Берестов Валентин Дмитриевич (1928–1998) – поэт, переводчик, мемуарист

Бёрнс Роберт (1759–1796)

Биргер Борис Георгиевич (1923–2001) – русский художник. Создал индивидуальный стиль портретной живописи, среди героев картин Биргера – Б.Ш. Окуджава, *Ю.М. Даниэль, А.Д. Сахаров* и *Е.Г. Боннэр* . Биргеру принадлежит единственный прижизненный портрет *В.Т. Шаламова* . С 1990 г. жил в Германии,

Битов Андрей Георгиевич (р. 1937)

Блок Александр Александрович (1880–1921)

Богатырев Константин Петрович (1925–1976) – филолог, поэт-переводчик. В сталинские времена – политзаключенный. Был приговорен к расстрелу, от исполнения которого его спасла смерть *И.В. Сталина* . Был зверски убит агентами КГБ в подъезде своего дома

Богораз Лариса Иосифовна (1929–2004) – правозащитник, публицист. В 1989–1996 гг. председатель Московской Хельсинкской группы. Первая жена *Ю.М. Даниэля*

Бондарев Юрий Васильевич (р. 1924) – классик советской военной прозы. Автор повестей «Батальоны просят огня», «Последние залпы», романов «Горячий снег», «Тишина». Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий. Возглавлял Союз писателей РСФСР, а в постсоветские годы – Союз писателей России, объединивший российских литераторов так называемого патриотического (по существу – черносотенного) направления

Боннэр Елена Георгиевна (1923–2011) – публицист, общественный деятель, правозащитник, диссидент. Жена академика *А.Д. Сахарова*

Борин Александр Борисович (р. 1930) – прозаик, журналист, юрист по образованию, многолетний штатный сотрудник (спецкор) и постоянный автор «Литературной газеты». Лауреат премии «Золотое перо России»

Борисова Инна Петровна (р. 1930) – критик, публицист, редактор отдела прозы журнала «Новый мир» (1964–1994)

Браиловский Виктор Львович (р. 1935) – ученый-

математик, активный участник движения за право на выезд евреев из СССР в Израиль. Эмигрировал в 1987 г. В настоящее время – профессор кибернетики Тель-Авивского университета

Брежнев Леонид Ильич (1906–1982)

Бременер Макс Соломонович (1926–1983) – прозаик, критик. Автор повестей для юношества «Присутствие духа», «Пусть не сошлось с ответом!..», сборника рассказов «Чур, не игра!..»

Брик Лиля Юрьевна (1891–1978)

Бродский Иосиф Александрович (1940–1996)

Брэдбери Рэй (1920–2012)

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940)

Буртин Юрий Григорьевич (1932–2000) – литературный критик, публицист, историк, яркий представитель поколения «шестидесятников»

Бухарин Николай Иванович (1888–1938)

Буш Джордж (старший; р. 1924) – 41-й президент США (1989–1993), вице-президент при Рональде Рейгане (1981–1989), конгрессмен, дипломат, директор ЦРУ

Быков Василь (Василий) **Владимирович** (1924–2003) – белорусский писатель и общественный деятель, фронтовик. Автор повестей «Третья ракета», «Обелиск», «Знак беды», «В тумане» и других

Быков Дмитрий Львович (р. 1967)

Бэррон Джон (1925–2005) – американский публицист. Автор книг «КГБ», «Уничтожение мирного народа», «Пилот МИГа», ставших бестселлерами в США и Западной Европе

В

Ванька-Каин (Иван Осипов; 1718–после 1756) – знаменитый вор, разбойник, ставший персонажем блатного фольклора

Вахтин Борис Борисович (1930–1981) – прозаик, драматург, сценарист, философ, переводчик, востоковед-синолог. Сын писательницы В.Ф. Пановой

Вертинский Александр Николаевич (1889–1957)

Виноградов Игорь Иванович (р. 1930) – литературовед, критик, журналист. Был одним из ведущих сотрудников «Нового мира» во времена *А.Т. Твардовского* . С 1992 г. – главный редактор журнала «Континент»

Влади Марина (р. 1938)

Владимов Георгий Николаевич (1931–2003) – прозаик, автор романов «Верный Руслан», «Три минуты молчания». Демонстративно вышел из Союза писателей СССР; в 1983 г. эмигрировал в ФРГ. Роман «Генерал и его армия» удостоен премии «Русский Букер» (1995)

Войнович Владимир Николаевич (р. 1932)

Вознесенский Андрей Андреевич (1933–2010)

Вольский Аркадий Иванович (1932–2006) – общественный деятель. Член ЦК КПСС, после событий 1991 года – заместитель руководителя Комитета по оперативному управлению народного хозяйства СССР. Создатель и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (1990–2005)

Воронель Александр Владимирович (р. 1931) – российский и израильский ученый, доктор физико-математических наук. Основатель и редактор самиздатского журнала «Евреи в СССР». В 1975 г. эмигрировал в Израиль. Муж *Н.А. Воронель*

Воронель Нина Абрамовна (р. 1932) – драматург, переводчик. Жена *А.В. Воронеля* . Ее пьеса «Прочтите письмо» была запрещена после первой постановки в Перми. В 1974 г. вместе с мужем эмигрировала в Израиль

Г

Гавел Вацлав (1936–2011) – чешский писатель, драматург, диссидент, правозащитник и государственный деятель, последний президент Чехословакии (1989–1992 гг.) и первый президент Чехии (1993–2003)

Гайдн Йозеф Франц (1732–1836)

Гайдар Егор Тимурович (1956–2009)

Гайдар Тимур Аркадьевич (1926–1999) – журналист, контр-адмирал. Сын писателя А.П. Гайдара. Работал в газете «Правда», редактором военного отдела, собственным корреспондентом на Кубе, в Югославии, в Афганистане

Галансков Юрий Тимофеевич (1939–1972) – поэт, диссидент. В 1967 г. был арестован. В 1968-м вместе с *А.И. Гинзбургом* , которому он помогал в работе над созданием «Белой книги» о процессе *Синявского – Даниэля* , был приговорен к семи годам лагерей строгого режима. Умер в лагерной больнице

Галич Александр Аркадьевич (1918–1977)

Галя *см. Смольянинова Г.В.*

Гамсун (Педерсен) **Кнут** (1859–1952)

Гинзбург Александр Ильич (1936–2002) – журналист, издатель, участник правозащитного движения в СССР, член Московской хельсинкской группы. В 1966 г. составил сборник «Белая книга» по делу *Синявского – Даниэля* , за что был приговорен к пяти годам лагерей

Гинзбург Евгения Соломоновна (1904–1977) – советская журналистка, мемуаристка. Была приговорена к тюремному заключению по обвинению в троцкизме. Автор книги воспоминаний «Крутой маршрут», рассказывающей о сталинских репрессиях в СССР. Мать писателя *В.П. Аксёнова*

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945)

Глазунов Илья Сергеевич (р. 1930) – советский и российский художник-живописец, педагог. Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова

Глоцер Владимир Иосифович (1931–2009) – литературовед. Работал литературным секретарем у *К.И. Чуковского* и *С.Я. Маршака* . Занимался исследованием и публикацией творчества ОБЭРИУтов Д. Хармса, Н. Олейникова, А. Введенского

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852)

Голль де Шарль Андре Жозеф Мари (1890–1970)

Голомшток Игорь Николаевич (р. 1929) – советский и английский историк мирового искусства. С 1972 г. в эмиграции в Великобритании. Сотрудничал с «Русской службой Би-би-си», был ответственным секретарем журнала «Континент»

Гончаров Иван Александрович (1812–1891)

Горбачёв Михаил Сергеевич (р. 1931)

Горенштейн Фридрих Наумович (1932–2002) – прозаик, драматург, сценарист. Автор романов «Место», «Псалом», «Искупление». В России был известен как автор сценариев к фильмам «Солярис», «Раба любви», «Седьмая пуля». В 1980 г. эмигрировал, жил в Западном Берлине

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович; 1868–1936)

Гостюхин Владимир Васильевич (р. 1946) – советский и белорусский актер театра и кино. Снимался в фильмах «Старшина», «Охота на лис», «Урга – территория любви» и других

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822)

Гранин Даниил Александрович (р. 1919)

Грачёв Павел Сергеевич (1948–2012) – российский военачальник, министр обороны Российской Федерации (1992–1996), первый российский генерал армии (1992)

Гришин Виктор Васильевич (1914–1992) – советский партийный и государственный деятель

Гроссман Василий Семёнович (Иосиф Соломонович; 1905–1964) – писатель, журналист, военный корреспондент, автор известного романа «Жизнь и судьба»

Д

Давыдов Юрий Владимирович (1924–2002) – прозаик, мастер исторической прозы, автор романов «Глухая пора листопада», «Соломенная сторожка, или Две связки писем», «Бестселлер». В 1949 г. был репрессирован, освобожден в 1954 г.

Даниэль Юлий Маркович (1925–1988)

Дежан Морис (1899–1982) – французский посол в СССР в период с 1955 по 1964 гг. После своего отзыва из Москвы стал

одним из руководителей ассоциации «Франция – СССР»

Дементьев Андрей Дмитриевич (р. 1928) – поэт. На его стихи написано множество популярных песен («Яблоки на снегу», «Отчий дом», «Баллада о матери»)

Демидова Алла Сергеевна (р. 1936)

Денисов Эдисон Васильевич (1929–1996) – композитор, музыковед, общественный деятель. Автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам, в числе которых фильм «Безымянная звезда». В СССР его творчество подвергалось жесткой критике, как авангардное

Довлатов Сергей Донатович (1941–1990)

Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881)

Друнина Юлия Владимировна (1924–1991) – советская поэтесса. Ветеран Великой Отечественной войны, автор нескольких сборников военной тематики, среди которых «В солдатской шинели», «Ветер с фронта» и другие

Дугин Александр Гельевич (р. 1962) – российский общественный деятель, политолог, социолог

Дудаев Джохар Мусаевич (1944–1996) – военный и политический деятель, лидер чеченского национально-освободительного движения 90-х годов, первый президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия

Дунский Юлий Теодорович (1922–1982) – советский сценарист, автор (совместно с Валерием Фридом) сценариев к фильмам «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», «Семь нянек», «Полосатый рейс»

Е

Евтушенко Евгений Александрович (р. 1932)

Ельцин Борис Николаевич (1931–2007)

Ерофеев Виктор Владимирович (р. 1947) – российский писатель. В 1979 г. за организацию альманаха «МетрОполь» был исключен из Союза писателей, не печатался в СССР до 1988 г. Автор и ведущий телепрограммы «Апокриф» (1998–2011). Наиболее известные произведения – «Русская красавица», «Энциклопедия русской жизни»

Ж

Жданов Андрей Александрович (1996–1948) – советский государственный и партийный деятель СССР. Влиятельный идеолог партии. В годы Большого террора был одним из членов Политбюро, визировавших расстрельные списки

Жданов Иван Фёдорович (р. 1948) – поэт, автор сборников «Портрет», «Неразменное небо», «Фоторобот запретного мира»

Жигулин Анатолий Владимирович (1930–2000) – поэт, прозаик, автор автобиографической повести «Черные камни». Был

репрессирован в 1949 г. по обвинению в создании подпольной антисоветской группы

Жириновский Владимир Вольфович (р. 1946)

Жутовский Борис Иосифович (р. 1932) – художник, иллюстратор, писатель. Один из участников выставки «30 лет МОСХ» в 1962 г., разгромленной *Н.С. Хрущёвым* . Автор портретной серии выдающихся представителей СССР и России XX века «Последние люди империи»

З

Зархи Александр Григорьевич (1908–1997) – драматург, кинорежиссер («Член правительства», «Мой младший брат», «Анна Каренина»), сценарист

Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958)

Зюганов Геннадий Андреевич (р. 1944)

И

Иванов Александр Александрович (1936–1996) – поэт-пародист, бессменный ведущий телепередачи «Вокруг смеха» (1978–1990). Много лет выступал на эстраде со своими сатирическими произведениями, автор нескольких сборников пародий

Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) – русский поэт, прозаик, мемуарист. Один из крупнейших поэтов «Серебряного века» и русского зарубежья

Ильин Виктор Николаевич (1904–1990) – генерал-лейтенант КГБ, оргсекретарь Московского отделения Союза писателей РСФСР (до 1977)

Ильина Наталия Иосифовна (1914–1994) – прозаик, публицист, сатирик. Печаталась в журналах «Крокодил», «Юность», «Новый мир» как критик и фельетонист. Наиболее известна ее художественно-мемуарная проза «Дороги и судьбы»

Ильичёв Леонид Фёдорович (1906–1990) – партийный функционер. Автор работ по диалектическому и историческому материализму, внешней политике СССР и международным отношениям

Иодковский Эдмунд Феликсович (1932–1994) – поэт, журналист, общественный деятель. Автор текстов популярных песен («Едем мы, друзья» и др.)

Исаев Егор Александрович (р. 1926) – советский поэт и публицист. Автор поэм «Над волнами Дуная», «Суд памяти», «Даль памяти»

Искандер Фазиль Абдулович (р. 1929)

К

Кабо Владимир Рафаилович (1925–2009) – советский и австралийский этнограф-австраловед. Был арестован в 1949 г.;

эмигрировал в Австралию в 1990 г.

Кабо Любовь Рафаиловна (1917–2007) – советская писательница, педагог, журналист

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989)

Казакевич Эммануил Генрихович (1913–1962) – советский прозаик и поэт. Лауреат двух Сталинских премий 2-й степени. По его повести «Звезда» снят знаменитый одноименный фильм

Казаков Юрий Павлович (1927–1982) – прозаик, автор книг «По дороге», «Голубое и зеленое», «Арктур – гончий пес», «Двое в декабре». Именем Ю. Казакова названа учрежденная журналом «Новый мир» литературная премия за лучший рассказ года

Казакова Римма Фёдоровна (1932–2009) – советская поэтесса, переводчица, автор текстов популярных песен «Ты меня любишь», «Мадонна», «Ненаглядный мой»

Каплер Алексей Яковлевич (1903–1979) – сценарист, актер, телеведущий программы «Кинопанорама». Автор сценариев к фильмам «Ленин в Октябре», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия». За роман с дочерью *Сталина* был выслан в Воркуту

Капур Ранбир Радж (1924–1988) – известный индийский актер, сценарист и режиссер

Карякин Юрий Фёдорович (1930–2011) – литературовед, публицист и общественный деятель. Автор многих работ о творчестве *Ф.М. Достоевского*

Кассирский Иосиф Абрамович (1898–1971) – советский терапевт и гематолог, академик АМН СССР

Катанян Василий Абгарович (1902–1980) – литературовед, биограф *В.В. Маяковского.* С 1937 г. – муж *Л.Ю. Брик* . Составитель и редактор трех полных собраний сочинений Маяковского, автор книг о жизни и творчестве поэта

Кваша Игорь Владимирович (1933–2012)

Ким Юлий Черсанович (р. 1936) – поэт, композитор, драматург, сценарист, бард, участник диссидентского движения в СССР

Киссинджер Генри (р. 1923) – американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник по национальной безопасности США (1969–1975) и Государственный секретарь США (1973–1977). Лауреат Нобелевской премии мира за 1973 год

Клинтон Билл (Уильям Джефферсон; р. 1946)

Ковалёв Сергей Адамович (р. 1930) – политический и общественный деятель, участник правозащитного движения в СССР и постсоветской России

Колтунов Григорий Яковлевич (1907–1999) – советский режиссер-постановщик, сценарист, драматург. Автор сценариев к

фильмам «Максимка», «Огни Баку», «Гадюка» и другим

Кондратович Алексей Иванович (1920–1984) – первый заместитель *А.Т. Твардовского* , когда тот был главным редактором журнала «Новый мир»

Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997) – литературовед-германист, диссидент и правозащитник. Провел десять лет в сталинских лагерях. Прототип одного из главных героев (Льва Рубина) в романе *А.И. Солженицына* «В круге первом». В 1980 г. во время поездки в Германию был лишен советского гражданства

Коржавин (Мандель) **Наум Моисеевич** (р. 1925) – поэт, эссеист, переводчик, драматург. В сталинские времена был арестован и сослан. После реабилитации долго пребывал в статусе «подпольного» поэта, да и потом печатался в СССР крайне скупо, что, впрочем, не помешало ему обрести широкую известность благодаря стихам, бурно распространявшимся в самиздате. В 1974 г. эмигрировал в США

Коринец Юрий Иосифович (1922–1989) – советский детский писатель, поэт и переводчик. Автор книг «Подслушанный разговор», «Плавучий остров», «Володины братья», «Там, вдали, за рекой»

Корнилов Владимир Николаевич (1928–2002) – поэт, прозаик. В 1977 г. за книги, опубликованные на Западе, и активную правозащитную деятельность был исключен из Союза писателей СССР и преследовался как «тунеядец»

Коротич Виталий Алексеевич (р. 1936) – советский поэт, прозаик, публицист, журналист, колумнист, сценарист. С 1986 по 1991 гг. – главный редактор «Огонька», самого популярного в то время российского журнала. С 1991 по 1998 гг. – профессор Бостонского университета

Косолапов Валерий Алексеевич (1910–1982) – журналист, партийный функционер. В 1960–1962 гг. был главным редактором «Литературной газеты», потом возглавлял издательство «Художественная литература». С 1970 по 1974 г. – главный редактор журнала «Новый мир»

Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) – советский государственный и партийный деятель. Председатель Совета Министров СССР (1964–1980 гг.)

Котов Владимир Петрович (1928–1975) – советский поэт, автор текстов многих популярных советских патриотических песен, среди которых «Марш монтажников», «Запишите меня в комсомол» и другие

Крамер Стэнли Эрл (1913–2001) – американский режиссер («Пожнешь бурю», «Этот безумный, безумный, безумный, безумный, мир», «Корабль дураков»), продюсер

Красухин Геннадий Григорьевич (р. 1940) – литературовед, мемуарист. Автор книг «В присутствии Пушкина», «Пушкин. Драматические произведения», «В гармонию сквозь хаос», «Портрет счастливого человека: книжечка о Булате»

Крахмальникова Зоя Александровна (1929–2008) – прозаик, публицист, правозащитник. Автор множества книг и статей (в советское время публиковавшихся на Западе) о преследовании религии в Советском Союзе. В 1983 г. была приговорена к пяти годам ссылки, в 1987 г. – амнистирована

Кротков Юрий Васильевич (1917–1982) – советский драматург. В 1963 г. не вернулся в СССР из туристической поездки в Великобританию. С 1967 по 1968 гг. жил в Мюнхене, работал диктором на радиостанции «Свобода». В 1970 г. переехал в США, где опубликовал книгу о своем сотрудничестве с КГБ

Крылов Андрей Евгеньевич (р. 1955) – литературовед, текстолог, библиограф. Заведовал архивом Московского клуба самодеятельной песни, в 1979–85 гг. – главный редактор самиздатской газеты «Менестрель»

Кузнецов Феликс Феодосьевич (р. 1931) – советский критик и литературовед. Один из главных гонителей участников альманаха «МетрОполь». В 1987–2005 гг. – директор Института мировой литературы РАН

Кузовлёва Татьяна Витальевна (р. 1939) – поэт, переводчик. Главный редактор литературного журнала «Кольцо А»

Курсель Николь (р. 1931) – одна из самых популярных французских актрис 50-60-х гг. Снималась в кинокартинах «Свидание в июле», «Колдунья», «Мадам Бовари» и многих других

Кушнер Александр Семёнович (р. 1936) – русский поэт. Автор около пятидесяти книг стихов и ряда статей о классической и современной русской поэзии

Л

Лавренёв Борис Андреевич (1991–1959) – советский писатель и драматург. Лауреат двух Сталинских премий. Автор повестей «Ветер», «Сорок первый», пьес «Дым», «Разлом»

Лазарев Лазарь Ильич (1924–2010) – литературовед, литературный критик. Работал в «Литературной газете» (1955–1961). С 1961 – в журнале «Вопросы литературы», с 1992 до конца своих дней – его главный редактор

Лакшин Владимир Яковлевич (1933–1993) – критик, литературовед, мемуарист. В 60-е гг. – заместитель главного редактора журнала «Новый мир», которым в то время был *А.Т. Твардовский*

Лацис Отто Рудольфович (1934–2005) – российский журналист, доктор экономических наук. В 1993–1996 гг. входил в

Президентский консультативный совет. Работал в газетах «Известия», «Новые известия», «Русский курьер»

Лебедев Владимир Семёнович (1915–1966) – помощник *Н.С. Хрущёва* по вопросам идеологии, способствовал публикации повести *А.И. Солженицына* «Один день Ивана Денисовича» и поэмы *А.Т. Твардовского* «Тёркин на том свете»

Лебедь Александр Иванович (1950–2002) – российский политический и военный деятель, генерал-лейтенант

Левитанский Юрий Давидович (1922–1996) – поэт и переводчик, автор поэтических сборников «Солдатская дорога», «Самое дорогое», «Кинематограф» и других

Левицкий Лев Абелевич (1929–2005) – литературный критик, литературовед. Работал в редакции журнала «Новый мир». В 1997 г. эмигрировал в США

Либерман Евсей Григорьевич (1897–1981) – советский экономист. Автор концепции экономической реформы 1965 г. в СССР

Ленин (Ульянов) **Владимир Ильич** (1870–192)

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841)

Лимонов (Савенко) **Эдуард Вениаминович** (р. 1943)

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999)

Лоллобриджида Джина (р. 1927)

Ломинадзе Сергей (Серго) **Виссарионович** (1926–2007) – поэт, критик, литературовед. Был осужден на десять лет за «антисоветскую агитацию» и «подготовку к террору». Автор книг «Поэтический мир Лермонтова», «Классики и современники», поэтического сборника «Текст слов»

Лунгин Семен Львович (1920–1996) – советский драматург, сценарист. Автор сценариев (совместно с П. Нусиновым) к фильмам «Розыгрыш», «Трое в лодке, не считая собаки», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Внимание, черепаха!»

Лунгина Лилианна Зиновьевна (1920–1998) – филолог, переводчик с французского, немецкого, норвежского, датского и шведского языков

Любимов Александр Михайлович (р. 1962) – российский тележурналист, телеведущий. Корреспондент и ведущий программы «Взгляд», один из создателей независимой телекомпании «ВИД»

М

Максимов Владимир Емельянович (1930–1995) – прозаик, публицист, редактор. В 1974 г. эмигрировал в Париж. Основатель журнала «Континент», главным редактором которого оставался до 1992 г.

Мазина Джульетта (1921–1994)

Макашов Альберт Михайлович (р. 1938) – советский военачальник, генерал-полковник. Организатор и активный участник вооруженных столкновений в Москве в 1993 г.

Македонский Александр

Мандель Наум Моисеевич *см. Коржавин Н.М.*

Мандельштам Надежда Яковлевна (1889–1930) – мемуаристка, жена поэта *О.Э. Мандельштама*

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938)

Маре Жан (1913–1998)

Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964)

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930)

Межиров Александр Петрович (1923–2009) – поэт и переводчик. Автор поэтических сборников «Коммунисты, вперед!», «Прощание со снегом», «Под старым небом», «Проза в стихах» и других. С 1992 г. жил в США, преподавал в Портлендском университете

Мейджор Джон (р. 1943) – британский политик, премьер-министр Великобритании с 1990 по 1997 г.

Мессерер Борис Асафович (р. 1933) – российский театральный художник. Работал с театрами «Современник», МХАТ. Автор сценографии более ста пятидесяти оперных, балетных и драматических спектаклей

Михайлов Михайло (1934–2010) – югославский диссидент русского происхождения, философ и литератор. Арестован в 1965 г., с 1985 г. – гражданин США. Преподавал русскую литературу за рубежом, работал комментатором на радиостанции «Свободная Европа»

Михалков Сергей Владимирович (1913–2009)

Молотов Вячеслав Михайлович (1890–1986)

Монтан Ив (1921–1991)

Моцарт Амадей Вольфанг (1756–1091)

Н

Нагибин Юрий Маркович (1920–1994) – прозаик, журналист и сценарист. Работал в малой форме (рассказы, реже – повести), по его сценариям снято более сорока фильмов, среди которых «Председатель», «Гардемарины, вперед!»

Наровчатов Сергей Сергеевич (1919–1981) – советский поэт, общественный деятель. В 1974–1981 гг. – главный редактор журнала «Новый мир»

Насер Гамаль Абдель (1918–1970) – президент Египта, полковник, деятель панарабского движения, Герой Советского Союза. Присвоение Насеру этого звания было одним из волюнтаристских актов *Н.С. Хрущёва* и в народе встречено с

негодованием

Неизвестный Эрнст Иосифович (р. 1925) – скульптор, художник. До 1976 г. занимался художественной деятельностью в СССР, затем – в эмиграции. С 1977 г. и по сей день живет в Нью-Йорке

Некрасов Виктор Платонович (1911–1987)

Непомнящий Валентин Семенович (р. 1934) – российский литературовед, доктор филологических наук. Специалист по творчеству А.С. Пушкина. Адепт и один из лидеров «православного литературоведения»

Николаева Олеся Александровна (р. 1955) – поэтесса, автор поэтических сборников «Сад чудес», «На корабле зимы», «Здесь», «500 стихотворений и поэм»

Новодворская Валерия Ильинична (р. 1950)

О

Окуджава Булат (Антон) Булатович (р. 1965) – сын Булата Окуджавы от брака с *О.В. Окуджавой.* Музыкант, композитор

Окуджава Игорь Булатович (1954–1997) – сын Булата Окуджавы от брака с *Г.В. Смольяниновой.*

Окуджава Ольга Владимировна (р. 1938) – вторая жена Булата Окуджавы

Окуджава Шалва Степанович (1901–1937) – советский партийный деятель. Расстрелян в 1937 г.; реабилитирован в 1956 г. Отец Б.Ш. Окуджавы

П

Пантелеев Л. (Алексей Иванович Еремеев; 1908–1987) – советский прозаик, автор множества повестей и рассказов для детей. Основываясь на собственном опыте беспризорника, совместно с Г. Белых написал книгу «Республика ШКИД»

Панченко Николай Васильевич (1924–2005) – русский поэт. Один из создателей легендарного литературного альманаха «Тарусские страницы». Во время перестройки – один из основателей движения «Апрель»

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960)

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968)

Пельтье-Замойская Элен – французская славистка, дочь военно-морского атташе Франции. Вывозила за рубеж произведения *Ю.М. Даниэля* и *А.Д. Синявского.*

Поженян Григорий Михайлович (1922–2005) – советский поэт, сценарист. Участвовал в создании кинофильмов «Жажда», «Никогда», «Прощай». Автор песни «Мы с тобой два берега у одной реки…»

Политковский Александр Владимирович (р. 1953) – журналист, один из ведущих программы «Взгляд», политический

обозреватель

Померанцев Кирилл Дмитриевич (1906–1991) – поэт, журналист, литературный критик, мемуарист. Автор книги путевых очерков «Итальянские негативы» и книги мемуаров «Сквозь смерть»

Попов Гавриил Харитонович (р. 1936) – советский экономист и российский политик. Один из видных лидеров демократического движения в СССР и России в конце 80-х – начале 90-х гг. Первый мэр Москвы

Попов Евгений Анатольевич (р. 1946) – российский писатель. В 1987 г. исключен из Союза писателей за участие в создании альманаха «МетрОполь»

Поскребышев Александр Николаевич (1891–1965) – государственный, политический и партийный деятель СССР. Заведовал особым сектором ЦК (Секретариат Сталина)

Преображенский Евгений Алексеевич (1886–1937) – деятель российского и международного коммунистического движения, советский экономист и социолог. Арестован по обвинению в создании «Параллельного антисоветского троцкистского центра», расстрелян

Протазанов Яков Александрович (1881–1945) – режиссер-классик немого кино, сценарист, актер. Снял фильмы «Уход великого старца», «Пиковая дама», «Отец Сергий», «Аэлита», «Процесс о трёх миллионах», «Белый орел» и многие другие

Проффер Карл (1938–1984) – американский славист, переводчик, издатель, профессор Мичиганского университета. В 1971 г. вместе с женой Эллендеей основал издательство «Ардис», где печатались произведения В. Набокова, *И. Бродского* и других русских писателей, запрещенных в СССР

Прохазка Ян (1929–1971) – чешский сценарист, продюсер

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) – советский и российский, прозаик, публицист. Главный редактор газеты «Завтра»

Путин Владимир Владимирович (р. 1952)

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837)

Пырьев Иван Александрович (1901–1968)

Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) – советский партийный и государственный деятель. Арестован по обвинению в создании «Параллельного антисоветского троцкистского центра», расстрелян

Р

Разгон Лев Эммануилович (1908–1999) – прозаик, критик, правозащитник. Узник ГУЛАГа. Один из основателей общества «Мемориал»

Рассадин Станислав Борисович (1935–2012) – критик, литературовед, публицист. Ему принадлежит определение поколения – «шестидесятники»

Рейн Евгений Борисович (р. 1935) – поэт и прозаик. В 60-е гг. входил в круг так называемых «ахматовских сирот» (*И. Бродский,* А. Найман, Д. Бобышев). Участник альманаха «МетрОполь»

Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977) – поэт, переводчик. Входил в число «младших» акмеистов

Рождественский Роберт Иванович (1932–1994)

Розанова Марья Васильевна (р. 1929) – литератор, публицист, издатель. В 1973 г. вместе с мужем, *А.Д. Синявским* , покинула СССР. Живет в Париже. С 1977 по 1997 гг. – издатель и соредактор, а позднее – главный редактор журнала «Синтаксис»

Ромм Михаил Ильич (1901–1971) – советский кинорежиссер, сценарист, педагог, театральный режиссер. Лауреат пяти Сталинских премий. Режиссер кинофильмов «Ленин в октябре», «Русский вопрос», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм»

Росляков Василий Петрович (1921–1991) – советский писатель, член правления Союза писателей РСФСР (1975–1990). Автор трилогии «Последняя война»

Рубинштейн Наталья Наумовна (р. 1938) – литературный и театральный критик, журналистка, сотрудница «Русской службы Би-би-си». Эмигрировала в 1974 г., сотрудничала с израильскими русскоязычными журналами «Время и мы» и «22», а также с парижским «Синтаксисом»

Руденко Роман Андреевич (1907–1981) – Генеральный прокурор СССР. В 70-е гг. готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов

Руцкой Александр Владимирович (р. 1947) – российский государственный и политический деятель, с 1991 по 1993 г. – первый (и последний) вице-президент Российской Федерации

Рязанов Эльдар Александрович (р. 1927)

С

Салынский Афанасий Дмитриевич (1920–1993) – советский драматург. Автор пьес «Барабанщица», «Камешки на ладони», «Мария» и других

Самойлов Давид (Кауфман Давид Самуилович; 1920–1990) – поэт, переводчик. Автор сборников стихов «Ближние страны», «Волна и камень», «Горсть», «Снегопад: Московские стихи» и других

Сантис де Джузеппе (1917–1997) – итальянский кинорежиссер и сценарист, один из основоположников

неореализма

Сапгир Генрих Вениаминович (1928–1999) – поэт, прозаик и переводчик. Участвовал в создании альманаха «МетрОполь»

Сараскина Людмила Ивановна (р. 1947) – российский литературовед, критик. Автор книг о творчестве *Ф.М. Достоевского, А.И. Солженицына*

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989)

Светов Феликс Григорьевич (1927–2002) – прозаик, публицист, правозащитник. Автор книг, в советское время публиковавшихся на Западе: «Отверзи ми двери», «Мать Мария – поэзия, служение, крест, надежда», «Опыт биографии». Один из авторов солженицынского сборника «Из-под глыб». Муж *З.А. Крахмальниковой* , вместе с которой был в ссылке

Свирский Григорий Цезаревич (р. 1921) – прозаик, мемуарист. В марте 1972 г. эмигрировал из СССР. Жил в Израиле, затем в Канаде

Северянин Игорь (Лотарёв Игорь Васильевич; 1887–1941)

Сизов Николай Трофимович (1916–1996) – советский писатель. В 1971–1986 гг. – генеральный директор киностудии «Мосфильм»

Симонов Константин Михайлович (1915–1979)

Синьоре Симона (1921–1985)

Синявский Андрей Донатович (псевд. Абрам Терц; 1935–1997)

Слуцкий Борис Абрамович (1919–1986)

Смирнов Лев Николаевич (1911–1986) – советский юрист, Председатель Верховного Суда СССР (1972–1984). В 1965–1966 гг. вел процесс *А.Д. Синявского* и *Ю.М. Даниэля*

Смольянинова Галина Васильевна (1926–1965) – первая жена Булата Окуджавы

Соколов Саша (Александр Всеволодович; р. 1943)

Сокольников Григорий Яковлевич (1888–1939) – советский государственный деятель. В 1936 г. арестован по обвинению в создании «Параллельного антисоветского троцкистского центра», убит заключенными в тюрьме

Соловьев-Седой Василий Павлович (1907–1979) – советский композитор. Автор более четырехсот песен (в том числе «Подмосковные вечера», «Пора в путь-дорогу…»)

Солженицын Александр Исаевич (1918–2008)

Сталин (Джугашвили) **Иосиф Виссарионович** (1878–1953)

Столярова Наталья Ивановна (1912–1984) – переводчик. В 1937–1946 гг. была репрессирована. В 60-е и 70-е гг. – секретарь *И.Г. Эренбурга* . Сподвижница *А.И. Солженицына* в его противостоянии с советской властью, одна из тех, кого он в

«Пятом дополнении» к своей книге «Бодался теленок с дубом» называет «невидимками»

Стриженов Олег Александрович (р. 1929)

Сулейменов Олжас Омарович (р. 1936) – поэт, прозаик, литературовед, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат

Т

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971)

Тверской Александр Давыдович (р. 1924) – поэт и переводчик, сценарист. Автор произведений «Турецкий марш», «Новые флаги», «Рассказ одной девушки» и других

Тейлор ЭлизабетРоузмонд (1932–2011)

Терц Абрам *см. Синявский А.Д.*

Тито Иосип Броз (1892–1980)

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883)

Тэтчер Маргарет Хильда (1925–2013)

У

Урбан Адольф Адольфович (1933–1989) – критик, литературовед, известен аналитическими работами о современной российской поэзии. Работал в отделе критики журнала «Звезда», автор монографии «Фантастика и наш мир»

Ф

Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958)

Федин Константин Александрович (1892–1977)

Федотов Михаил Александрович (р. 1949) – юрист, политик, государственный деятель и правозащитник. Министр печати и информации РФ (1992–1993). Советник Президента РФ и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Феллини Федерико (1920–1993)

Фрид Валерий Семёнович (1922–1998) – драматург, киносценарист. Работал в соавторстве с *Ю.Т. Дунским*

Х

Хазанов Борис (Геннадий Моисеевич Файбусович; р. 1928) – прозаик, эссеист, переводчик. В 1949 г. был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Публиковал прозу в самиздате и зарубежных изданиях. В 1982 г. эмигрировал в Германию

Хакамада Ирина Муцуовна (р. 1955)

Хасбулатов Руслан Имранович (р. 1942) – российский политический деятель, последний председатель Верховного Совета Российской Федерации

Хачатурян Карэн Суренович (1920–2011) – композитор, автор музыки к игровым и анимационным фильмам, среди

которых «Большая дорога», «Семь нянек», «Вий», «Чиполлино» и многие другие

Хейфиц Иосиф Ефимович (1905–1995) – кинорежиссер («Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой»), сценарист

Хемингуэй Эрнест Миллер (1899–1961)

Хитров Михаил Николаевич – ответственный секретарь редакции журнала «Новый мир» при *А.Т. Твардовском*

Хлебников Олег Никитьевич (р. 1956) – поэт, журналист. Заместитель главного редактора «Новой газеты». В 1988–1991 гг. – заведующий отделом литературы в журнале «Огонек»

Хмелик Александр Григорьевич (1925–2001) – драматург, писатель, один из создателей детского юмористического журнала Ералаш

Хмельницкий Сергей Григорьевич (1925–2003) – архитектор, археолог, поэт. Востоковед и исследователь архитектуры Средней Азии. С 1980 г. жил и работал в Берлине. Сокурсник *А.Д. Синявского,* давал свидетельские показания по делу Синявского – Даниэля

Ч

Черненко Константи Устинович (1911–1985)

Черниченко Юрий Дмитриевич (1929–2010) – русский писатель, прозаик, очеркист, общественный и политический деятель

Чивилихин Владимир Алексеевич (1928–1984) – прозаик, наиболее известные произведения – «Живая сила», «Месяц в Кедрограде», «О чем шумят русские леса?», «Серебряные рельсы»

Чубайс Анатолий Борисович (р. 1955)

Чудаков Александр Павлович (1938–2005) – литературовед, специалист по творчеству А.П. Чехова, прозаик. Роман «Ложится мгла на старые ступени» удостоен премии «Русский Букер десятилетия» (2011, посмертно). Муж *М.О. Чудаковой*

Чудакова Мариэтта Омаровна (р. 1937) – литературовед, специалист по творчеству *М.А. Булгакова* , мемуарист, общественный деятель. Жена *А.П. Чудакова.*

Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996)

Чуковский Корней Иванович (Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969)

Чулаки Михаил Михайлович (1941–2002) – советский писатель. Автор более тридцати романов и повестей, нескольких сотен публицистических статей

Чухонцев Олег Григорьевич (р. 1938) – поэт, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993). Автор поэтических сборников «Из трех тетрадей», «Слуховое окно»,

«Ветром и пеплом», «Фифа» и других

Чухрай Григорий Наумович (1921–2991)

Ш

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1988–1982) – советская писательница. Автор более семидесяти книг романов, повестей, рассказов, очерков, стихов, среди них сборник стихов “Orientalia”, повесть «Перемена», романы «Гидроцентраль», «Лениниана»

Шаламов Варлам Тихонович (1907–1982)

Шелест Петр Ефимович (1908–1996) – советский партийный и государственный деятель, член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1964–1973), первый секретарь ЦК КП Украины (1963–1972)

Ширвиндт Александр Анатольевич (р. 1934)

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984)

Шойгу Сергей Кужугетович (р. 1955)

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984)

Шопен Фредерик Франсуа (1810–1849)

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975)

Штейнберг Аркадий Акимович (1907–1984) – поэт, переводчик, художник. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За боевые заслуги» (1941) и орденом Отечественной войны I степени (1944). Дважды репрессирован, перед войной и в 1944 году, провел в лагерях в общей сложности 11 лет

Щ

Щедрин Родион Константинович (р. 1932) – композитор, пианист, педагог. Долгое время возглавлял Союз композиторов России

Э

Эльперин Юрий Леонидович (р. 1917) – переводчик. На немецкий язык перевел произведения *М.А. Шолохова, В.П. Катаева, В.П. Аксёнова* , стихи Я.В. Смелякова, А.А. Ахматовой, *С.Я. Маршака* . В 2000 г. получил немецкое гражданство, живет в Берлине

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967)

Эренбург Ирина Ильинична (1911–1997) – российская переводчица с французского произведений Ж. Лаффита, А. Моруа, А. Перрюшо. Автор книг воспоминаний «Так я жила», «Разлука». Дочь писателя *И.Г. Эренбурга*

Эткинд Ефим Григорьевич (1918–1999) – филолог, историк литературы, переводчик европейской поэзии, теоретик перевода. В 1974 г. под давлением КГБ вынужден был покинуть СССР, эмигрировал во Францию. Автор более пятисот научных работ в области романской и германской филологии, стилистики, теории художественного перевода

Я

Явлинский Григорий Алексеевич (р. 1952)

Якир Петр Ионович (1923–1982) – сын военачальника Ионы Якира, расстрелянного в 1938 г. вместе с М. Тухачевским. С юных лет – в лагере. Историк, диссидент, активный участник правозащитного движения

Яковлев Егор Владимирович (1930–2005) – советский и российский журналист. Организатор и главный редактор журнала «Журналист», газеты «Московская правда», «Общей газеты». Вел авторские программы на радио «Свобода»

Янаев Геннадий Иванович (1937–2010) – советский партийный и государственный деятель. Во время августовского путча 1991 года был председателем ГКЧП СССР

Янская Ирина Сергеевна (1934–2013) – редактор, переводчик. Работала в «Литературной газете» (1960–1971), в журналах «Знамя» (1971–1973), «Литературное обозрение» (1973–1978)

Яснов Михаил Давидович (р. 1946) – российский поэт, переводчик и детский писатель. Автор книг стихов «В ритме прибоя», «Неправильные глаголы», «Театр теней», «Замурованный амур»

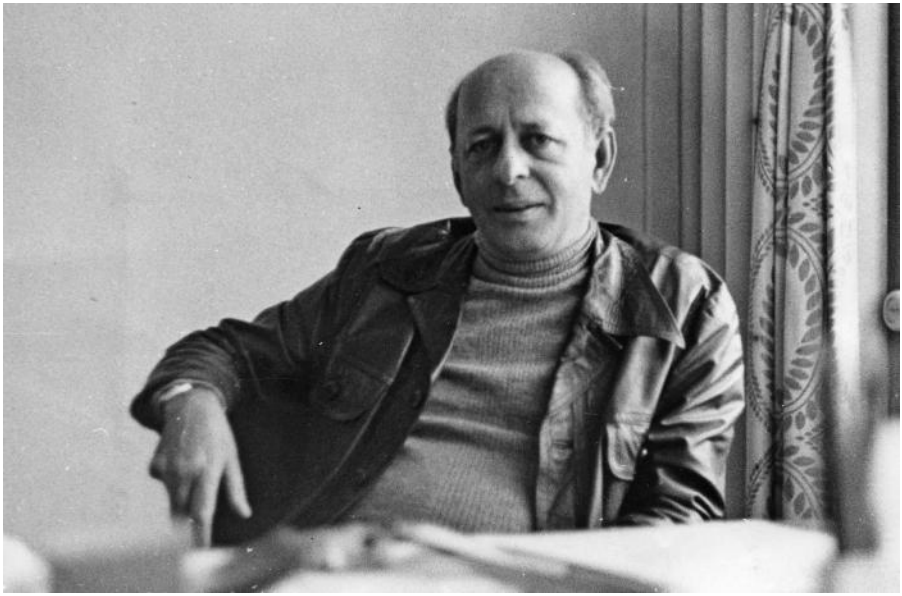
Фото с вкладки

Вот таким он был, когда я увидел его впервые

1961 год. Дачный поселок «Литгазеты».

Первые, самые ранние свои песни Булат спел нам здесь, в Шереметьевке.

На этой фотографии слева от Булата – я, справа от него – моя жена Слава. Внизу – первая, рано умершая жена Булата – Галя



Лазарь Ильич Лазарев.

Это он пригласил Булата в «Литгазету» на должность заведующего отделом поэзии. И это он, когда Булат спел нам

самые первые свои песни, сказал ему:
– Через год их будет петь вся страна

x x x

Б.Сарнову

С последней каланчи,в Сокольниках стоящей,
никто не смотрит вдаль на горизонт горящий.
Никто не смотрит вдаль,все опускают взор.
На пенсии давно усатый брандмайор.

Я плачу не о том,что прошлое исчезло:
ведь плакать о былом смешно и бесполезно.
Я плачу не о том,что кануло во мгле,
как будто нет услад и нынче на земле.

Я плачу об ином – оно покуда с нами,
оно у нас в душе,оно перед глазами,
ещё горяч и свеж его прекрасный след –
его не скроет ночь и не проявит свет.

О чём бы там перо красуясь ни скрипело
душа полна утрат,она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова –
душа полна утрат,хоть,кажется,жива.

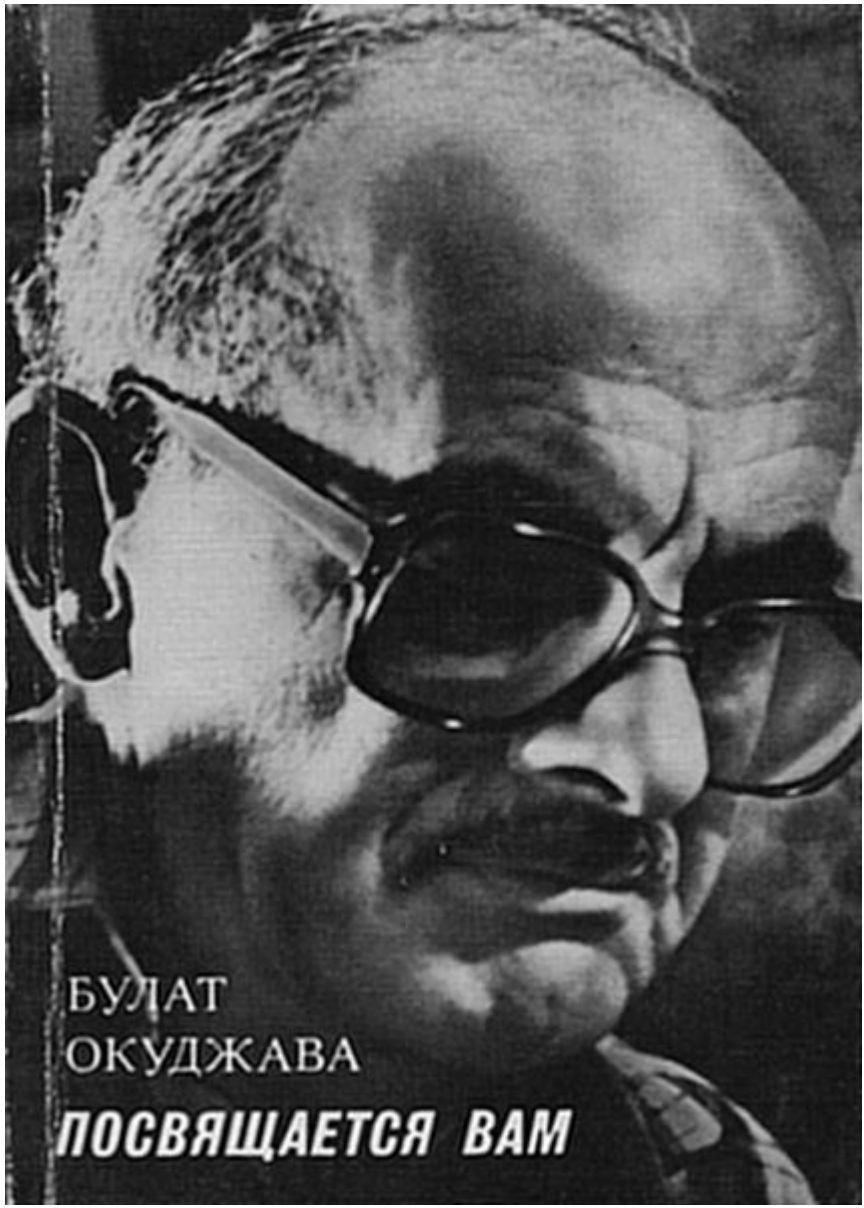
Ведь вот ещё вчера,крылаты и бывалы,
сидели мы рядком,и красные бокалы
у каждого из нас в изогнутой руке,
как будто бы пожар – в прекрасном далеке.

И на пиру на том,на празднестве тягучем
я,видно,был один,как рекрут не обучен,
как будто бы не сам металося в том огне,
как будто тот огонь был безопасен мне.

Булат

23.1.86
Москва

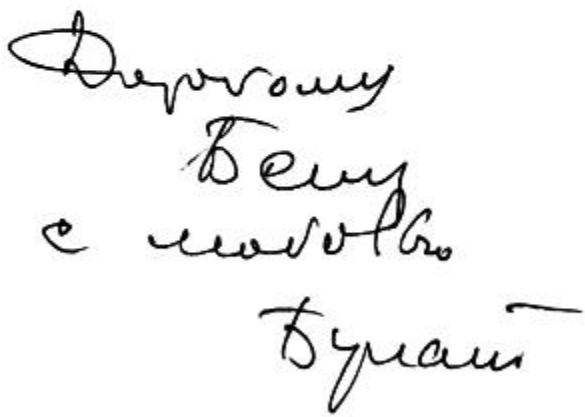
Это стихотворение Булат почему-то вдруг захотел посвятить мне. Дата – 23.01.86 – он тогда только что вернулся из Мюнхена


БУЛАТ
ОКУДЖАВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ ВАМ

БУЛАТ ОКУДЖАВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВАМ

СТИХИ



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1988

А вскоре он прислал мне и книжку, в которой стихотворение впервые было напечатано

Булат в Мюнхене у Войновичей.

Он даже не появился в гостинице, где для него был забронирован номер. А поселился у Войновичей. Прямо с самолета отправился к этому «злобному клеветнику» и жил у него целую неделю.

Рядом с Булатом – Ирина Войнович, а справа – Барбара фон Вульфен, в доме которой жили тогда Войновичи

«Красные бокалы» – так наш друг Борис Биргер назвал это свое полотно – большой групповой портрет, на котором с красными бокалами в руках сидят: Владимир Войнович, Олег Чухонцев, Лев Копелев, Булат, Юлий Даниэль, я и сам художник. А над нами возвышаются (они не сидят, а стоят): Фазиль Искандер, Валентин Непомнящий, Эдисон Денисов

Многие из тех, кого наш друг Борис Биргер собрал на том большом групповом портрете, уже тогда были диссидентами и кандидатами в эмигранты.

Единоборство Войновича с «Софьей Власьевной» приближалось к развязке, и совсем скоро он вынужден будет принять ее ультиматум (на Запад – или на Восток) и стать эмигрантом.

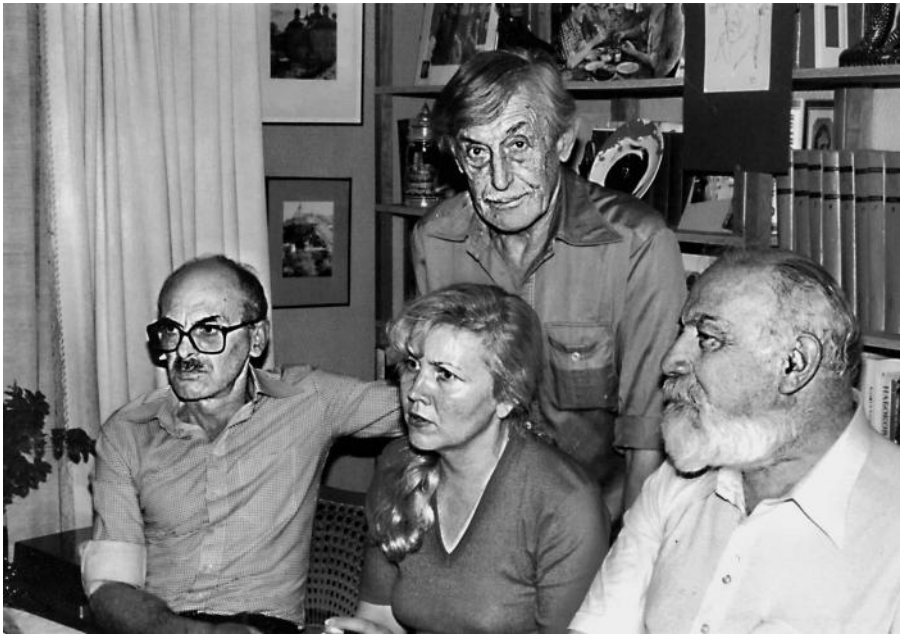
В этом же году отправится в эмиграцию и Копелев.

На этой фотографии Копелев в Мюнхене, в гостях у Войновичей

А Биргер пока еще в Москве, и мы с Булатом встречаемся у него постоянно.
На этой фотографии рядом с Булатом – Ирина Эренбург, а между нею и мной – Андреа, немецкая приятельница Бориса

Виктор Платонович Некрасов (Вика, как все его звали) перед отъездом в эмиграцию. Справа от него – я и Виктор Фогельсон. За моей спиной – моя жена Слава. Стоят: Владимир Корнилов и его

жена Лариса Беспалова



Булат был одним из немногих, кто сохранил связь с друзьями, оказавшимися за железном занавесом.
На этой фотографии он и Ольга с Виктором Некрасовым и Львом Копелевым

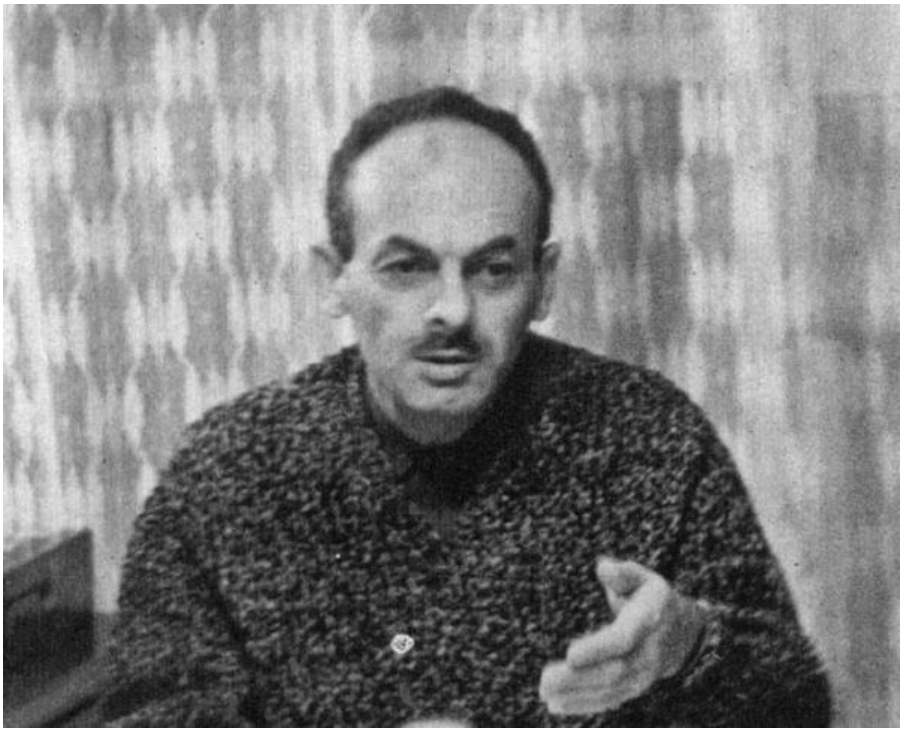
Заседание Идеологической комиссии ЦК КПСС с участием молодых писателей, художников, композиторов, творческих работников кино и театров Москвы, состоявшееся 24 и 26 декабря 1962 года, проходило в соответствии с принятым в те времена ритуалом.

Попавшие в «черный список», признавали ошибки и обещали исправиться, а те, кто в него не попал, клялись в своей преданности партии и лично «дорогому Никите Сергеевичу».

Слегка нарушала казенный тон и стиль этого унылого судилища Белла Ахмадулина.

Нет, все, что полагалось сказать каждому, кто принимал участие в том спектакле, она, конечно, сказала. Но исполнила этот номер в своей особой, только ей одной присущей манере

С надеждой я ждал выступления Васи Аксёнова: может быть, хоть он сумеет уклониться от соблюдения общеобязательных клятв и изъявления благодарности дорогому Никите Сергеевичу? Нет, не уклонился



В перечне тех, кто изначально был зачислен в «черный список» и кому, стало быть, надлежало каяться, едва ли не первым был назван Булат.

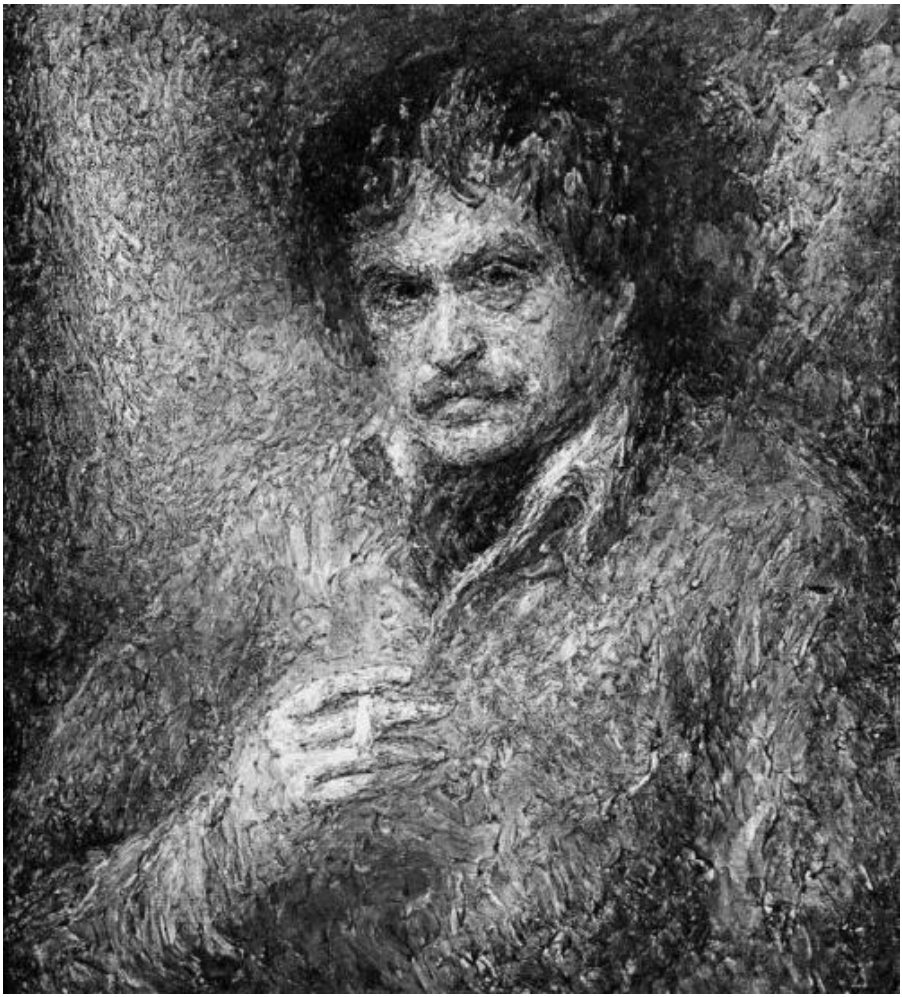
– В серьезном конфликте со всем строем нашей жизни, – сказал докладчик, – находится песня Булата Окуджавы о «золотой молодежи»…

И тут раздался спокойный голос Булата:

– Песни о «золотой молодежи» у меня нет. У меня есть песня о рабочей молодежи

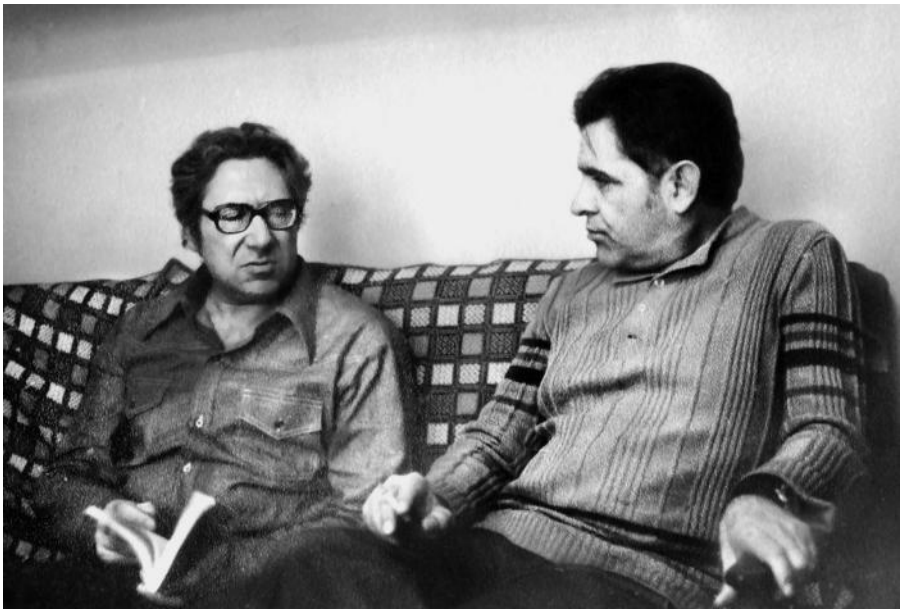
«МетрОполь».

Знаменитый рукописный альманах, появление которого стало поводом для политического скандала, напомнившего об отгремевших в иные времена «деле Пастернака» и «деле Синявского и Даниэля». По шкале Рихтера это землетрясение, наверное, не достигало разрушительной силы тех, предыдущих, но по силе давления на его участников к ним приближалось



Для всех, кто узнал об этом альманахе, когда он существовал еще только в замысле, – главным закопёрщиком, лидером, вождем, душой всей этой затеи был Аксёнов.

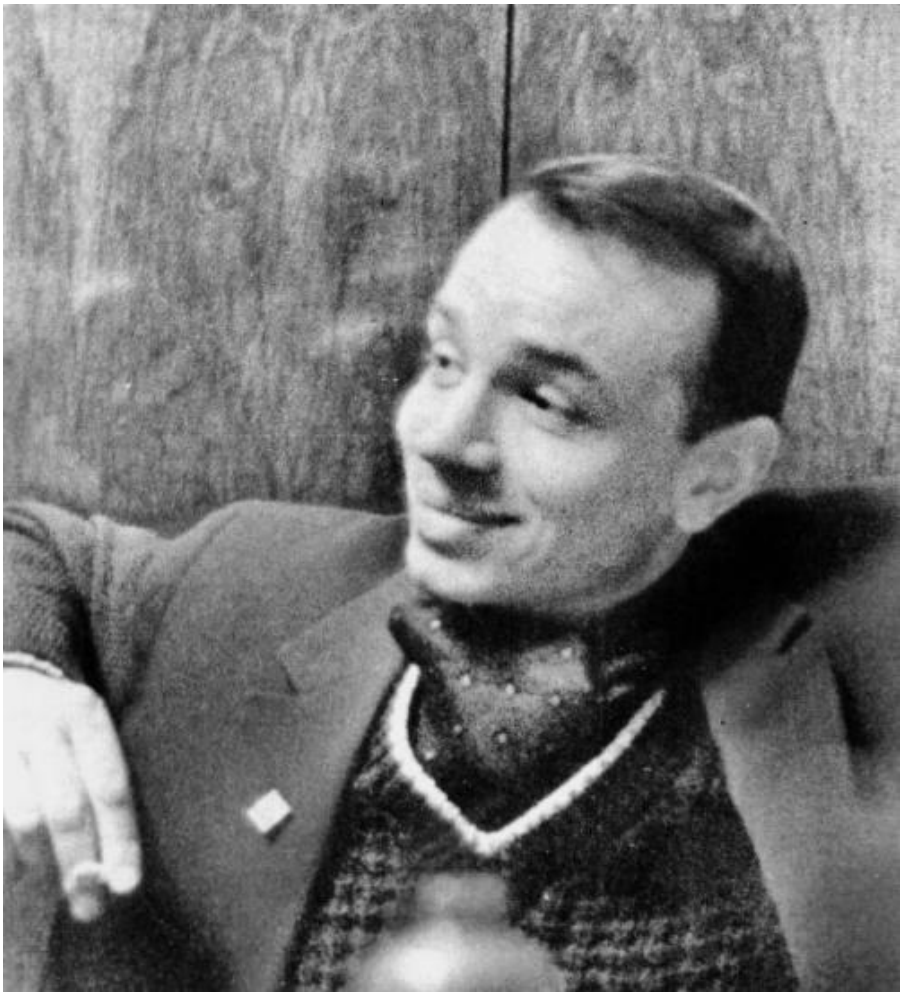
Потом, когда дело приняло крутой оборот и Вася в открытую объявил, что собирается уехать, стали говорить, что всю эту затею он задумал и осуществил нарочно, «под отъезд», чтобы явиться на Западе не «широко известным в узких кругах» писателем-одиночкой, а в ореоле грандиозного политического скандала, в роли вождя целого литературного направления



С Фазилем Искандером мы тогда жили в одном подъезде – моя квартира была на седьмом этаже, а его (точно такая же) – на восьмом, и мы бегали друг к другу по нескольку раз на дню. А нередко и вечера коротали вместе. И вот в один из таких вечеров Фазиль рассказал мне, что заглянули к нему как-то на днях Андрей Битов с Васей Аксёновым и предложили стать одним из составителей их будущего альманаха.

– И ты согласился? – ахнул я.

– Ну да, – слегка смутившись, ответил он. И объяснил: – Вася просил, чтобы я их поддержал. Неудобно было отказаться



Андрей Вознесенский.

В Гренобле, представляя его и Булата, я сказал, что стихи Булата не поддаются анализу. Фокус, мол, можно объяснить. А как объяснить чудо?

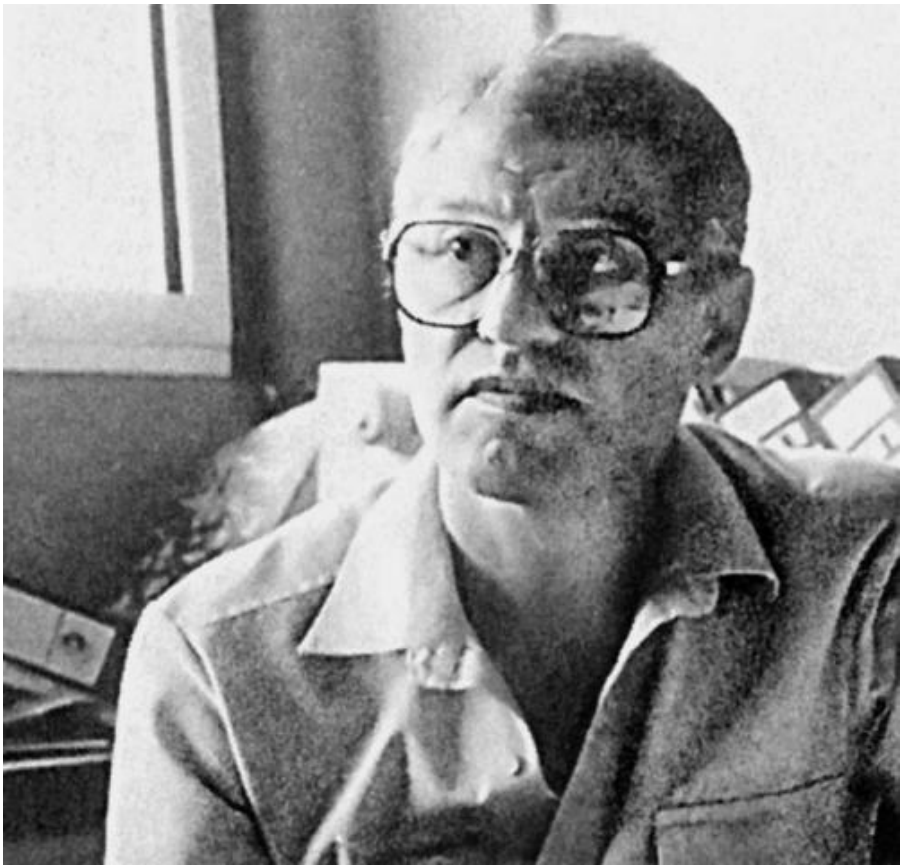
На следующее утро за завтраком к моему столику подсел Андрей. Наливая себе кофе и разбивая ложечкой скорлупу яйца, он глянул на меня с усмешкой и сказал:

– А мои стихи, значит, можно проанализировать?

Официальная встреча нашей группы с администрацией Гренобля. Булат в этот день был уже с нами, но от участия в этой церемонии уклонился

В Париже у Синявских.
Слева – Андрей, в обнимку со мной – его жена Марья, рядом – Владимир Новиков и Михаил Яснов

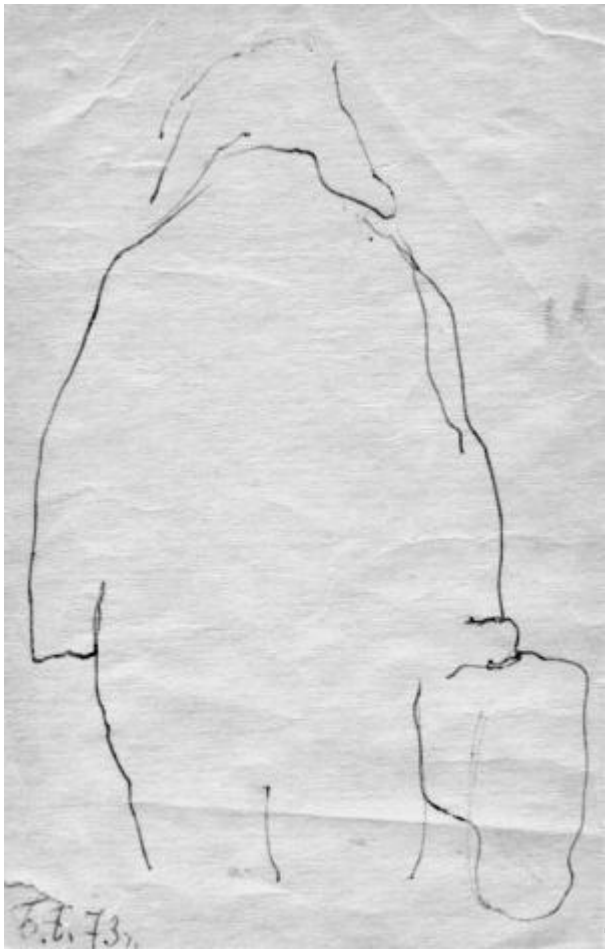
Сергей Хмельницкий, разоблаченный агент КГБ, публично обвинивший в сотрудничестве с органами госбезопасности своего ближайшего друга Андрея Синявского



Александр Воронель, опубликовавший эти сенсационные разоблачения в иерусалимском журнале «22»

Сергей Хмельницкий и Юлий Даниэль.
На этой фотографии они еще друзья: все разоблачения – впереди

Неля Воронель с Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Здесь тоже до ссор, размолвок и вражды еще далеко

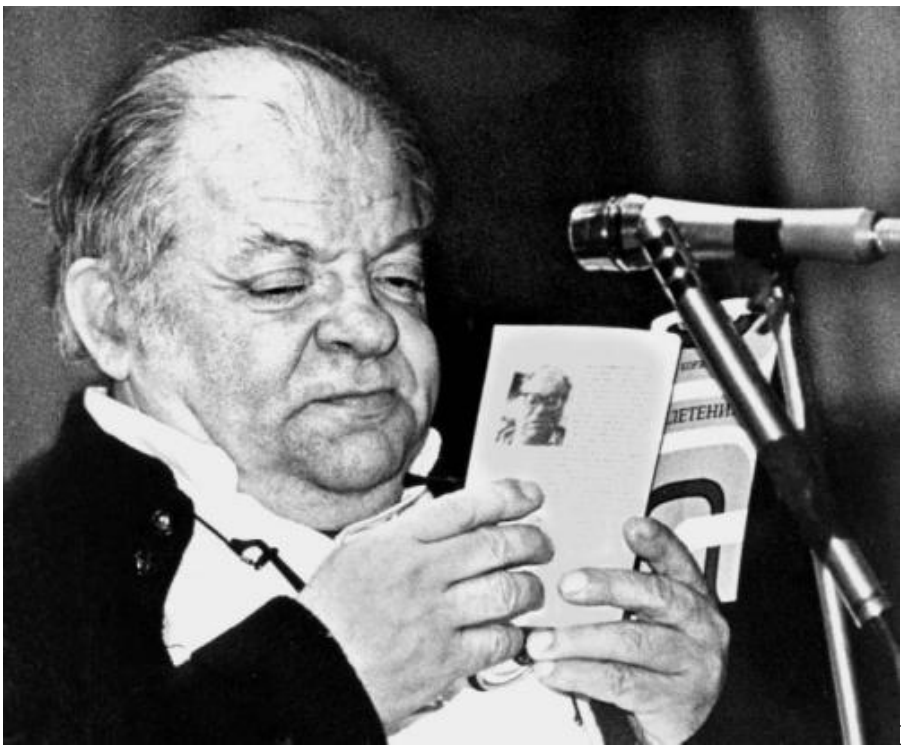


Таким Борис Биргер изобразил нашего друга Манделя: уходящим. Тогда казалось, что уходит (уезжает) он от нас навсегда, что больше в этой жизни мы уже никогда не встретимся

Но связь наша не прервалась, время от времени до меня доходили разнообразные весточки о тамошней его жизни. А иногда и фотографии, на которых он являлся передо мною с кем-нибудь из общих наших друзей, поневоле ставших его товарищами по эмигрантской судьбе.

На фото Наум Коржавин с Ефимом Григорьевичем Эткиндом

А эта фотография – из Парижа. Здесь он с Викой Некрасовым



И вот, после долгой разлуки, снова в Москве – с друзьями, с не забывшими его читателями

На вечере, посвященном двадцатипятилетию процесса над Синявским и Даниэлем. За столом сидят: Булат Окуджава, Борис Биргер, Юлий Ким, Юрий Карякин

Надежда Мирова, для меня – Найка, жена Лазаря Лазарева.

Один ее телефонный звонок сыграл важную роль в моей жизни.

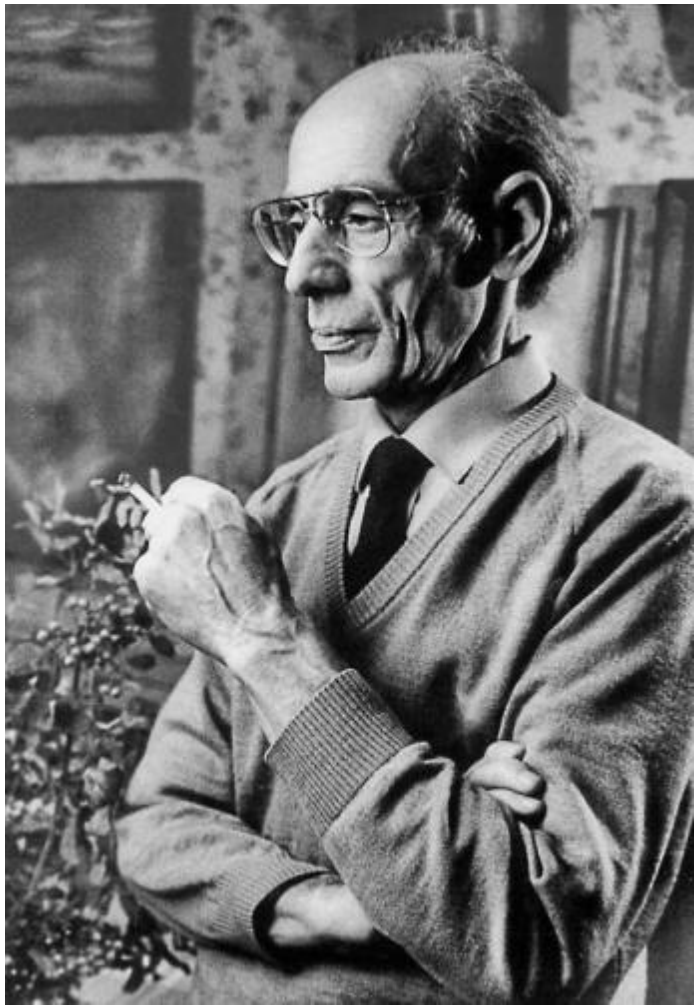
Это было вечером 3 октября 1993 года. Только что я услышал телевизионное обращение Егора Гайдара, призывавшего всех, «кто готов поддержать в эту трудную минуту российскую демократию», собраться у здания Моссовета.

Еще не успели отзвучать последние слова этой гайдаровской речи, как раздался телефонный звонок и хорошо мне знакомый голос спросил:

– Где встречаемся?

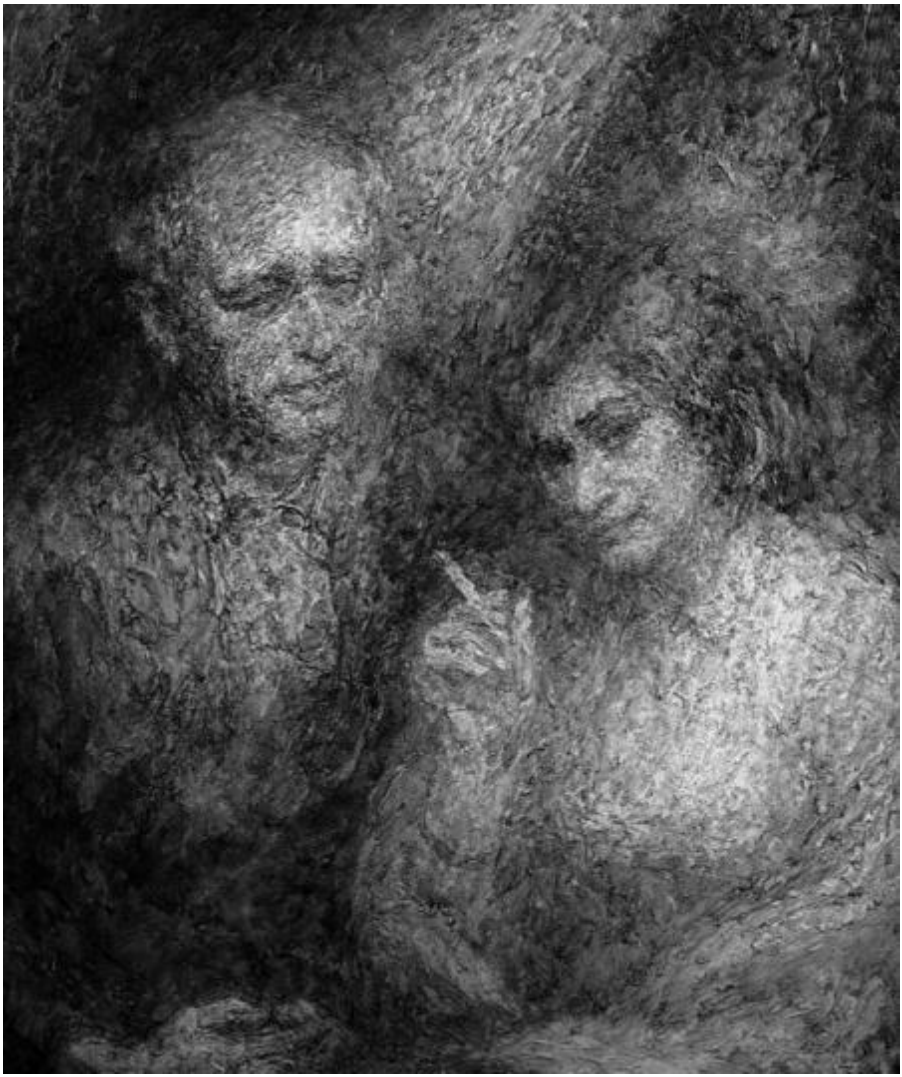
Это была Найка.

Если бы не этот ее звонок, я, может быть, и не пошел бы. И потом всю оставшуюся жизнь с жгучим стыдом вспоминал об этом



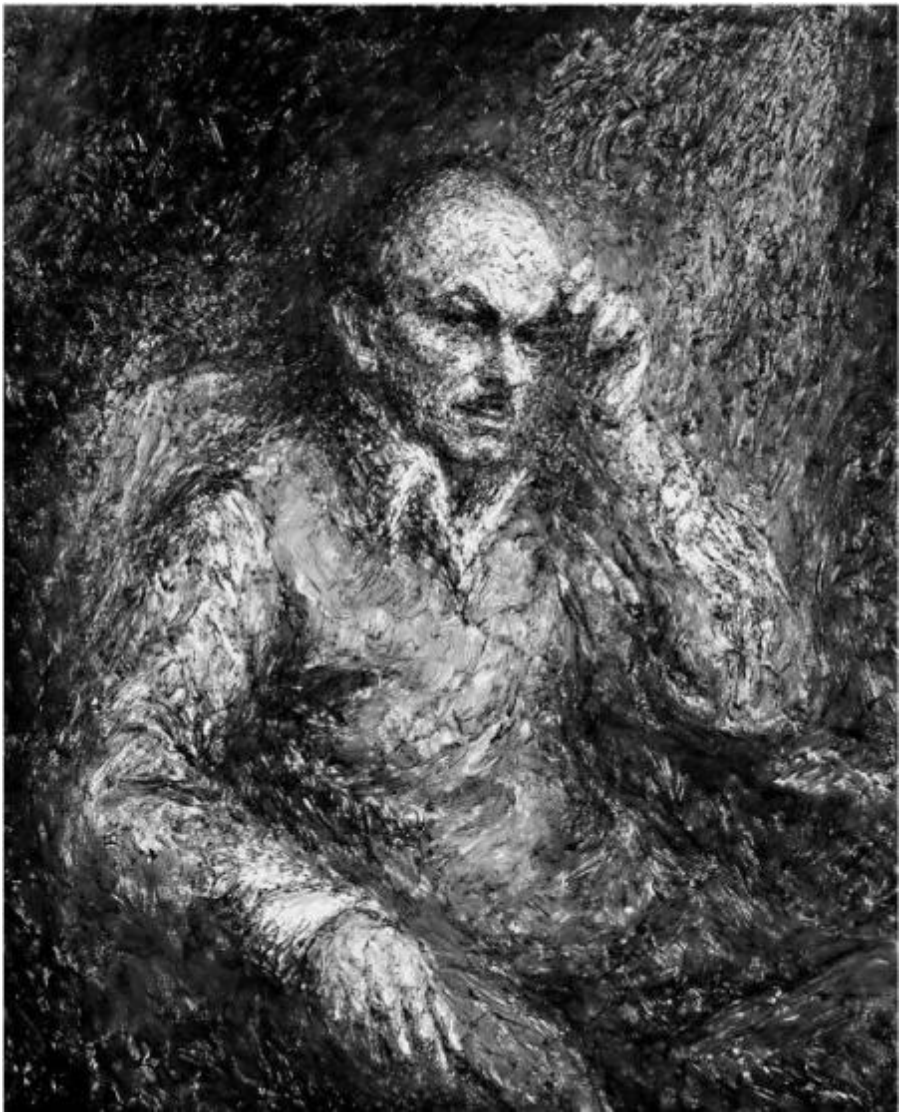
Когда Борис Биргер собирал нас в своей мастерской, чтобы показать новую, только что законченную работу, мне казалось, что выбор очередной модели всякий раз бывал у него произволен, случаен. И так в какой-то мере оно и было: ведь выбирать ему приходилось из не такого уж широкого круга всегда готовых ему позировать ближайших друзей.

И только сейчас, листая альбомы, которые он мне дарил, я увидал, какой грандиозной – и знаковой – оказалась созданная им портретная галерея



Листаю, листаю страницы альбомов, подаренных мне Борисом: Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннэр (их двойной портрет на этой странице), Юлий Даниэль с женой Ириной (а их портрет на соседней странице), Фазиль Искандер, Володя Войнович, Вася Аксёнов, рано ушедший от нас любимый друг Борис Балтер, Булат…

Вглядываюсь в эти до боли знакомые лица, а из головы не выходят строки Пастернака, которые я взял эпиграфом к этой книге: «Я говорю про всю среду, с которой я имел в виду сойти со сцены, и сойду»



Примечания

1

В тех случаях, когда речь идет о людях хорошо известных *(Ахмадулина, Аксенов, Бухарин, Жириновский, Феллини, Шостакович и пр.)* , мы не сочли нужным объяснять, кто они такие, ограничившись указанием тех страниц книги, на которых упоминаются их имена.